

Теофиль Готье

Мадемуазель Де Мопен

Перевод Е.Баевской

Предисловие

Одна из самых забавных примет славной эпохи, в которую нам посчастливилось жить, — это, бесспорно, оправдание добродетели, предпринятое ныне всеми газетами, какого бы ни были они цвета, — красные, зеленые или трехцветные.

Разумеется, добродетель — почтенное свойство, и нам отнюдь не хочется — Боже сохрани! — ею пренебрегать. Это порядочная, достойная женщина. И мы полагаем, что глаза ее с изрядным задором поблескивают из-под очков, что чулки у нее не так уж и перекручены, что табак из золотой табакерки она берет со всем мыслимым изяществом, а ее собачка приседает и кланяется не хуже учителя танцев. Так мы полагаем. Мы даже согласимся, что для своего возраста она еще хоть куда и прекрасно сохранилась. Очень приятная бабушка, но все-таки бабушка... По-моему, естественно будет предпочесть ей — особенно если вам двадцать лет — этакую премилую безнравственность, дерзкую, кокетливую, разбитную, слегка растрепанную, в юбчонке скорее короткой, чем длинной, с вызывающей ножкой и вызывающим взглядом, с румянцем во всю щеку, с улыбкой на устах и сердцем на ладони. Самые чудовищно добродетельные журналисты не посмеют утверждать обратное, а если кто и посмеет, то на самом деле он, скорее всего, так не думает. Думать одно, а писать другое — это случается на каждом шагу, особенно с добродетельными людьми.

Помню, какие колкости до революции (я имею в виду Июльскую) сыпались на горемычного и целомудренного виконта Состена де Ларошфуко, удлинившего туники танцовщиц в Опере и своей патрицианской рукой наложившего стыдливые нашлепки на середку всех статуй. Ныне г-на виконта Состена де Ларошфуко уже превзошли, и намного.

С тех пор стыдливость весьма усовершенствовалась и дошла до таких тонкостей, о каких прежде и не помышляли.

Не имея привычки рассматривать у статуй известное место, я вместе с другими считал, что на свете не может быть выдумки смешнее виноградных листочков, вырезанных г-ном| попечителем изящных искусств. Похоже, я заблуждался, и виноградный листок — одно из похвальнейших общественных установлений.

Мне поведали, но я не пожелал верить, так дико это мне показалось, что есть люди, которые, стоя перед фреской Микеланджело «Страшный суд», видят только эпизод с распутными священнослужителями и прикрывают себе лица, вопя о глумлении над безутешной скорбью!

Эти же люди из всех романсов о Родриго знают только куплет об уже. Едва на картине или в книге мелькнет нагота, они спешат напрямик туда, как свинья — к грязной луже, не обращая внимания на пышные цветы и прекрасные золотистые плоды, тянущиеся к ним со всех сторон.

Я, признаться, не столь добродетелен. Когда бесстыдница Дорина выставит мне напоказ свой бюст, я, конечно, не стану доставать из кармана платок, чтобы прикрыть эту грудь, на которую не в силах смотреть. Я буду смотреть на грудь так же, как на лицо, и получу удовольствие, коль скоро она окажется белой и округлой. Но я не стану щупать платье на Эльвире, дабы определить, мягок ли шелк, и не стану с набожным видом заваливать ее на край стола по примеру бедняг Тартюфа.

Царящее ныне преклонение перед моралью было бы попросту смехотворно, не нагоняя оно такую скуку. Что ни фельетон, то кафедра, что ни журналист, то проповедник; недостает только тонзур да стоячих воротничков. Настала пора дождей и нудных проповедей; чтобы спастись от того и 1 другого, приходится брать карету или сидеть дома и перечитывать «Пантагрюэля», попивая вино и попыхивая трубкой.

Боже милостивый! Какое остервенение! Какая ярость! Кто вас укусил? Кто вас задел? Какого черта вы так вопите и почему так взъелись на бедный порок? Что дурного сделал этот добродушный, покладистый господин, который только одного и хочет — развлекаться самому и по мере возможности не докучать другим? Поступайте с пороком, как Серр с жандармом: обнимитесь, и пускай все это поскорее закончится. Поверьте, вам же будет лучше. Да, Боже мой, господа проповедники, что бы вы делали, не будь на свете порока? Если нынче все станут добродетельны, вам завтра же придется просить милостыню.

Предположим, сегодня вечером позакрывают театры — о чем вы завтра настрочите статью? Не станет балов в Опере, поставляющих вам материал для ваших колонок, не станет романов, которые вы могли бы разделить под орех; ведь балы, романы, комедии — все это воистину бесовские прелести, если верить нашей святой матери-церкви. Актриса возьмет да прогонит своего содержателя — и нечем ей станет оплачивать ваши панегирики. Никто больше не подпишется на ваши газеты: все кинутся читать блаженного Августина, пойдут в церковь, начнут бубнить молитвы. Оно бы, может, и неплохо, но вы на этом прогадаете. Если все станут добродетельны, куда вы пристроите свои статьи о безнравственности нашего века? Как видите, и от порока есть известная польза.

Но теперь пошла мода быть добродетельным и благочестивым; это поза, которую все стараются принять; все рядятся святыми Иеронимами, как раньше рядились донжуанами; все стали бледные, изнуренные, причесаны под апостолов; ходят, набожно сложив руки и уперев взор в землю; все, судя по ужимкам, вот-вот достигнут совершенства; на камине у всех Раскрытая Библия, над кроватью — распятие и освященная веточка букса; никто больше не божится, курят мало и табаку почти не жуют. И вот уже все стали христианами, толкуют о святом искусстве, о высоком призвании художника, о поэзии католицизма, о г-не Ламенне, о живописцах ангельской школы, о Тридентском соборе, о прогрессивном человечестве и о тысяче других прекрасных вещей. Кое-кто сдабривает свою веру капелькой республиканизма: эти господа из самых занятых. Они как нельзя более жизнерадостно сочетают Робеспьера с Иисусом Христом и с похвальной серьезностью устраивают смесь из Деяний Апостолов и декретов *святого* конвента — вот он, заветный эпитет; другие же в качестве последнего ингредиента добавляют кое-какие сенсимонистские идеи. Эти — уж совсем превосходные и положительные люди; их не перещеголяешь. Человеческой глупости не дано идти далее этого предела: *has ultra metas* (по ту сторону пределов – лат.) и т. д. Это геркулесовы столпы шутовства.

Благодаря господствующему ныне ханжеству христианство настолько вошло в моду, что известной благосклонностью у публики пользуется даже неохристианство. Говорят, у него появилось не менее одного последователя, если считать г-на Друино.

Еще одна крайне любопытная разновидность так называемой нравственной журналистики — это журналистика женского направления. Она по части стыдливости настолько ранима, что доходит до антропофагии или вроде того.

Ее образ действий, простой и незамысловатый на первый взгляд, на самом деле весьма потешен и может доставить огромное удовольствие публике, а потому мне кажется, что это направление стоит сохранить для потомства — для грядущих поколений, как говаривали замшелые старики в так называемом великом веке.

Чтобы зарекомендовать себя журналистом этого толка, нужно заранее запастись кое-какими орудиями труда — скажем, двумя-тремя законными женами, несколькими мамашами, как можно большим набором сестер, полным комплектом дочерей и бесчисленными кузинами... Далее, нужны театральная пьеса или роман, перо, чернила и издатель. Не помешает какая-нибудь идея и десяток-другой подписчиков, но можно обойтись и изрядной толикой глубокомыслия и деньгами акционеров.

Приобретя все это, смело объявляйте себя нравственным журналистом. При подготовке статей достаточно будет следующих двух рецептов, если в каждом случае вносить в них подходящие изменения.

ОБРАЗЦЫ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ РЕЦЕНЗИЙ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

«После крови в литературу хлынули помои; после морга и каторги она вводит нас в альков и публичный дом; после рубищ, запятнанных злодейством, она являет нам рубища, запятнанные пороком; после... и т. д. (по мере надобности, смотря по тому, сколько остается свободного места, в этом духе можно продолжать от шести строк до пятидесяти и выше), — и это закономерно. Вот к чему ведет забвение священных основ и романтическое бесстыдство: театр превратился в школу проституции, и мы трепещем, дерзая явиться сюда со спутницей, к которой питаем уважение. Вы приходите в зал, привлеченные именем знаменитого автора, но во время третьего акта вынуждены увести свою юную дочь, смущенную и растерянную. Ваша жена прикрывает веером краску стыда; ваша сестра, ваша кузина и т. д.» (степени родства можно разнообразить как угодно, лишь бы все это были родственницы женского пола).

Nota. Среди рецензентов нашелся один, простерший свою нравственность вплоть до утверждения: я не пойду смотреть эту драму вместе с любовницей. Этим человеком я восхищаюсь, он мне дорог; я храню его в своем сердце, как Людовик XVIII хранил в своем всю Францию; ведь его осенила самая победоносная, колоссальная, ошеломляющая, монументальная мысль из тех, что могут посетить разум человеческий в нашем благословенном девятнадцатом веке, породившем уже такое великое множество мыслей, в том числе и самых диких.

Умение писать отзыв на книгу не требует много времени и доступно людям самых скромных способностей.

«Коль скоро вы собираетесь читать эту книгу, уединитесь понадежнее у себя дома; не бросайте ее на стол. Если ваша жена и дочь откроют ее — они погибнут. Эта книга опасна — она учит пороку. Возможно, она снискала бы шумный успех во времена Кребийона, на уединенных виллах, за изысканным ужином у какой-нибудь герцогини, но теперь, когда нравы стали куда чище, но теперь, когда народная десница разрушила прогнившее здание аристократии... и т. д. и т. п., теперь, когда... теперь, когда... в каждом произведении нам нужна идея, идея... а, вот: нравственная и религиозная идея, которая... нам нужен возвышенный и в то же время глубокий взгляд на вещи, отвечающий потребностям

человечества; и как прискорбно, что молодые писатели приносят в жертве успеху самые святые понятия и транжируют свой талант (который, кстати, мы за ними вполне признаем!) на похотливые описания, которые вгонят в краску даже драгунского капитана (застенчивость драгунских капитанов — после открытия Америки самое великое открытие всех времен). Разбираемый нами роман напоминает «Терезу-философку», «Фелицию», «Папашу Матье» и сказки Грекура». Как видно, добродетельный журналист — большой знаток по части скабрёзной литературы; хотелось бы мне знать почему?

Страшно подумать, что, судя по газетам, множество почтенных промышленников пера вполне обходятся этими двумя рецептами, чтобы прокормить себя и свои многочисленные семьи, служащие для них материалом.

Я, надо думать, самый чудовищно безнравственный человек в Европе и за ее пределами, поскольку в теперешних романах и комедиях усматриваю ничуть не больше бесстыдства, чем в романах и комедиях былых времен, и просто не понимаю, с какой стати уши господ газетчиков сделались вдруг столь по-янсенистски чувствительны.

Не думаю, что самый непорочный журналист осмелится утверждать, будто Пиго-Лебрен, Кребийон-сын, Луве, Вуязенон, Мармонтель и все остальные романисты и новеллисты уступают по части безнравственности — поскольку они впрямь безнравственны — самым неистовым и разнузданным творениям гг. такого-то и такого-то, коих я не называю из уважения к их стыдливости.

Только вопиющая недобросовестность заставит с этим не согласиться.

И пускай мне не возражают, что я, мол, привожу малоизвестные или вовсе неизвестные имена. Если я не ссылаюсь на великих и знаменитых, то это еще не значит, что они не могли бы подкрепить мои утверждения своим огромным авторитетом.

Романы и повести Вольтера, если отрешиться от их достоинств, ничуть не более пригодны для раздачи в качестве наград желторотым питомцам пансионеров, чем «Безнравственные рассказы» нашего друга, страдающего ликантропией, или даже «Нравоучительные рассказы» слащавого Мармонтеля.

Что мы видим в комедиях великого Мольера? Видим священный институт брака (стиль катехизиса или газетчика), над которым потешаются и глумятся в каждой сцене.

Муж — старый, безобразный и чудаковатый, парик сидит на нем криво, одет он старомодно, ходит с палкой, набалдашник которой изогнут птичьим клювом, нос у него перепачкан табаком, ноги коротенькие, брюхо необъятно, как бюджет. Во рту у него каша, говорит он только глупости, а делает то же, что говорит; он ничего не видит, ничего не слышит; его жену целуют прямо у него под носом, а он не понимает, в чем дело, и так продолжается до тех пор, пока он сам и вся публика в зале не убедятся, что ему наставили рога, и тут эта публика, весьма и весьма просвещенная, взрывается бурными аплодисментами.

Сильнее всех аплодируют сами женатые.

У Мольера брак зовется Жоржем Данденом или Станарелем.

Адюльтер носит имя Дамиса или Клитандра, для него не скупятся на самые нежные и чарующие слова.

Адюльтер всегда юн, прекрасен собой, строен, рангом не ниже маркиза. Он входит, напевая в сторону мелодию самой куранты, он прогуливается по сцене с самым непринужденным и победоносным видом на свете; он чешет себе ухо розовым ноготком

кокетливо оттопыренного мизинца; он расчесывает свои чудные белокурые волосы черепаховым гребнем и расправляет на штанах пышнейшие кружевные воланы. Его камзол и широкие штаны до колен сплошь покрыты шнурами и шелковыми лентами; кружевной воротник вышел из рук искуснейшей мастерицы; его перчатки благоухают слаще росного ладана и лука-резанца; его перья стоят луидор штука.

Как горит его взор, как румянятся его щеки! Как улыбчивы его уста! Как белы зубы! Какие у него нежные, чисто вымытые руки!

Стоит ему заговорить, и с его губ срываются сплошные мадригалы да любезности, овеванные ароматом изысканного прециозного стиля и пронизанные благодушием; он читал романы и знаком с поэзией; он отважен и, чуть что, хватается за шпагу, он швыряет золотые направо и налево. А потом Анжелика, Агнесса, Изабелла, хоть они и благовоспитанные важные дамы, едва удерживаются, чтобы не броситься ему на шею, а муж в пятом действии регулярно оказывается в дураках, и его счастье, если эта участь не постигла его еще в первом.

Вот как трактуется брак у Мольера, одного из самых проникательных и возвышенных гениев в мире. Неужели в обвинительных речах, которые обрушиваются на «Индиану» и «Валентину», найдутся примеры похлеще?

Отцовству, если это возможно, достается еще крепче. Взгляните на Органа, взгляните на Жеронта, взгляните на них всех.

Сыновья их обкрадывают, слуги колотят! Без малейшего снисхождения к их почтенному возрасту выставляются напоказ их скупость, упрямство, глупость! Какие шутки, какие мистификации на них обрушиваются! Этих бедных стариков, которые все никак не помрут и не желают расставаться со своими деньгами, буквально выпихивают из жизни. Сколько разговоров о родительской долговечности! Сколько пылких речей против наследственного права, и насколько это все убедительней декламаций в духе Сен-Симона!

Отец — это людоед, это Аргус, тюремщик, тиран, он только и может, что препятствовать браку на протяжении трех действий вплоть до финального благословения. Отец — это наиболее полное выражение осмеянного мужа. Сын у Мольера никогда не подвергается осмеянию, потому что Мольер, подобно всей пишущей братии во все времена, льстил молодому поколению за счет стариков.

А Скапены в полосатых неаполитанских плащах, в шапочках, сдвинутых на ухо, с пером, развевающимся в воздухе, — не правда ли, что за благочестивые, непорочные люди, хоть причисляй их к лику святых! Каторги полны честных малых, не натворивших и четверти того, что выделывают эти молодцы. Плутни Триальфа бледнеют рядом с их плутнями. А какие бестии все эти Лизетты и Мартон, батюшки! Уличные девки — и те не такие бывалые, не такие языкатые! До чего умело они передают записку, стоят на страже во время свидания! Право слово, этим девицам цены нет — и услужливы, и способны дать добрый совет.

Сквозь все эти комедии и путанные интриги мы прозреваем, как волнуется и суетится очаровательное общество. Обманутые опекуны, рогатые мужья, распущенные служанки, слуги-мошенники, безрассудно влюбленные барышни, распутные сыновья, неверные жены; чем это лучше прекрасных молодых меланхоликов и несчастных слабых женщин, угнетенных и страстных, о которых мы читаем в романах и драмах наших нынешних модных литераторов?

И никакого финального удара кинжалом, никакой неизбежной чаши с отравой: развязки так же благополучны, как в сказках, и все, вплоть до мужа, более чем ублажены. У

Мольера добродетель всегда опозорена, всегда осыпана колотушками; ее венчают рога, она подставляет спину Маскарилю; назидание от силы разок мелькнет под конец пьесы, воплощенное в несколько мешанском обличье судебного пристава Лояля.

Все это мы говорим отнюдь не для того, чтобы нанести ущерб пьедесталу Мольера; мы не настолько безумны, чтобы надеяться поколебать этот бронзовый колосс нашими хилыми ручонками; мы просто хотели бы продемонстрировать благочестивым фельетонистам, люгующим против новых романтических творений, что старые, классические авторы, которых они что ни день советуют нам читать и брать за образец для подражания, намного превосходят нынешних писателей в разнузданности и безнравственности.

К Мольеру мы легко могли бы присоединить и Мариво, и Лафонтена — два столь противоположных воплощения французского духа, — и Ренье, и Рабле, и Маро, и множество других. Но мы не собираемся сочинять курс истории литературы, излагаемой с точки зрения морали, на потребу газетным девственникам.

Мне кажется, не стоит поднимать такой переполох из-за пустяков. На наше счастье, времена белокурой Евы канули в прошлое, и при всем желании мы не можем остаться так же примитивны и патриархальны, как обитатели ковчега. Мы не девочки, собирающиеся к первому причастию, и когда во! время игры в рифмы нас просят срифмовать корзинку, не говорим в ответ: «кремовый торт». К нашему простодушию примешивается изрядная доля учености, а невинность наша давно уже таскается по городу; кое-что дается человеку только единожды, и что бы мы потом ни делали, утраченного не воротишь, ибо ничто на свете не исчезает так быстро, как утраченная невинность и утраченные иллюзии.

В конечном счете все это не так уж страшно, и разносторонние познания все-таки предпочтительней полного невежества. Пускай об этом спорят те, кто поученей меня. Так или иначе, мы уже миновали возраст, в коем позволительно строить из себя целомудренных скромников, и, по-моему, старым хрычам нелепо прикидываться юными и девственными.

С тех пор как общество сочеталось брачными узами с цивилизацией, оно лишилось права на избыток застенчивости и простодушия. Бывает такой румянец, который весьма кстати, когда новобрачная удаляется в спальню, но наутро он уже неуместен, потому что молодая женщина, быть может, уже забыла девушку, которою была накануне, а если не забыла, то это весьма неблагоприятное обстоятельство может серьезно повредить репутации мужа.

Когда я случайно прочитываю одну из тех превосходных проповедей, что заняли ныне в печати место литературной критики, мне порой становится очень стыдно и очень тревожно, поскольку у меня на совести есть несколько чересчур приперченных острот, какие может поставить себе в укор всякий пылкий и увлекающийся молодой человек.

Рядом с этими Боссюэ из «Кафе де Пари», этими Бурдалу с оперной галерки, с этими Катонами по столько-то за строчку, которые с таким искусством ругают на все корки нынешний век, я в самом деле сознаю себя самым чудовищным злодеем, какой только пятнал своим присутствием лицо земли, а между тем, видит Бог, список моих грехов, как смертных, так и простительных, включая необходимые пробелы и междустрочия, насилу заполнит в руках умелого книгоиздателя один-два тома ин-октаво в день — сущие пустяки для человека, не притязающего в мире ином на райские кущи, а в этом — на Монтионовскую премию или награду за девичью добродетель.

А потом я вспоминаю, что нередко встречался с этими бдительными стражами добродетели и под столом, да и в других местах, и начинаю думать о себе лучше, и в голову мне приходит мысль, что, какими бы недостатками я ни обладал, — эти люди

также страдают одним изъяном, хуже и гаже которого, по-моему, не бывает: я разумею лицемерие.

А если хорошенько присмотреться, водится за ними и еще один грешок, причем такой омерзительный, что я насилу осмеливаюсь его назвать. Подойдите ближе, и я шепну вам на Ушко: это зависть.

Зависть, и ничто иное.

Это она, ползучая, извивающаяся, пронизывает все их отеческие проповеди; и как она ни прячется, но из-под метафор и риторических фигур то и дело проблескивает ее плоская гадючья головка; иногда удается даже приметить, как она облизывает раздвоенным язычком свои синеющие от яда губы; и слышно, как она тихонько посвистывает, укрывшись в тени лукавого эпитета.

Я сознаю, что утверждать, будто вам завидуют, — несносное самодовольство, почти столь же тошнотворное, как чванство щеголя, пускающего пыль в глаза своим богатством. Не такой уж я бахвал, чтобы приписывать себе врагов и завистников. Это счастье дается не каждому, и мне, по всей видимости, еще долго его не видать; а потому я буду говорить откровенно и без задней мысли, как человек, в данном вопросе совершенно бескорыстный.

Естественная неприязнь критика к поэту есть непреложный факт, который легко доказать сомневающимся; это неприязнь бездельника к тому, кто делает дело, трутня — к пчеле, мерина — к жеребцу.

Вы становитесь критиком не раньше, чем окончательно убедитесь, что не можете быть поэтом. Прежде чем смириться с унылой ролью маркера в бильярдной или зале для игры в мяч, стерегущего пальто и ведущего счет очкам, вы долго ухаживали за музой и пытались лишить ее невинности; но на это у вас не достало силенок, и вот вы, побледнев и задохнувшись, рухнули в изнеможении у подножия священной горы.

Я понимаю эту ненависть. Мучительно смотреть, как другой садится за пиршественный стол, к которому вас не позвали, или ложится в постель с женщиной, которая вас отвергла. Мне от всего сердца жаль беднягу евнуха, вынужденного наблюдать забавы турецкого султана.

Он допущен в самые сокровенные недра гарема; он води султанш на омовения; он видит, как в серебряной воде обширных бассейнов блистают их прекрасные тела, покрытые перлами брызг и гладкие, как агат; самые тайные прелести являются перед ним без покровов. Его не стесняются; он евнух. Султан ласкает при нем свою фаворитку и целует ее гранатовые губы. Прямо скажем, положение у евнуха двусмысленное, и, надо думать, сдержанность дается ему дорогой ценой.

То же самое и критик: он видит, как поэт гуляет по саду поэзии со своими девятью красавицами-одалисками и лениво забавляется в тени могучих зеленых лавров. И критику очень трудно удержаться и не набрать на большой дороге камней, чтобы швыряться ими в поэта из-за забора и зашибить его, если достанет меткости.

Критик, который сам ничего не создал, — низкий трус; он все равно что аббат, который строит куры жене мирянина: тот не может ни ответить ему тем же, ни вызвать его на дуэль.

Думаю, что история различных способов чернить чужие книги, употреблявшихся за последний месяц, была бы по меньшей мере столь же увлекательна, как история Тиглатпаласара или Геммагога, изобретателя башмаков-пуленов.

У нас достало бы материала томов на пятнадцать-шестнадцать ин-фолио, но смилюемся над читателем и ограничимся несколькими строчками, — за это благодеяние нам причитается вечная его признательность и даже более того! В весьма отдаленную эпоху, которая теряется во тьме веков, а точнее, приблизительно три недели тому назад, в Париже и его предместьях процветал по преимуществу некий средневековый роман. В большой чести была кольчуга; прическе «бараний рог» также отдавалось должное; особое внимание уделяли двуцветным штанам; превыше всего ценился кинжал с трехгранным клинком; башмаки-пулены обожествлялись, как фетиши. Только и слышно было о стрельчатых сводах, дозорных башнях, колоннах и столбах, цветных стеклах, соборах и укрепленных замках; все бредили высокородными девами и надменными рыцарями, пажами и оруженосцами, бродягами и наемниками, галантными кавалерами и свирепыми феодалами, — и все это, разумеется, было невинней самых невинных игр и никому не причиняло зла.

Критик не стал дожидаться второго подобного романа, чтобы начать свой разрушительный труд; не успел выйти в свет первый, как он уже завернулся во власяницу из верблюжьей шерсти и высыпал себе на голову целое ведро пепла; затем он заголосил что было мочи:

— Снова средневековье, опять это средневековье! Кто избавит меня от средневековья, от этого средневековья, которое на самом деле — никакое не средневековье! Это картонное, глиняное средневековье, оно только называется средневековьем! Ох, железные бароны в железных латах, с железными сердцами в железной груди! Ох, уж эти мне соборы, их вечные великолепные розы и вечные цветные стекла, переливающиеся чудными узорами, гранитное кружево, ажурные трилистники, зазубренные коньки, узорчатые каменные ризы, подобные подвенечному наряду невесты, свечи, псалмы, пламенные пастыри, коленопреклоненный народ, гудение органа и ангелы, парящие и хлопающие крыльями под церковными сводами! Как они испортили мне мое собственное средневековье, такое изысканное и красочное! Они скрыли его под толстым слоем аляповатой краски! Какие безвкусные завитушки! Ах, невежды-пачкуны, вы мните, будто создаете колорит, а сами ляпаете красную краску на синюю, белую на черную, а зеленую на желтую; вы увидели только самый верхний слой средневековья, вы не разглядели души средневековья; во плоти, которую вы облекли ваши фантомы, не циркулирует кровь, под вашими стальными латами нет сердца, в ваших штанах-чулках нет ног, а под платьями с шлейфами — ни животов, ни грудей: это просто одежда, которой придана человеческая форма, и ничего более. Итак, долой такое средневековье, которое нам подсовывают иные сочинители (прекрасное словцо, однако, для них подобрано: сочинители!). Средневековье сегодня совершенно некстати, подавайте нам что-нибудь другое.

А читатели, видя, как критика охаивает средневековье, пылко влюбились в это самое незадачливое средневековье, которое те надеялись прихлопнуть на месте. Благодаря сопротивлению газет средневековье заполонило все — драмы, мелодрамы, романсы, рассказы, стихи; появились даже средневековые водевили, и Мом принялся разучивать феодальные куплеты.

Наряду со средневековым романом процветал роман-кошмар, весьма приятный жанр, который был в большом ходу у нервических домашних хозяек и пресыщенных кухарок. Критики мигом слетелись на запах, как воронье на свежие потроха: своими перьями они растерзали в клочья и свирепо умертвили эту злополучную разновидность романа, которая хотела одного — просто жить-поживать на свете и мирно истекать гноем на

сальных полках читален. Чего они только не говорили! Чего только не писали! Литература морга, литература каторги, кошмар палача, видения пьяного мясника, горячечный бред полицейской ищейки! Они благожелательно намекали на то, что авторы — убийцы и вампиры, что им присуща порочная привычка убивать отца с матерью, что они пьют кровь из черепов, вместо вилок пользуются берцовыми костями, а хлеб режут гильотиной.

Между тем газетчики, многожды обедавшие у авторов романов-кошмаров, лучше чем кто бы то ни было знают, что все они — отпрыски хороших семей, весьма добродушные люди, принадлежащие к приличному обществу, в белых перчатках, с модной близорукостью; что бифштексами они питаются охотнее, чем человечиною, и пить привыкли все больше бордо, а не кровь юных девушек и новорожденных младенцев. Журналисты, видевшие и державшие в руках их рукописи, знают, что написаны они чернилами отменного качества на английской бумаге, а не кровью казненных преступников на коже, содранной с живых христиан.

Но что бы они ни говорили и ни делали, эпоха не желала расставаться с кошмаром, и костехранилище по-прежнему было ей милее будуара; читатель клевал исключительно на крючок с наживкой в виде синюшного трупика. Оно и понятно: наживите на рыболовный крючок розу и можете сидеть с удочкой, пока паук не сплетет паутину в сгибе вашего локтя, а все не поймаете даже мелкой рыбешки; наживите червяка или кусок заплесневелого сыра — и карпы, усачи, окуни станут на три фута выскакивать из воды, чтобы схватить приманку. А люди отличаются от рыб меньше, чем принято думать.

Может показаться, что журналисты превратились в квакеров, брахманов, пифагорейцев или быков, — до того все они внезапно прониклись отвращением к красному цвету и виду крови. Они достигли невиданной прежде степени мягкости и буквально тают во рту — точь-в-точь сметана или сливки. Им по вкусу только две краски: небесно-голубая и ядовито-зеленая. Розовая допустима, но и только; и если бы публика дала им волю, они бы погнали всех щипать шпинат на берегах Линьона, бок о бок с овечками Амариллиды. Они сменили черный фрак на непорочную хламиду Селадона или Сильвандра и разукрасили свои гусиные перья розовыми помпончиками и шелковыми лентами на манер пасторальных посошков. Они ходят в локончиках, как дети, и вернули себе утраченную невинность по рецепту Марион Делорм, преуспев в этом точно так же, как она.

К литературе они применяют ту из десяти заповедей, которая гласит:

Не убий.

Их стараниями авторы не могут позволить себе самого крохотного театрального убийства, и пятое действие оказалось невозможно.

Кинжал эти господа сочли возмутительным, яд — чудовищным, топор — и вовсе недопустимым. Им бы хотелось, чтобы герои пьес доживали до лет Мелхиседека; однако же с незапамятных времен всеми признано, что цель всякой трагедии состоит в том, чтобы в финальной сцене разделаться с горемычным великим человеком, который к этому времени уже совершенно изнемог; точно так же, как цель всякой комедии — соединить узами брака двух безмозглых героев-любовников, которым бывает обыкновенно лет по шестидесяти от роду.

Примерно в это время я бросил в огонь (предварительно, как это всегда делается, сняв копию) две отменных, великолепных средневековых драмы, одну в стихах, другую в прозе; героев там четвертовали и варили живьем прямо на сцене, что было очень весело и довольно-таки непривычно.

Потом, подлаживаясь под понятия критиков, я сочинил античную трагедию в пяти действиях под названием «Гелиогабал»; ее герой топился в отхожем месте — поразительное новшество, имеющее то преимущество, что для него требовались еще не виданные в театре декорации. Кроме того, я настроил современную драму «Артур, или Роковой человек», на много превосходящую «Антони», где providенциальная идея была подана в форме страсбургского паштета из гусиной печенки, который до последней крошки поедает герой, совершивший перед тем несколько изнасилований; паштет добавляется к угрызениям совести, и все вместе приводит к тяжелейшему несварению желудка, от которого он и умирает. Такой, можно сказать, высоконравственный финал, доказывающий, что существует божественная справедливость, что порок всегда бывает наказан, а добродетель — вознаграждена.

Что касается чудовищного романа — тут уж вы и сами помните, как обошлась критика с Гансом Исландцем, пожирателем людей, с колдуном Хабиброй, со звонарем Квазимодо и с Трибуле, который был просто горбун, — со всем этим причудливым копошащимся выводком, со всей этой гротескной нечистью, которую расплодил мой любезный сосед, населив ею девственные леса и соборы своих романов. Ни смелые мазки в манере Микеланджело, ни изыски, достойные Калло, ни эффекты светотени в духе Гойи, — ничто не умилило критиков; когда он сочинял романы, они советовали ему вернуться к одам; он стал писать драмы — ему порекомендовали вернуться к романам; обычная тактика журналистов: то, что уже сделано, им всегда милее, чем то, что делается сейчас. И все-таки этот человек — счастливчик: даже фельетонисты признают его превосходство во всем им созданном, кроме, разумеется, того произведения, на которое они пишут рецензию, и теперь ему осталось сочинить только богословский трактат да поваренную книгу — и его драматургию превознесут до небес!

Что касается любовного романа, пылкого и страстного, отцом которого считается немец Вертер, а матерью — француженка Манон Леско, в начале нашего предисловия мы уже в нескольких словах упомянули, что их, под предлогом благочестия и добронравия, окончательно провозгласили нравственной язвой. Критические вши ничем не отличаются от платяных: они переползают с трупов на живых людей. С трупа средневекового романа критики перекинулись на роман о любви: шкура у него крепкая, здоровая, авось они об нее обломают зубы.

Несмотря на все наше уважение к современным апостолам, мы полагаем, что авторы этих романов, слывающих безнравственными, хоть, правда, и не настолько женаты, как добродетельные журналисты, но, худо-бедно, у каждого из них есть мать, а у многих — еще и сестры и множество прочей родни женского пола; однако их матери и сестры не читают романов, даже безнравственных; они шьют, вышивают, хлопочут по хозяйству. Их чулки, как сказал бы г-н Планар, отличаются безупречной белизной: осматривайте их как угодно пристально — они не синие, и простодушный Кризаль, пылкий ненавистник ученых женщин, указал бы эти чулки высокоумной Филаменте как образец для подражания.

Что до супругов господ критиков, коль скоро у них имеются таковые, то, при всей непорочности их мужей, мне кажется, что кое о чем им все же не худо бы знать. Правда, не исключено, что мужья ничего им не показали. В таком случае понимаю, почему они так настойчиво желают и впредь держать своих жен в бесценном и блаженном неведении. Велик Аллах, и Магомет — пророк его! Женщины любопытны, пускай же, попечением Всевышнего и морали, они удовлетворяют свое любопытство более законными способами, чем их праматерь Ева, и не обращаются с вопросами к змею!

Ну, а их дочери, ежели они были в пансионе, то, по моему разумению, вряд ли они почерпнут что-нибудь новое из книг.

Называть человека пьяницей за то, что он описывает оргию, и развратником за то, что он живописует распутство, столь же бессмысленно, сколь объявлять кого-либо добродетельным на том основании, что он написал трактат о нравственности, мы, что ни день, видим примеры обратного. Высказывается не автор, а персонаж, и если выведенный в книге герой — атеист, это не значит, что и сам писатель тоже атеист; если автор заставляет разбойников поступать и рассуждать по-разбойничьи, то из этого не следует, что он и сам разбойник. В таком случае надо было бы гильотинировать Шекспира, Корнеля и вообще всех, кто писал трагедии; они пролили больше крови, чем Мандрен и Картуш; между тем этого никогда не делали, и подозреваю даже, что в скором времени и не начнут делать, как ни усердствуй критика на стезе нравственности и добродетели. Эти убогие узколобые писаки помешаны на том, чтобы подменять автора его творением; они так и норовят перейти на личности, чтобы придать хотя бы хилый скандальный интерес своим плоским сочинениям, которые, как им хорошо известно, никто не станет читать, если в них не будет ничего, кроме собственного мнения критиков.

Мы совершенно не в силах постичь, к чему вся эта шумиха и зачем поднимать столь негодующий лай; с какой стати всякие мелкотравчатые господа Жоффруа провозглашают себя Дон Кихотами нравственности и литературными полицейскими, готовыми разить и дубасить во имя добродетели каждую идею, которая гуляет по книге в сбившемся набок чепчике и коротковатой юбчонке. Это весьма странно.

Что ни говори, а эпоха наша безнравственна (если это слово имеет какой-то смысл, в чем мы сильно сомневаемся), и нам не надо иных доказательств тому, достаточно поглядеть, сколько безнравственных книг она производит на свет и каким успехом они пользуются. Не нравы следуют книгам, а книги следуют нравам. Не Кребийон породил Регентство, а Регентство породило Кребийона. Юные пастушки Буше были накрашены и выставляли напоказ плечи и грудь, потому что сверх всякой меры накрашены и декольтированы были юные маркизы. Картины пишут с натуры, а не натуру с картины. Не знаю, кто и где сказал, что литература и искусство влияют на нравы. Кто бы он ни был, это, несомненно, круглый дурак. С тем же успехом можно объявить: весна начинайся, потому что растет горошек. На самом деле все наоборот; горошек растет, потому что настала весна, а черешня согревает, потому что пришло лето. Деревья приносят плоды, и каждому ясно, что не плоды приносят деревья, — это вечный закон, единообразный во всем своем многообразии; столетие сменяется столетием, и каждое — приносит свои плоды, иные, чем плоды предшествующего века; книги — это плоды нравов.

По соседству с нравственной журналистикой под этим дождем проповедей, словно под летним ливнем в парке, между досками сен-симонистских балаганных подмостков пробилась поросль маленьких грибков совсем нового и любопытного свойства, — ее мы также включим в наш курс естествознания.

Речь идет о критиках-утилитаристах. У этих бедняг носы чересчур коротки, чтобы оседлать их очками, а между тем они ничего не видят дальше собственного носа.

Когда кто-нибудь из писателей швыряет им на стол новый том, будь то роман или сборник стихов, — эти господа бесстрастно откидываются на спинку кресла, принимаются раскачиваться на его задних ножках, раздуваются от важности и изрекают:

— Чему служит эта книга? Чем она может способствовать нравственному просвещению и благоденствию самого многочисленного и самого обездоленного класса? Как! Ни слова о нуждах общества, ничего на потребу цивилизации и прогрессу! Да как вы смеете, вместо того чтобы споспешествовать великому единению человечества и на примере исторических событий следить за фазами providенциальной идеи обновления, — как вы смеете вместо всего этого просто писать стихи и романы, которые ни к чему не зовут и не

ведут все наше поколение вперед, к будущему? Как можно заботиться о стиле, пока не решены такие важные вопросы? Какое нам дело до стиля, рифмы, формы? Дело совсем не в них (зелен виноград, бедные лисички!). Общество страждет, раздираемое великими внутренними противоречиями (что значит: никто не хочет подписываться на «полезные» газеты). Дело поэта — найти причину этого недуга и ухаживать за ним. Он поймет, как осуществить эту задачу, когда проникнется искренним и сердечным сочувствием к человечеству (поэты-филантропы! какое очаровательное было бы новшество!).

Мы ждем такого поэта, мы призываем его всеми силами души. Пускай только пожалует — будут ему и приветственные крики толпы, и пальмовые ветви, и венки, и Пританей...

В добрый час; но нам бы хотелось, чтобы читатель не заснул до конца этого столь удачного предисловия, а посему не станем далее с тою же верностью подражать утилитаристскому стилю, который по природе своей обладает снотворным действием и вполне может заменить лауданум и речи академиков.

Нет, глупцы, нет, зобатые недоумки, книга — это не то же самое, что желатиновый суп, роман — это вам не пара сапог без швов; сонет — не клистирная трубка; драма — не железная дорога, и не имеет никакого отношения к достижениям цивилизации, ведущим человечество по стезе прогресса.

Нет, клянусь кишками всех прежних, нынешних и грядущих пап, две тысячи раз нет!

Из метонимии не сошьешь ночного колпака, сравнение не напаялишь на ногу вместо домашней туфли; антитезой не прикроешься вместо зонтика; к сожалению, невозможно налепить себе на живот несколько цветистых рифм вместо жилета. Втайне я глубоко убежден, что ода — слишком легкое платье на зиму, а в строфу, антистрофу и эпод можно одеться не лучше, чем была одета жена одного киника, которой добродетель заменяла сорочку, так что, если верить истории, достойная женщина расхаживала в чем мать родила.

Правда, знаменитый г-н де Ла Кальпренед появился однажды в новом камзоле, а когда его спросили, из какой материи сшита обновка, ответил: из Сильвандра. «Сильвандр» — так называлась его пьеса, снискавшая успех незадолго до того.

От подобных рассуждений впору лишь пожать плечами, задрав их при этом выше, чем герцог Глостер.

И эдакую чепуху всерьез высказывают люди, притязающие на звание экономистов и желающие перестроить общество сверху донизу!

Роман приносит двойную пользу — материальную и духовную, если так можно выразиться применительно к роману. Материальная польза — это прежде всего те несколько тысяч франков, что поступают в карманы автора и служат ему балластом, чтобы ни ветер, ни черт его не унесли; для издателя — это прекрасный породистый конь, который бьет копытом и скачет, запряженный в кабриолет из эбена и железа, как было сказано в «Фигаро»; для торговца бумагой — лишняя фабрика над каким-нибудь ручьем, а заодно, сплошь и рядом, — способ изгадить какой-нибудь живописный уголок; для типографов — несколько тонн кампешевой древесины, чтобы раз в неделю надираться до черно-белых и цветных чертиков; для читальни — груда медяков, позеленевших, как заведено у пролетариев, и такое обилие сала, что, ежели его надлежащим образом собрать да пустить в дело, охота на китов окажется излишней. Духовная же польза состоит в том, что читатели романов прекрасно спят и не читают полезных, добродетельных и прогрессивных газет, а также не употребляют и прочих неудобоваримых и отупляющих снадобий.

Попробуйте после этого заявить, что романы не способствуют цивилизации. Не стану уж говорить о торговцах табаком, пряностями и жареным картофелем, которые весьма заинтересованы в этой отрасли литературы, поскольку на нее, как правило, идет бумага лучшего качества, чем газетная.

Да, как послушаешь рассуждения господ утилитаристов — республиканцев или сенсимонистов, — можно лопнуть со смеху. Прежде всего хотелось бы выяснить в точности, что означает это назойливое существительное, которым они ежедневно заполняют пустоты в газетных столбцах и которое служит им то шибболетом, то символом веры, — польза! Что это за словцо и к чему оно относится?

Польза бывает двоякого рода, и смысл этого слова всегда относителен. Что на пользу одному, бесполезно для другого. Вы — сапожник, я — поэт. Мне полезно, чтобы первый мой стих рифмовался со вторым. Словарь рифм приносит мне огромную пользу; он совершенно ни к чему вам при изготовлении подметок для старых сапог, ну, а мне сапожный резак ничуть не пособит в сочинении оды. Теперь мне возразят, что сапожник намного выше поэта и что первый куда более необходим, чем второй. Ничуть не желая принизить славное сапожное ремесло, каковое я чту наравне с профессией конституционного монарха, смиренно признаюсь, что сам-то я скорее смирюсь с рваным башмаком, чем со скверной рифмой, и охотней обойдусь без обуви, чем без стихов. Из дому я выхожу редко, а головой работаю проворней, чем ногами, так что снашиваю меньше башмаков, чем добродетельный республиканец, шныряющий от министра к министру в чаянии теплого местечка.

Знаю, что иные предпочитают церквам мельницы, а духовному хлебу — хлеб как таковой. Мне нечего сказать этим людям. Они достойны быть экономистами в этом мире, да и в том тоже.

Существует ли на нашей земле и в нашей жизни нечто безусловно полезное? Прежде всего не вижу особой пользы в том, что мы живем на земле. Бросаю вызов самому мудрому из всей банды утилитаристов: пускай объяснит, какая от нас всех польза помимо того, что мы подписываемся на «Конститюсьонель» или какую-нибудь другую газету.

Далее, если мы примем полезность нашего существования а priori, — что может по-настоящему пойти ему на пользу? Суп и кусок мяса дважды в день — вот все, что требуется, чтобы набить утробу в самом точном смысле слова. Человеку, которому после смерти с лихвой хватит помещения в два фута шириной и в шесть длиной, и при жизни требуется немногим больше пространства. Полый куб футов в семь-восемь длиной, шириной и высотой с отверстием для воздуха, одна ячейка в улье — вот и все, что ему нужно, чтобы разместиться и спастись от дождя. Одеяло, обернутое вокруг тела, Убережет его от холода так же хорошо и даже еще лучше, чем Фрак от Штауба самого элегантного фасона и удачного кроя.

Все это позволяет выжить в буквальном смысле слова. Говорят, что можно просуществовать на двадцать пять су в День, но не умереть с голоду еще не значит жить; по мне, находиться в городе, где все подчинено принципу полезности, ничуть не приятнее, чем на Пер-Лашез.

Для того чтобы прожить, нет никакой необходимости в прекрасном. Если отменить цветы, материально от этого никто не пострадает; и все-таки кто захочет, чтобы цветов не стало? Я лучше откажусь от картофеля, чем от роз, и полагаю, что никто на свете, кроме утилитариста, не способен выколоть на грядке тюльпаны, чтобы посадить капусту.

На что годится женская красота? Коль скоро женщина крепко сложена с медицинской точки зрения и в состоянии рожать детей, любой экономист признает ее прекрасной.

Зачем нужна музыка? Зачем нужна живопись? Какой безумец предпочтет Моцарта г-ну Каррелю и Микеланджело изобретателю белой горчицы?

Воистину прекрасно только то, что абсолютно ни на что не годится; все полезное уродливо, ибо служит удовлетворению какой-нибудь потребности, а все потребности человека отвратительны и гнусны, равно как его немощное, убогое естество. Самое полезное место в доме — нужник.

Ну а я, рискуя не угодить этим господам, принадлежу к тем, кому необходимо излишнее, и любовь моя к людям и вещам диктуется причинами, противоположными пользе, которую они мне приносят. Известной вазе, весьма полезной по ночам, я предпочитаю китайскую вазу, расписанную драконами и мандаринами и совершенно никчемную, а самым ценным своим талантом почитаю умение разгадывать логогрифы и шарады. Я с радостью откажусь от прав француза и гражданина ради того, чтобы увидеть подлинную картину Рафаэля или прекрасную женщину нагишом, например, принцессу Боргезе, позирующую Канове, или Джулию Гризи, входящую в купальню. Я ничуть не возражал бы против возвращения на трон этого людоеда Карла X, лишь бы он прислал мне из своего божьего замка корзину токайского или йоханнисбергского; по мне, возможности, даруемые избирательными законами, и так достаточно широки, лишь бы некоторые улицы были столь же широки, как эти возможности, а вот кое-что другое я бы с удовольствием обузил. Хоть я и не меломан, а все-таки пиликанье скрипок и стук баскских барабанов мне милее, чем колокольчик г-на председателя. Я продам штаны, чтобы купить перстень, а хлеб променяю на варенье. Самым подходящим цивилизованному человеку занятием я почитаю ничегонеделание и глубокомысленное курение трубки или сигары. Кроме того, я весьма уважаю игроков в кегли, а также сочинителей хороших стихов. Как видите, принципы утилитаризма весьма далеки от моих, и мне никогда не бывать редактором добродетельной газеты, разве что я обращусь в истинную веру, что было бы уж совсем забавно.

Вместо того чтобы поощрять добродетель Монтионовской премией, я по примеру Сарданапала, великого и так неверно понятого философа, назначил бы щедрое денежное вознаграждение тому, кто изобретет новый вид наслаждения, ибо полагаю удовольствие целью нашей жизни и единственным, что полезно в этом мире. Такова воля Всевышнего, который создал женщин, приятные запахи, свет, прекрасные цветы, добрые вина, ретивых коней, левреток и ангорских котов, который не повелел ангелам: «будьте добродетельны», но «любите», и сделал так, что на губах кожа у нас чувствительнее всего, чтобы сподручнее было целовать женщин, и дал нам глаза, устремленные к небу, чтобы видеть свет, и тонкое обоняние, чтобы уловлять душу цветов, и сильные бедра, чтобы сжимать бока горячих жеребцов и лететь со скоростью мысли без рельсов и парового котла, и нежные руки, чтобы ласкать длинную голову левретки, бархатную кошачью спину и гладкие плечи не слишком добродетельных созданий; который, наконец, наделил только нас одних славной тройной привилегией: пить, не испытывая жажды, высекать огонь и любоваться всякое время года, что гораздо больше отличает нас от животных, чем обычай читать газеты и сочинять хартии.

Господи, Боже мой! Что за глупость это совершенствование рода человеческого, о котором нам уже прожужжали уши! И впрямь, впору подумать, будто человек — это машина, в которую можно внести улучшения, и стоит подкрутить какое-нибудь колесико и передвинуть гирьку, как она примется работать исправнее и четче. Когда мы исхитримся снабдить человека двойным желудком, чтобы он мог жевать жвачку, как бык, и глазами на затылке, чтобы он, как Янус, мог видеть тех, кто высовывает язык у него за спиной, и

созерцать свою непристойность в менее неуклюжей позе, чем Венера Каллипига Афинская; когда к его лопаткам удастся приладить крылья, чтобы избавить его от необходимости платить шесть су за поездку в омнибусе, когда ему подарят какой-нибудь новый орган, — вот тогда-то, в добрый час, слово «совершенствование» обретет какой-никакой смысл. С тех пор как пошли разговоры об улучшении да исправлении человеческой породы, сделано ли хоть что-нибудь, чего точно так же и даже успешнее не делали еще до потопа?

Научилось ли человечество пить больше, чем пило в эпоху невежества и варварства (изъясняясь старинным слогом)? Александр, чересчур нежный друг прекрасного Гефестиона, был великий винопийца, хотя в его время не было газеты «Полезные сведения», и ныне я не знаю утилитариста, который был бы способен, не сделавшись амфороподобным и не раздувшись пуще Лепентра-младшего или бегемота, осушить огромный кубок, называвшийся у него чашей Геракла. Маршал де Бассомпьер, выпивший вино, которым был наполнен его огромный воронкообразный ботфорт, за здоровье тринадцати кантонов, представляется мне человеком, воистину достойным восхищения, и превзойти его, по-моему, необыкновенно трудно.

Где тот экономист, который растянет нам желудок до такой степени, чтобы в него вмещалось столько же бифштеков, сколько в утробу Милона Кротонского, съедавшего в один присест целого быка? Меню «Английского кафе», или «Вефура», или иной кулинарной знаменитости кажется мне весьма скудным и весьма постным в сравнении с меню любого из обедов Тримальхиона. К какому столу подают свинью с ее двенадцатью поросятами на одном блюде? Кто пробовал мурен и миног, откормленных человечиною? Неужто вы верите, что Брийя-Саварен пошел дальше Апиция? Да разве у Шве толстому мяснику Вителлиу наполнили бы его знаменитый щит Минервы фазаньими и павлиньими мозгами, языками фламинго и печенью рыбы скары? Ваши устрицы из «Роше де Канкаль» — тоже мне роскошь по сравнению с устрицами Лукринского озера, которое словно для них было создано! Домики в предместьях, утеха маркизов эпохи Регентства, — это просто жалкие балаганы для пикников, если сравнить их с виллами римских патрициев в Байи, на Капри или в Тибуре. Созерцая исполинские деяния этих великих сладострастников, ради однодневных удовольствий строивших бессмертные памятники, не лучше ли нам повергнуться во прах перед античным гением и навсегда вычеркнуть из словаря слово «совершенствование»?

Разве с тех пор выдумали еще хотя бы один смертный грех? Увы, их осталось семь, как и прежде, по числу падений, кои совершает праведник в течение дня, — то есть совсем немного. Не думаю, впрочем, что даже спустя сто лет непрерывного прогресса какой-нибудь любовник сумеет повторить тринадцатый подвиг Геркулеса. Возможно ли в наши дни доставить своему обожаемому кумиру хотя бы на одно удовольствие больше, чем во времена Соломона? Множество весьма известных ученых и весьма почтенных дам придерживаются диаметрально противоположного мнения и утверждают, будто человечество делается все нелюбезнее. Но тогда что вы там толкуете о прогрессе? Знаю, знаю, вы скажете, что у нас есть верхняя палата и нижняя палата, и можно надеяться, что вскоре все население получит избирательное право, а число народных представителей удвоится или утроится. Неужели, по-вашему, недостаточно ошибок против Французского языка доносится с национальной трибуны, и депутатов все еще слишком мало для того гнусного дела, к которому они призваны? Не вижу никакой пользы в том, чтобы набить две-три сотни провинциалов в деревянный балаган с росписью г-на Фрагонара на потолке, чтобы они там стряпали на скорую руку уж не знаю сколько убогих законов, То бессмысленных, то жестоких. Какая разница, что вами правит — сабля, кропило или зонтик! Все это разные обличья Палки, и меня удивляет, что поборники прогресса занимаются спорами о том, какую дубинку выбрать, чтобы она охаживала их по плечам,

хотя куда прогрессивнее и куда дешевле было бы сломать ее, а обломки выбросить ко всем чертям.

Единственный из вас, кто обладает здравым смыслом, — это безумец, гениальный ум, глупец, вдохновенный поэт, намного превзошедший Ламартина, Гюго и Байрона; это обитатель фаланстера Шарль Фурье, сочетающий в себе все, о чем я упомянул; лишь у него одного оказалось достаточно логики и лишь ему хватает отваги развить свои рассуждения до конца. Он без тени сомнения утверждает, что рано или поздно люди обзаведутся хвостом в пятнадцать футов длиной и с глазом на конце; это будет несомненным прогрессом и даст человеку множество новых возможностей, коими он; не располагал прежде: без единого выстрела убивать слонов, безо всяких качелей раскачиваться на деревьях не хуже юной макаки и задира́ть хвост у себя над головой вместо зонтике наподобие султана из перьев, подражая белкам, которые запросто обходятся без этого громоздкого приспособления, а также другие преимущества, которые слишком долго было бы перечислять. Многие поборники фаланстеров уверяют даже, что уже обзавелись хвостиками, которым осталось лишь чуток подрасти, коль скоро Всевышний продлит жизнь их владельцам.

Шарль Фурье выдумал не меньше видов животных, чем великий натуралист Жорж Кювье. Он выдумал лошадей, которые станут втрое больше и сравняются размерами со слонами, собак — величиной с тигров, рыб, которыми можно будет насытить больше народу, чем тремя рыбешками Иисуса Христа, которых недоверчивые вольтерьянцы считают не столько рыбами, сколько утками наподобие газетных, а я — блистательным примером преувеличения. Он выстроил города, рядом с которыми Рим, Вавилон и Тир — убогие муравейники; он нагромоздил Вавилонские башни одну на другую и устремил в поднебесье нескончаемые спирали, превосходящие изображенные на гравюрах Джона Мартина; в своем воображении он создал уж не знаю сколько новых архитектурных орденов и новых кулинарных приправ; он спроектировал театр, который должен стать грандиознее амфитеатров Римской империи, и составил меню, которое, быть может, одобрили бы Луций и Номентан для дружеского обеда; он обещал создать новые наслаждения и развить члены и органы чувств; он намерен сделать женщин красивее и сладострастнее, мужчин сильнее и отважнее; он готов оградить вас от появления потомства и намерен сократить население земли настолько, чтобы никому не было тесно; и это куда разумнее, чем подбивать пролетариев на то, чтобы они плодили себе подобных, а потом расстреливать их из пушек на улицах, когда они чересчур размножатся, и вместо хлеба раздавать им избирательные бюллетени.

Только в таком виде и возможен прогресс. Все прочее — горькая насмешка, плоское фиگارство, которым не проведешь даже самых тупых простофиль.

Фаланстер — это в самом деле прогресс по сравнению с Телемским аббатством: рядом с ним земной рай решительно необходимо признать обветшалым и вышедшим из моды старьем.

С фаланстером могут успешно соперничать только «Тысяча и одна ночь» и сказки г-жи д'Онуа. Какая плодовитость! Какая изобретательность! Хватило бы на то, чтобы в наилучшем виде расцветить целый воз романтических или классических поэм; а наши версификаторы, хоть из Академии, хоть нет, — жалкие вральи, если сравнивать их с г-ном Шарлем Фурье, изобретателем увлекательных аттракционов. И впрямь, использовать движения, которые доныне все пытались только пресечь, — это, несомненно, возвышенная и могучая мысль.

Ах, вы говорите, что мы прогрессируем! Если завтра на Монмартре разверзнется вулкан, накроет Париж саваном из пепла и погребет его в могиле из лавы, как поступил в свое

время Везувий со Стабией, Помпеями и Геркуланумом, и если спустя несколько тысяч лет любители старины произведут раскопки и извлекут на свет тело покойного города, скажите, какой памятник устоит и засвидетельствует бывшее великолепие усопшего — собор Парижской Богоматери со всей его готикой? Прекрасное мнение составят потомки о нашем искусстве, когда раскопают Тюильрийский дворец, подновленный г-ном Фонтеном! Статуи с моста Людовика XV произведут отменное впечатление, когда их перенесут в музеи того далекого времени! И если не считать картин старых школ да античных и ренессансных статуй, которыми набита длинная бесформенная кишка, называемая галереей Лувра, а также плафона работы Энгра, которые докажут потомкам, что Париж не был поселением варваров, деревней кельтов или топинамбу, то раскопки обнаружат весьма любопытные вещицы. Тесаки солдат национальной гвардии, каски пожарных, неряшливо отчеканенные экю — вот что найдут вместо прекрасного, покрытого затейливой резьбой оружия, которое оставило в недрах своих башен и полуразрушенных гробниц Средневековья, вместо медалей, переполнявших этрусские вазы и устилавших фундаменты всех римских построек. Что до нашей убогой фанерованной мебели! всех этих голых, безобразных, пошлых сундуков, именуемых комодами да секретерами, я надеюсь, что время сжалится над всеми этими бесформенными и хлипкими приспособлениями и разрушит их без следа.

В один прекрасный день нас посетила смелая мысль создать величественный и роскошный памятник. Сначала нам пришлось позаимствовать его замысел у древних римлян, и наш Пантеон, не успев даже приблизиться к завершению, скособочился, как рахитичное дитя, и захромал, как мертвецки пьяный инвалид, так что пришлось подпереть его каменными костылями, без чего он растянулся бы во всю длину на земле самым жалким образом и на всеобщее обозрение, — и все народы потешались бы над ним добрую сотню лет... Захотелось нам поместить на одной из наших площадей обелиск; пришлось умыкнуть его из Луксора, причем понадобилось целых два года, чтобы перетащить его домой. Древний Египет окаймлял свои дороги обелисками, как мы свои — тополями; таскал их туда-сюда охапками, как огородник спаржу, и вырубал цельные глыбы из гранитных скал легче, чем мы отщепляем щепочку, чтобы было чем поковырять в ухе или в зубах. Несколько веков назад у нас был Рафаэль, у нас был Микеланджело; теперь у нас есть г-н Поль Деларош, а все потому, что мы прогрессируем. Вы хвалите Оперу? Десять таких Опер, как ваша, могли бы сплясать сарабанду в римском цирке. Сам г-н Мартен со своим ручным тигром и жалким львом, подагрическим и сонным, как подписчик «Газетт», являет собой плачевное зрелище в сравнении с гладиаторами былых времен. Что ваши бенефисы, затягивающиеся до двух часов пополудни, когда вспоминаешь о представлениях, длившихся дней этак по семь, во время которых некоторые корабли по-настоящему сражались в настоящем море; когда тысячи людей добросовестно кромсали друг друга на куски, — бледней, героический Франкони! — а потом море отступало, и на его месте появлялась пустыня с рыкающими львами и тиграми, этими ужасающими статистами, выступавшими по одному разу, а главную роль исполнял какой-нибудь дакийский или паннонский атлет, которому зачастую весьма сложно было дотянуть до конца пьесы, и партнершей его выступала прекрасная и три дня не кормленная лакомка-львица? Не кажется ли вам, что слон, пляшущий на канате, затмевает мадемуазель Жорж? Неужто вы полагаете, что мадемуазель Тальони танцует лучше Арбускулы, а Перро лучше Батилла? Я убежден, что Росций даст сто очков вперед Бокажу при всех достоинствах последнего. Галерия Коппиола выступала в амплуа инженеру ста лет от роду! Надо признать по справедливости, что у нас самая пожилая премьерша никак не старше шестидесяти лет и что даже мадемуазель Марс не являет собою, в этом смысле, никакого прогресса. У них были три-четыре тысячи богов, в которых они верили, а у нас только один, в которого мы почти не верим; если это и прогресс, то какой-то сомнительный. Пожалуй, и Юпитер превосходит Дон Жуана

мощью, а в искусстве обольщения наверняка заткнет его за пояс. Воистину, понятия не имею, что именно мы изобрели или хотя бы усовершенствовали.

Помимо прогрессивных журналистов и в качестве полной противоположности существуют еще журналисты пресыщенные — этим, как правило, лет по двадцать, от силы по двадцать два от роду, они еще никогда не покидали своего квартала и спали пока только со своими эконошками. Этим все наскучило, все их томит, все наводит на них смертельную тоску, они пресыщены, утомлены, равнодушны, недоступны. Они заранее знают все, что вы им скажете; они видели, слышали, чувствовали, испытали все, что возможно увидеть, услышать, почувствовать или испытать; в сердце человеческом не осталось тайных уголков, которых бы они не высветили. Они заявляют вам с неподражаемым апломбом: «Сердце человеческое не таково, таких женщин не бывает, в этом характере нет жизненной правды»; или восклицают: «Ну, вот! Опять любовь и ненависть! Опять мужчины и женщины! Неужели вы не можете рассказать нам о чем-нибудь другом; мужчина уже исхожен вдоль и поперек, а женщина, с тех пор как в это дело вмешался г-н де Бальзак, — тем более».

Но кто избавит нас от женщин и мужчин?*

(*Пародия на первый стих «Элегии» Жозефа Бершу (1760—1839, «О кто избавит нас от римлян и от греков?»))

— Вы полагаете, сударь, что ваша побасенка нова? Она не новей Нового моста: она общеизвестна, как ничто другое; я даже не помню, когда я впервые это прочитал, грудным младенцем или еще раньше; а за последние десять лет мне об этом уши прожужжали... И вообще, сударь, да будет вам известно, нет ничего, о чем бы я не знал, и все мне приелось, и даже будь ваша мысль девственна, как дева Мария, я все равно утверждал бы, что видел, как она на всех углах предлагала себя ничтожным писакам и хилым педантам.

Эти журналисты вызвали к жизни орангутана Жоко, Зеленое чудовище, майсурских львов и множество других прекрасных выдумок.

Они постоянно жалуются, что им приходится читать книги и смотреть театральные спектакли. По поводу скверного водевиля они толкуют нам о цветущем миндале, о благоухании Лип, о весеннем ветерке, об аромате свежих листочков; они прикидываются любителями природы, точь-в-точь юный Вертер, а сами из Парижа ни ногой и не отличат капусту от свеклы. Если на дворе зима, они распишут вам и улады домашнего крова, и потрескивающий огонь, и каминную решетку, и ночные туфли, и мечтательность, и полудрему; они не преминут процитировать знаменитый стих Тибулла:

Любо пронзительный ветер слушать на ложе покойном! —

и с помощью всего этого примут изящнейшую позу на свете, одновременно исполненную и разочарованности, и простодушия. Они выставят себя людьми, над которыми уже не властны творения им подобных; драматические страсти оставляют их столь же холодными и безучастными, как ножи, которыми они вострят свои перья, но в то же время они, подобно Ж.-Ж. Руссо, восклицают: «Вот барвинок!» Эти питают жестокую неприязнь к полковникам из театра «Жимназ», к американским дядюшкам, кузенам, кузинам,

чувствительным старым ворчунам, романтическим вдовам, и пытаются исцелить нас от водевилей, доказывая всякий день в своих газетных подвалах, что не все французы — прирожденные пройдохи. Мы же, ей-богу, не видим в этом большого зла, совсем даже напротив, и с удовольствием согласимся, что искоренение во Франции таких любимых народом жанров, как комическая опера и водевиль, было бы величайшим благодеянием Всевышнего. Но хотел бы я знать, какой литературный жанр эти господа предполагают водворить на освободившемся месте. Хотя, пожалуй, хуже все равно не будет.

Другие клеймят дурной вкус и переводят трагедии Сенеки. В последнее время образовался новый батальон критиков в невиданном доньше роде — ими мы и замкнем шествие.

Одобрение они выражают самой удобной, растяжимой, гибкой, безапелляционной, напыщенной и неотразимой формулировкой, какая только может осенить критика. От нее бы не отказался и Зоил.

С их легкой руки теперь, когда желают опорочить какое-нибудь сочинение или разоблачить его в глазах простодушного и патриархального подписчика, его цитируют в искаженном виде или куцыми отрывками; обрубают предложение, увечат стихотворную строку таким образом, что сам автор признал бы эти цитаты сущей нелепицей; уличают его в мнимом плагиате; сопоставляют отрывки из его книги с отрывками из древних и новых авторов, не имеющими к ней ни малейшего отношения; обвиняют его в том, что он пишет слогом кухарок, с кучей словизмов, что у него ужасный стиль и что он искажает французский язык Расина и Вольтера; всерьез утверждают, что его сочинение учит людоедству и что читатели этой книги неизбежно сделаются каннибалами или заболеют бешенством не позднее чем через неделю; притом же вся эта писанина, дескать, убога, старомодна и до отвращения разит отсталостью и косностью. Обвинение в отсталости, за которым тащился шлейф статей и подвалов из раздела «Смесь», со временем тоже показалось недостаточным и настолько вышло из употребления, что одна только целомудренная и известная своей прогрессивностью газета «Конститусьонель» еще повторяет с отчаянной отвагой это обвинение. И тогда наконец изобрели критику, нацеленную в будущее, перспективную критику. Чувствуете, как это заманчиво, какому богатому воображению обязано своим появлением на свет? Рецепт прост, можем вам его сообщить. Хорошая книга, которой обеспечен благоприятный прием, — это та, которая еще не напечатана. Книга, вышедшая свет, неминуемо оказывается ужасной. Завтрашняя книга будет изумительна, однако завтра никогда не наступает.

Эта критика точь-в-точь как тот цирюльник, на чьей вывеске было написано крупными буквами:

ЗАВТРА ЗДЕСЬ БУДУТ БРИТЬ БЕСПЛАТНО.

Все бедолаги, прочитавшие объявление, сулили себе назавтра неизгладимое и несравненное удовольствие раз в жизни избавиться от щетины, не развязав кошелька, и от предвкушения этого волоски на подбородке отрастали у них на добрые полфута за ночные часы, предшествовавшие блаженному дню; но когда вокруг шеи у них уже была повязана первая салфетка, браздобрей осведомлялся, располагает ли он деньгами, и советовал им приготовиться к уплате наличными, а не то с ними обойдутся как с голодранцами и оборванцами; он клялся и божился всеми святыми, что перережет им горло бритвой, если

они не раскошелятся, а несчастные бедняки, в доказательство своей правоты, скорбно и уныло ссыпались на объявление, написанное такими крупными буквами. «Хе-хе, пузанчики вы мои, — возражал цирюльник. — Экие вы невежды, вам впору вернуться на школьную скамью! В объявлении написано: завтра. Не такой уж я простака и пустомеля, чтобы брить бесплатно сегодня: мои собраты сказали бы на это, что я разучился своему ремеслу... Приходите еще, приходите после дождичка в четверг, и я услужу вам как нельзя лучше. Да чума или хоть проказа меня побери, если я тогда не побрею вас бесплатно, честное брадобрее слово!»

Писатели, читающие «перспективную» статью, где высмеивается новая книга, льстят себя надеждой, что сочинение, над которым они сейчас корпят, окажется той самой книгой будущего. Они стараются, насколько это возможно, подладиться под представления критика и становятся социальными, прогрессивными, нравоучительными, палингенезическими, мифологическими, пантеистическими, бюшеподобными, надеясь таким образом избежать увесистой анафемы; но с ними случается то же, что с клиентами того брадобрея: сегодня — отнюдь не канун завтрашнего дня. Обещанное «завтра» никогда не воссияет над миром, ибо формула эта слишком уж удобна, и кто же захочет от нее отказаться! Критик, выставя на позор книгу, возбуждающую в нем зависть, в то же время напускает на себя вид великодушного и беспристрастного судьи. Он притворяется, что от всей души рад бы расхвалить что-нибудь, и все-таки никогда и ничего не хвалит. Этот рецепт куда как лучше другого, который можно бы назвать «ретроспективным»: суть последнего в том, чтобы превозносить только старые книги, которых никто и так не читает и которые никому не мешают, одновременно ругая современные творения, занимающие умы и более ощутимо задевающие самолюбие.

Предваряя наш обзор критиков, мы сообщили, что материала у нас достанет на пятнадцать-шестнадцать томов ин-фолио, но мы, дескать, намерены ограничиться несколькими фразами; я начинаю опасаться, как бы эти фразы не оказались длиной в две-три тысячи туазов каждая и не напомнив ли нам тех толстых, пухлых брошюр, которых не прошибить насквозь даже пушечным выстрелом и которые вероломно озаглавлены: «Несколько слов о революции», «Несколько слов о том, о сем». Над историей дел и поступков, а также сердечных увлечений оперной дивы Мадлены де Мопен нависла огромная опасность: ее могут вежливо оттеснить в сторону, а вы понимаете, что для того, чтобы доступным образом воспеть приключения этой прекрасной Брадаманты, насилу достанет целого тома. Вот почему, как бы нам ни хотелось продолжить перечисление знаменитых Аристархов нашего времени, мы ограничимся незавершенным наброском, который вышел из-под нашего карандаша, и добавим, лишь несколько соображений насчет добродушия наших снисходительных братьев во Аполлоне, которые, дуростью не уступая герою пантомим Кассандру, застыли под градом палочных ударов Арлекина и пинков под зад, которыми угощает их Паяц, и торчат на месте что твои идола.

Они похожи на учителя фехтования, который, подвергнувшись нападению, заложил бы руки за спину и подставил открытую грудь выпадам врага, даже не пытаясь парировать.

Это все равно как если бы в суде давали слово только королевскому прокурору или в диспутах запрещали какие бы то ни было возражения.

Критик рыщет то тут, то там. Он строит из себя важную персону и в то же время рад поживиться любой мелочью. Только и слышно: бессмысленно, отвратительно, чудовищно! Это ни на что не похоже, это похоже на все подряд! Играют драму — критик идет ее смотреть; оказывается, что она ни в чем не соответствует той драме, которую он уже мысленно состряпал под этим названием; и вот в своем фельетоне он подменяет драму, сочиненную автором, своею собственной и изо всех сил блистает эрудицией; он вытряхивает на свет божий всю премудрость, которой набрался накануне в одной из

библиотек, и беспощадно отделяет людей, к которым должен был пойти за наукой и последний из которых намного умнее его.

Писатели переносят это с великодушием и долготерпением, которые кажутся мне непостижимыми. Кто же такие, в конце концов, эти критики, столь решительно изрекающие приговоры, столь скорые на расправу, кто эти сыны богов, если судить по их внешнему виду? Да просто люди! Мы учились с ними в одних коллежах, но ученье, вероятно, принесло им меньше пользы, чем нам, потому что они не написали сами никаких сочинений и способны только портить да загаживать чужие, как самые настоящие Стимфалийские птицы-вампиры.

Не пора ли учредить нечто вроде критики критиков? Ведь эти великие болваны, которые держатся спесиво и неприступно, на самом деле далеко не так непогрешимы, как святой наш отец — папа. Такой критики набралось бы вполне достаточно для пухлой ежедневной газеты. Их оплошности по части истории и других предметов, вымышленные цитаты, погрешности против французского языка, плагиат, нудные повторения, убогие шутки и дурной вкус, скудость идей, нехватка сообразительности и такта, незнание самых простых вещей, в силу которого Пирей считается у них человеком, а г-н Деларош — художником, представляют литераторам обширное поле деятельности для сведения счетов: для этого достаточно было бы отчеркивать карандашом кое-какие отрывки и воспроизводить их слово в слово; ибо, записавшись в критики, никто тем самым не становится великим писателем, и тому, кто упрекает других в погрешностях против языка и вкуса, нелишне было бы научиться избегать их самому; наши критики подтверждают эту истину беспрестанно. Если бы за критику принялись Шатобриан, Ламартин и им подобные, я бы еще понял, зачем перед ними повергаются ниц и окружают их обожанием; но когда гг. Z., K., Y., V., O., X. и прочие буквы алфавита от альфы до омеги прикидываются этакими Квинтилианами и распекают вас во имя нравственности и литературы, это вызывает у меня неизменное возмущение и ни с чем не сравнимые вспышки ярости. Хотелось бы, чтобы некоторым людям было запрещено полицейским предписанием набрасываться на некоторых других людей. Правда, и псу дозволено глядеть на епископа, и даже собор Святого Петра в Риме уж на что велик, а никак не может уберечься от транстеверинцев, которые пачкают его снизу весьма странным образом, а все-таки это не мешает мне думать, что нелишне было бы развесить вдоль некоторых особо почтенных репутаций таблички:

ЗДЕСЬ ГАДИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ!

Карл X был единственный, кто разобрался в вопросе. Распорядившись упразднить газеты, он оказал большую услугу искусству и цивилизации. Газеты — это нечто вроде барышников или сводников, снующих между художником и публикой, между королем и народом. Мы знаем, какие прекрасные результаты это принесло. Нескончаемый лай оглушает вдохновение и поселяет в сердцах и умах такое недоверие, что люди не отваживаются больше верить ни поэту, ни правительству; а потому королевская власть и поэзия, эти два величайших явления на свете, просто-напросто не могут выжить, к величайшему несчастью народов, жертвующих своим благоденствием ради убогого развлечения — прочитывать по утрам несколько скверных листков скверной бумаги, безнадежно испорченных скверной типографской краской и скверным стилем. При Юлии II совсем не было художественной критики, и я не знаю ни единой статьи о Даниэле да Вольтерра, Себастиано дель Пьомбо, Микеланджело, Рафаэле, ни о Гиберти делле Порте, ни о Бенвенуто Челлини; но хоть все они и прозябали без газет и не знали ни слова

«искусство», ни слова «художественный», тем не менее, надо признать, были не лишены таланта и неплохо владели своим ремеслом. Чтение газет не дает выжить настоящим ученым и настоящим художникам; подобно ежедневным излишествам, оно приводит вас на ложе муз издерганным и обессиленным, а музы — девицы строгие, неприступные, им подавай бодрых, неистрепанных возлюбленных. Газета убивает книгу точно так же, как книга убивает архитектуру, как артиллерия убила отвагу и мускульную силу. Мы и не догадываемся, какие радости у нас отнимают газеты. Они лишают девственности все, что нас окружает; из-за них мы никогда не можем насладиться полным обладанием: мы не можем остаться наедине с книгой; нам не дано восхититься театральной пьесой, ибо газеты заранее сообщили нам развязку; они лишают нас удовольствия молоть вздор, перемывать косточки, судачить и злословить, выдумывать враки или разносить чистую правду в течение недели по всем гостиницам в мире. Они вопреки нашей воле закармливают нас готовыми суждениями обо всем на свете и сеют в нас предубеждение против того, что мы могли бы полюбить; из-за них торговцы фосфорными спичками, если только они наделены некоторой памятью, рассуждают о литературе столь же дерзко, сколь и провинциальные академики; из-за них нам день-деньской вместо простодушных и самобытных глупостей приходится выслушивать плохо переваренные газетные ошметки, напоминающие омлет, с одной стороны сырой, а с другой — подгоревший, да еще и безжалостно сдобренный наисвежайшими новостями, известными и грудным младенцам; они притупляют и превращают нас в подобие любителей перцовой водки, в этих глотателей бритв и рашпилей, которые более не находят вкуса в самых благородных винах и не в силах уловить их тонкий ароматный букет. Если бы Луи-Филипп раз и навсегда отменил все литературные и политические газеты, я был бы ему за это бесконечно признателен, с ходу накатал бы в его честь превосходный страстный дифирамб, частично свободным стихом, частично с перекрестными Рифмами, и подписался бы: «ваш смиреннейший и преданнейший подданный» и т. д. И не воображайте, что литературные занятия прекратились бы; в те времена, когда не было газет, весь Париж мог неделю увлекаться одним четверостишием и полгода — театральной премьерой.

Правда, при этом публика лишалась анонсов и восхвалений по тридцать су за строчку, а известность бывала не столь скорой и не столь оглушительной. Но я изобрел превосходное средство найти замену анонсам. Если мой всемилостивый монарх еще до поступления в продажу этого славного романа отменит газеты, я наверняка сам прибегну к этому средству и жду, что оно меня озолотит. Когда наступит оный день, по городу проедут двадцать четыре конных глашатая в ливреях издателя и с его адресом на груди и спине; в руках у них будут стяги с заглавием романа, вышитым на обеих сторонах; впереди каждого будут шествовать барабанщик и литаврщик; останавливаясь на площадях и перекрестках, они будут выкрикивать громко и отчетливо: «Сегодня — а не вчера и не завтра! — поступает в продажу восхитительный, неподражаемый, божественный и более чем божественный роман знаменитого Теофиля Готье «Мадемуазель де Мопен», коего вот уже год и даже дольше с таким нетерпением ожидают не только Европа, но и другие части света, а также Полинезия. Он продается по пятьсот экземпляров в минуту и переиздания следуют одно за другим каждые полчаса; сейчас вышло в свет девятнадцатое. У дверей магазина выставлен пикет муниципальной гвардии, сдерживающий толпу и пресекающий любые беспорядки...» Наверняка это будет ничем не хуже трехстрочного объявления в «Деба» и «Курье Франсе» между эластичными поясами, плоеными воротниками, детскими рожками с особо прочными сосками, пастой Реньо и снадобьями от зубной боли.

Май 1834 года

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ты сетуешь, милый друг, что письма мои редки. Что же ты хочешь из них узнать? Что я здоров и по-прежнему нежно к тебе привязан? Ты это и сам прекрасно знаешь; к тому же и то и другое настолько естественно в моем возрасте и при твоих бесспорных достоинствах, что, пожалуй, смешно было бы посылать жалкий листок бумаги за сотню лье ради того, чтобы сказать только это. Сколько я ни стараюсь, не нахожу ничего, о чем стоило бы тебе поведать; жизнь моя так бесцветна, что дальше некуда, и ничто не нарушает ее однообразия. Нынешний день ведет за собой завтрашний, как вчерашний привел нынешний, и, нимало не рисуясь своим пророческим даром, я утром дерзко берусь предсказать, что со мной будет вечером.

Вот распорядок моего дня: встаю, это само собой разумеется, и с этого начинается весь день; завтракаю, фехтую, ухожу из дому, возвращаюсь, обедаю, наношу несколько визитов или что-нибудь читаю; потом ложусь в постель, точь-в-точь как делал это вчера; засыпаю, и мое воображение, не разгоряченное никакими новостями, внушает мне истрепанные, приевшиеся до тошноты сновидения, столь же однообразные, сколь жизнь наяву: как видишь, все это не слишком-то занимательно. И все-таки я уже лучше приспособился к такому существованию, чем полгода тому назад. Я, правда, скучаю, но в скуке моей стало больше покоя и смирения, в чей даже появилось нечто сладостное: я с удовольствием сравнил бы ее с теми туманными и теплыми осенними деньками, в которых находишь тайное очарование после безудержного летнего зноя.

Но это существование, с которым я, казалось бы, примирился, все же совершенно мне не подходит; во всяком случае, оно слишком отдаленно похоже на то, о чем я мечтаю и к чему чувствую склонность. Быть может, я заблуждаюсь, и на самом деле именно для такого образа жизни я родился на свет, но мне трудно в это поверить: если бы такова была моя судьба, мне жилось бы привольнее, и я не ушибался бы то и дело об острые углы, да притом так больно.

Ты знаешь, с какой властной силой манят меня загадочные приключения, как я обожаю все странное, чрезмерное, смертельно опасное и с какой жадностью глотаю романы и описания путешествий; быть может, нет на земле более безумной, более безудержной фантазии, чем моя; так вот, не знаю уж, почему судьба так распорядилась, но только у меня никогда не было приключений, и я никогда не пускался в дальние странствия. Мое кругосветное путешествие — это прогулка по городу, в котором я живу; со всех сторон я задеваю за горизонт; я толкаю локтями действительность. Моя жизнь — жизнь устрицы на песчаной отмели, плюща, обвившего дерево, сверчка на печи. Право, я удивлен, почему ноги мои до сих пор не пустили корней.

Любовь рисуют с повязкой на глазах; на самом деле так следовало бы изображать Судьбу.

Слуга у меня — неповоротливый и туповатый мужлан, но его изрядно помотало по свету, и где он только не побывал, куда его не заносило; он воочию видел то, что я в своем воображении расцвечиваю столь яркими красками, но не придает этому никакого значения; он попадал в самые невероятные переделки; он пережил самые удивительные приключения, какие только бывают на свете. Иногда я его расспрашиваю и бешусь при мысли, что все эти события выпали на долю дурака, не способного ни мыслить, ни чувствовать и умеющего делать лишь то, что он делает: чистить фраки да сапоги.

Судьба этого бездельника явно предназначалась мне. А он считает меня счастливым человеком и диву дается, почему я так печален.

Все это не слишком занимательно, мой бедный друг, и не стоит того, чтобы быть изложенным на бумаге, не правда ли? Но раз уж ты решительно требуешь, чтобы я писал, приходится мне рассказывать тебе, о чем я думаю, что чувствую, и за неимением событий и поступков составлять для тебя отчет о посещающих меня мыслях. Возможно, во всем, что я сумею тебе поведать, не будет ни особой связности, ни особой новизны, но вини в этом только себя. Ты сам того хотел.

Мы с тобой друзья с детства, нас воспитывали вместе; жизни наши издавна переплелись, и мы привыкли верить друг другу самые потаенные мысли. Потому-то я могу, не краснея, делиться с тобой всеми глупостями, которые посещают мой праздный ум; я не добавлю и не вычеркну ни единого слова: в беседе с тобой я отбрасываю самолюбие. Кроме того, я ни в чем не погрешу против истины — даже в самых незначительных и постыдных подробностях; уж перед то-бой-то я прихорашиваться не стану.

Под саваном тоскливого изнеможения и равнодушия, о которых я тебе сейчас толковал, подчас шевелится некая мысль, не мертвая, а скорее оцепенелая, и я не всегда пребываю в сладостном и печальном покое, даруемом меланхолией. Приступы бывшего недуга вновь посещают меня, и я вновь впадаю в прежнее беспокойство. Эти беспричинные бури и бесцельные порывы изнурительнее всего на свете. Последние дни я, хоть, как всегда, и не занят никакими делами, однако встаю очень рано, до рассвета: мне все чудится, что я должен спешить и что мне никак не достанет времени на все, что нужно; одеваюсь я второпях, словно дом горит; натягиваю на себя первую попавшуюся одежду и горюю о каждой потерянной минуте. Если бы кто-нибудь меня видел, то решил бы, что я отправляюсь на любовное свидание или за Деньгами. Ничего подобного. Я сам не знаю, куда пойду, но чувствую, что должен идти, а если останусь дома — я погиб. Мне чудится, что меня зовут с улицы, что судьба моя в эту самую секунду проходит мимо и главный вопрос моей жизни вот-вот разрешится.

Я спускаюсь, растерянный и смятенный; платье мое в беспорядке, волосы всклокочены; люди при виде меня оборачиваются и смеются; они принимают меня за юного повесу, который провел ночь в таверне или в ином злачном месте! Я и в самом деле пьян, хоть не пил ни капли, и даже походкой напоминаю пьяницу: то плетусь, то почти бегу. Я слоняюсь по улицам, как пес, потерявший хозяина, рыскаю тут и там, меня снедает постоянная тревога, я все время настороже, оборачиваюсь на малейший шум, проталкиваюсь сквозь всякую толпу, не придавая значения грубым отповедям тех кого задеваю, и гляжу вокруг так остро, как обыкновенно у меня не бывает. Потом внезапно мне делается ясно, что я ошибся: это не здесь, надо идти дальше, на другой конец города, понятия не имею куда. И я бросаюсь прочь, словно черт наступает мне на пятки. Я лечу, почти не касаясь земли! и вешу не больше унции. Наверно, я в самом деле выгляжу чудачком: лицо искажено заботой и гневом, руки жестикулируют, с губ срываются бессвязные восклицания. Глядя на себя со стороны, я готов расхохотаться себе в лицо, но уверяю тебя, это не мешает мне при первом удобном случае вновь приняться за старое.

Если бы меня спросили, почему я так бегу, я б наверняка весьма затруднился бы ответить. Нельзя сказать, что я спешу добраться до места: ведь я никуда не направляюсь. И не то что я боюсь опоздать: ведь я не слежу за временем. Никто меня не ждет, и у меня нет никаких причин для спешки.

Быть может, я безотчетно, подгоняемый смутным инстинктом, ищу предмет, достойный любви, приключение, женщину, удачу, что-то такое, чего недостает мне в жизни? Быть может, мое существование жаждет полноты? Быть может, меня гонит желание вырваться из своих четырех стен, из своего «я», и мой удел наскучил мне, и я томлюсь по чему-то другому? Пожалуй, одно из этих объяснений придется впору, а то и все они вместе. Так

или иначе, состояние мое весьма тягостно: это судорожное возбуждение, которое обычно сменяется полнейшим упадком сил.

Мне часто мерещится, что, выйди я на час раньше или шагай быстрее, я поспел бы вовремя; что, пока я спешил по вот этой улице, на соседней промелькнуло то, что я ишу, если бы не затор среди экипажей, я бы не упустил то, за чем гоняюсь наудачу уже столько времени. Ты не можешь вообразить, в какое великое уныние и в какое глубокое отчаяние я впадаю, когда вижу, что все мои усилия ни к чему не ведут, что молодость моя проходит, а никакие новые дали передо мной не открываются; тогда все мои беспредметные страсти глухо ропщут у меня в груди и, не находя другой пищи, пожирают одна другую, как хищники в зверинце, которых сторож забыл покормить. Вопреки подспудным, глухим разочарованиям, вседневно меня настигающим, я чувствую, что какая-то частица моего существа сопротивляется и не желает умирать. Надежды у меня нет: чтобы надеяться, нужно чего-то хотеть, нужно решительно и страстно желать, чтобы произошло именно то, а не это. Я ничего не желаю, потому что желаю всего на свете. Я ни на что не надеюсь, вернее, я уже перестал надеяться — это слишком глупо, и мне глубоко безразлично, так или этак обернется дело. Я жду... Чего? Не знаю, но жду.

Такое трепетное, нетерпеливое ожидание, исполненное потрясений и нервной дрожи, знакомо любовнику, ждущему женщину... Но ничто не происходит, и я впадаю в ярость или раздражаюсь слезами. Я жду, что небо разверзнется и ко мне слетит ангел, который принесет мне откровение; что грянет революция и меня возведут на трон; что мадонна Рафаэля сойдет с холста и меня обнимет; что родственники, которых у меня нет, умрут и оставят мне такое наследство, от которого фантазия моя поплыла бы вдаль по золотым рекам; что меня подхватит гиппогриф и унесет в неведомые края... Но каковы бы ни были мои ожидания, в них, разумеется, нет ничего обыденного, ничего привычного.

Доходит до того, что, вернувшись к себе домой, я никогда не забываю спросить: «Никто не приходил? Нет ли мне писем? Или каких-нибудь новостей?» Я прекрасно знаю, что ничего этого нет и быть не может. Но все равно: я каждый Раз бываю безмерно удивлен и разочарован, когда слышу обычный ответ: «Нет, сударь, совершенно ничего».

Время от времени, правда, это бывает редко, мечты мои приобретают большую определенность. Я надеюсь увидеть прелестную женщину; я не знаю ее, и она меня не знает; мы повстречаемся с ней в театре или в церкви, и она нисколько не будет меня опасаться. И я оббегаю весь дом, отворяю все двери и — пускай это кажется безумием, в котором я почти не смею признаться, — я надеюсь, что она пришла, что она уже здесь. Не то чтобы я был настолько самонадеян. Самонадеянности во мне так мало, что я часто узнавал от людей о нежном чувстве, которое питает ко мне та или иная дама, в то время как сам я полагал, что она ко мне совершенно равнодушна и не обращает на меня никакого внимания. Дело совсем в другом.

Когда я не оглушен тоской и разочарованием, душа моя пробуждается и обретает былую пылкость. Я надеюсь, я люблю, я желаю, и желания мои так неистовы, что мне кажется, будто они вот-вот притянут к себе все, что мне угодно, подобно сверхмощному магниту, привлекающему к себе кусочки железа, как бы далеко они ни находились. Вот почему я жду всего, что мне желанно, вместо того чтобы пуститься на поиски, и нередко пренебрегаю самыми благоприятными возможностями, которые открываются передо мной. Другой на моем месте написал бы кумиру своего сердца страстное любовное письмо или постарался сблизиться с нею. А я спрашиваю у гонца ответ на письмо, которого не писал, и трачу время на то, что в мыслях выстраиваю самые чудесные обстоятельства, которые помогли бы мне предстать перед любимой женщиной в наиболее неожиданном и благоприятном свете. Изю всех стратагем, которые я изобретаю, чтобы приблизиться к ней и открыть свою страсть, можно было бы составить том толще и

занимательней, чем «Стратегемы» Полибия. А между тем мне довольно было бы сказать кому-нибудь из друзей: «Представьте меня госпоже такой-то», — и заготовить комплимент из области мифологии, проникнутый подобающим восхищением.

Тот, кто услышит все это, сочтет, что меня следует запереть в сумасшедший дом; однако же я — вполне рассудительный малый и натворил не так уж много безумств. Все это происходит в подвалах моей души, и все эти нелепые бредни заботливо погребены на самом дне моего существа; снаружи ничего не видать, и я пользуюсь репутацией холодного и уравновешенного молодого человека, не слишком чувствительного к женским чарам и равнодушного к утехам юности; все это так же далеко от истины, как большинство суждений, распространенных в свете.

Несмотря на то, что столь многое мне докучает, некоторые мои желания все же сбылись, и осуществление их принесло мне так мало радости, что я теперь боюсь исполнения остальных. Ты помнишь, с каким ребяческим пылом я желал иметь свою лошадь; совсем недавно я получил ее в подарок от матери: она вороная, цвета черного дерева, на лбу белая звездочка, хвост и грива пышные, шерсть лоснится, ноги тонкие — все, как я хотел. Когда мне ее привели, я задрожал словно от озноба; добрую четверть часа я не мог стряхнуть оцепенения и прийти в себя; потом вскочил в седло и, не проронив ни слова, пустил ее в галоп; более часа я скакал по полям, куда глаза глядят, охваченный неизъяснимым восторгом; эти прогулки продолжались неделю, и, право, не знаю, каким чудом я не загнал животное насмерть и даже не запалил. Мало-помалу моя неистовая страсть улеглась. Теперь я пускал лошадь рысцой, потом шагом, а затем привык сидеть в седле с таким безразличием, что часто она останавливается, а я и не замечаю: наслаждение превратилось в привычку, причем куда быстрее, чем я полагал. А между тем Феррагус — так я назвал моего скакуна — очаровательнейшее создание на свете. Пучки шерсти у него на ногах — словно орлиный пух; он проворен, как коза, и ласков, как ягненок. Когда приедешь, тебе доставит огромное наслаждение на нем скакать; и хотя моя неистовая любовь к верховой езде изрядно поутихла, я по-прежнему очень к нему привязан, потому что характер у него прекрасный, воистину лошадиный, и искренне предпочту его многим людям. Слышал бы ты, как радостно он ржет, когда я заглядываю к нему в конюшню, и видел бы ты, какими умными глазами он на меня смотрит! Признаться, эти знаки до того меня трогают, что я обнимаю его за шею и целую так нежно, право слово, будто передо мной красивая девушка.

Было у меня и другое желание, еще острее, еще горячее; оно пробуждалось во мне все чаще и было мне особенно дорого; для него я возвел в душе изумительный карточный домик, призрачный дворец, который часто рушился, но с безнадежным упорством вновь восставал из руин; мне хотелось, чтобы у меня была возлюбленная и чтобы она принадлежала мне одному, как Феррагус. Если эта мечта исполнится, не охладее ли я к ней так же скоро, как и к той? Не знаю, но, по-моему, нет. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и она тоже утомит меня спустя немного дней? По природе своей я если уж чего-нибудь желаю, то с такой лихорадочной силой, — не делая, впрочем, ни малейшей попытки добиться желаемого, — что, если случайно или по какой-либо другой причине желание мое исполняется, мною овладевает такое духовное изнеможение, такой упадок сил, что я от слабости не в состоянии насладиться тем, о чем так мечтал; зато если мне выпадает какая-нибудь удача, о которой я вовсе и не думал, я получаю от нее обычно больше наслаждения, чем от самых возжеланных радостей.

Мне двадцать два года, я уже не девственник. Увы! В наше время никто в этом возрасте не сохраняет невинности, ни телесной, ни сердечной, что куда хуже. Кроме тех особ, что ублажают за деньги и значат для нас не более чем сладострастное сновидение, случалось мне подчас в темном уголке переведаться с кое-какими порядочными, или почти

порядочными, женщинами, ни красотками, ни дурнушками, ни молодыми, ни старыми — какие достаются на долю молодым людям без постоянной привязанности и с незанятым сердцем. Немного доброй воли вместе с изрядной дозой романтических иллюзий позволяют молодым людям, если им угодно, называть таких женщин любовницами. Для меня это невозможно, и будь у меня даже тысяча подобных связей, я все равно не буду считать, что желание мое хоть отчасти исполнилось.

Итак, у меня еще не было любовницы, и больше всего в жизни я хочу, чтобы она у меня появилась. Эта мысль невероятно меня одолевает; и дело тут не в пылкости моего темперамента, не в кипении, я ведь не в первом расцвете мужественности. Я не просто хочу женщину, я хочу женщину-возлюбленную, хочу — и добьюсь своего, причем очень скоро; если я потерплю неудачу, то — признаюсь тебе — она меня доконает, и я уже никогда не оправлюсь от потаенной робости, от глухого разочарования, которое наложит тягостный отпечаток на остаток моей жизни. Я буду тогда считать себя в некотором смысле неудачником, человеком раздерганным и не таким, как другие, нескладным духовно и телесно: ведь, в сущности, я прошу того, что по праву положено каждому мужчине; это воля самой природы. Пока я не достигну своей цели, я сам буду казаться себе ребенком и не обрету веры в себя, которая мне так нужна. Любовница для меня то же, что для юного римлянина — тога, одеяние зрелого мужа.

Я вижу столько мужчин, во всех отношениях низких, но властвующих над прекрасными женщинами, у которых они едва достойны быть лакеями, что лицо мне заливает краска стыда за них и за меня. Что хорошего могу я думать о женщинах, видя, как они упорно цепляются за мужланов, которые их презирают и обманывают, вместо того чтобы предаться какому-нибудь честному, искреннему юноше, который почитал бы себя счастливым и коленопреклоненно обожал бы свою возлюбленную, — да взять хоть меня, к примеру. Правда, те ничтожества толкуются в гостинных, распускают хвосты перед каждой знаменитостью и вечно наваливаются грудью на спинку чьего-нибудь кресла, а я отсиживаюсь дома, прижавшись лбом к стеклу, смотрю, как от реки поднимается дымка, как клубится туман, и молча возвожу в душе благовонное святилище, изумительный храм, в котором собираюсь поселить будущего кумира моего сердца... В этом целомудренном и поэтическом занятии женщины не усматривают ничего похвального.

Женщины недолюбливают созерцателей и безмерно ценят тех, кто претворяет свои мысли в действия. В сущности, женщины не так уж не правы. Поскольку воспитанием и положением в обществе они обречены молчать и ждать, то, естественно, они предпочитают тех, кто подходит к ним, заговаривает с ними, вызволяет их из неловкого и скучного положения; я все это чувствую; но никогда в жизни не отважусь последовать примеру многих и многих, — встать с места, пройти через всю гостиную и ни с того ни с сего сказать какой-нибудь женщине: «Это платье божественно вам идет», или: «Нынче вечером глаза у вас блестят как-то по-особенному».

И все-таки мне совершенно необходима любовница. Не имею понятия, кто это будет, но среди знакомых женщин не вижу ни одной, которая достойным образом могла бы исполнить это высокое предназначение. Я почти не нахожу в них тех достоинств, которые мне нужны. Те, что достаточно молоды, недостаточно хороши собой или наделены скверным характером, молодые и прелестные отталкивают своей душевной низостью или начисто лишены непринужденности; и потом, рядом вечно крутится какой-нибудь муж, брат, или какая-нибудь мамаша, или уж не знаю кто, и смотрит во все глаза, и слушает во все уши, и надо этого соглядатая либо умасливать, либо вышвыривать в окно. На всякой розе водится тля, а у всякой женщины куча родственников, которых приходится тщательно обирать с нее, как насекомых, если желаешь в один прекрасный день сорвать плод ее красоты. Все, вплоть до троюродных племянников из провинции, которых вы в

глаза не видели, жаждут блюсти во всей непорочности безукоризненную репутацию обожаемой кухни. Это отвратительно, и у меня никогда не хватало терпения выпалывать все сорняки и уничтожать все колючки, безнадежно преграждающие подступы к хорошенькой женщине.

Я не слишком люблю маменек, а младших сестер люблю еще меньше. Кроме того, должен признаться, замужние женщины почти вовсе меня не привлекают. С ними всегда связана какая-то неловкость, какая-то подтасовка, и это меня возмущает: делить любимую с другим человеком для меня невыносимо. Женщина, у которой есть муж и любовник, ведет себя как проститутка по отношению к одному из них, а то и к обоим; но главное, я бы не мог добровольно уступить место другому. Врожденная моя гордость ни за что не согласилась бы на подобное унижение. Я никогда не уйду из-за того, что должен прийти другой. Пускай погибает женщина и рушится ее репутация, пускай придется драться с соперником на ножах с лезвиями в фут длиной — я останусь. Потайные лестницы, шкафы, чуланы, весь реквизит супружеских измен — эти жалкие уловки мне не годятся.

Меня мало прельщает так называемая девственная чистота, юная невинность, душевная непорочность и прочее в том же духе, что так прекрасно выглядит в стихах; я зову это попросту глупостью, тупостью, невежеством или ханжеством. Эта девственная чистота, состоящая в том, чтобы садиться на краешек кресла, прижимать руки к телу, не поднимать глаз и не раскрывать рта, пока не позволят бабушка и дедушка; эта невинность, присвоившая себе монополию на гладкие волосы и белые платья; эта душевная непорочность, затянута в глухой корсаж, потому что еще не может похвастать плечами и грудью, право же, не слишком меня соблазняют.

Меня очень мало привлекает возможность обучать азбуке любви маленьких дурочек. Не так я стар и не так развратен, чтобы находить в этом удовольствие: впрочем, я бы навряд ли преуспел в этом; я вообще никого ничему не умею учить, даже тому, что сам прекрасно знаю. Предпочитаю женщин, которые читают бегло: с ними быстрее добираться до конца главы, а во всяком деле, и в любви тем более, надобно всегда иметь в виду конец. В этом смысле я схож с теми, кто начинает читать роман с последней страницы и первым делом проглатывает развязку, а потом уже обращается к первой странице.

Такая манера читать и любить не лишена привлекательности. Когда не волнуешься за исход дела, больше смакуешь подробности, а перестановка эпизодов влечет за собой неожиданности.

Значит, юных девиц и замужних дам заранее приходится исключить. Выходит, придется поискать себе кумира среди вдовушек. Увы, хоть это единственный выход из положения, боюсь, что среди вдов мы опять-таки не найдем того, что нам нужно.

Если бы я дошел до того, что влюбился в один из этих бледных нарциссов, омытых тепловатой росой слез и с меланхолической грацией склоняющихся на новехонькую мраморную плиту благополучно почившего мужа, то совершенно уверен, что спустя немного времени мне пришлось бы так же худо, как было при жизни покойному супругу. Какими бы юными и прелестными ни казались вдовы, есть у них одно ужасное свойство, коего лишены прочие женщины: стоит не угодить им самую малость, стоит промелькнуть малейшему облачку на небосклоне любви, они тут же объявляют с гримаской презрительного превосходства: «Фу, какой вы сегодня неприятный! Точь-в-точь как господин такой-то: когда мы ссорились, он всегда говорил мне слово в слово то же самое; удивительно, у вас даже голос такой же и смотрите вы так же. Когда вы в дурном расположении духа, не поверите, до чего вы похожи на моего покойного мужа: прямо страшно становится». Очень приятно, когда вам говорят такое прямо в лицо! А некоторые из них до того неосторожны, что начинают петь усопшему хвалы, которые в пору было бы

высечь на могильной плите, и превозносить его сердце и ноги в ущерб вашим ногам и вашему сердцу. Когда водишься с женщинами, имеющими только любовника или любовников, в них, по крайней мере, находишь то бесспорное преимущество, что они никогда не станут вам толковать о вашем предшественнике, а это отнюдь не пустячное обстоятельство. Женщины слишком привержены приличиям и слишком чтут законные узы, чтобы дать себе труд воздержаться от воспоминаний, и все эти вздохи очень скоро входят в обыкновение и получают силу закона. С любовниками иначе: всегда подразумевается, что вы у вашей возлюбленной первый.

По-моему, отвращение мое так прочно обосновано, что едва ли его можно всерьез оспорить. Не то чтобы я вообще не признавал за вдовами никаких достоинств, если они молоды, хороши собой и еще не сняли траура. Этот томный вид, манера безвольно ронять руки, склонять голову, пыжиться наподобие голубки, лишившейся голубка; тысяча жеманных ужимок, слегка прикрытых прозрачным крепом; отчаяние, в котором столь явно сквозит кокетство; так умело отмеренные вздохи; слезы, набегающие так вовремя и сообщающие глазам такой блеск! Безусловно, самый любимый мой напиток после вина — прекрасная, прозрачная и светлая слеза, трепещущая на черной или золотистой реснице. Попробуйте перед этим устоять! Устоять невозможно. И потом, женщинам до того к лицу черный цвет! Не говоря уж о поэзии, где белая кожа легко превращается в слоновую кость, в снег, в молоко, в алебастр и во все самое светлое и чистое, к чему только прибегают сочинители мадригалов; прохладная, свежая, она бывает оживлена лишь единственной родинкой, исполненной задора и пылкости. Траур для женщины — огромная удача, и я никогда не женюсь именно из опасений, как бы жена не вздумала от меня избавиться ради того, чтобы надеть траур. Однако же некоторые женщины не умеют извлекать выгоды из своего горя: когда они плачут, у них краснеет нос, а лицо перекашивается, как у тех каменных масок, коими украшают источники, — это большой изъян. Чтобы плакать с приятностью для окружающих, требуется немалое искусство и обаяние; иначе очень скоро не найдется охотников утешать плакальщицу. Тем не менее, как бы ни было приятно уговаривать какую-нибудь Артемизию, чтобы она изменила тени своего Мавсола, я решительно не желаю избирать ту, которой предложу свое сердце взамен ее собственного, в толпе плакальщиц.

Здесь слышу твой голос: «Кого же ты избереешь? Тебе не нужны ни молоденькие, ни замужние, ни вдовушки. Мамаш ты не жалуешь, и смею предположить, что точно так же ты не жалуешь бабушек. Чего же тебе надо, черт возьми?» Вот в том-то и дело, если бы я знал разгадку этой шарады, то так бы не мучился. До сих пор я не любил ни одной женщины. Но я любил и люблю любовь. Да, у меня не было возлюбленных, а женщины, с которыми я имел дело, возбуждали во мне только желание; но я испытал и знаю само чувство любви: не то чтобы я любил ту или эту больше или меньше; я люблю женщину, которую никогда не видел, но она должна где-то быть на свете, и, если Богу будет угодно, я найду, я хорошо представляю себе, какая она, и узнаю, как только встречу.

Я часто воображал себе, где она живет, как одевается, какие у нее глаза, волосы. Я слышу ее голос; я узнаю ее походку среди тысяч других, и, если при мне случайно произнесут ее имя, я обернусь; не может быть, чтобы ее звали как-то по-другому, а не одним из тех пяти-шести имен, которые я мысленно ей присвоил.

Ей двадцать шесть лет, не больше и не меньше. Она уже многое знает, но еще не пресыщена. Это самый лучший возраст для настоящей любви, свободной и от ребячливости, и от распутства. Она среднего роста. Не люблю ни карлиц, ни великанш! Я хочу, чтобы у меня достало сил самому перенести мою богиню с софы на постель, но мне не хотелось бы долго ее искать среди подушек и простыней. Желаю, чтобы мне удобно было ее поцеловать, если она слегка привстанет на цыпочки. Это наилучший рост. Что до

фигуры, пускай будет скорее полная, чем худая. В этом смысле я отчасти турок и мне вовсе не улыбается наткнуться на кость там, где я надеялся обрести округлость; кожа у женщины должна быть тугая, плоть крепкая и упругая, как мякоть недозрелого персика: вот такова из себя моя будущая возлюбленная. Волосы у нее белокурые, глаза — черные, она бледна, как блондинки и румяна, как брюнетки, а улыбка у нее алая, искрящаяся. Нижняя губа немного припухлая, глаза подернуты глубокой влагой, грудь округлая, маленькая и тугая; запястья тонкие, руки длинные и округлые; все тело находится в непрестанном волнообразном движении, словно уж, вставший на хвост; бедра пышные и подвижные; плечи широкие; затылок покрыт пушком; в этом типе красоты сочетаются изысканность и сила, элегантность и задор, поэзия и приземленность: это замысел Джорджоне, воплощенный Рубенсом.

Вот ее наряд: на ней бархатное платье, алое или черное со вставками из белого атласа или серебряной парчи; корсаж большим вырезом; огромный гофрированный воротник а la Медичи; фетровая шляпа вычурной формы, как на Елене Систерман, с длинными белыми перьями, пышными и завитыми; на шее — золотая цепочка или бриллиантовое ожерелье, а пальцы сплошь унизаны массивными перстнями с эмалями.

Я не прошу ей отсутствия хотя бы единого кольца или браслета. Платье на ней должно быть именно бархатное; в самом худшем случае я, так и быть, позволю ей опуститься до атласного. Мне больше нравится комкать шелковую нижнюю юбку, чем полотняную, и ненароком ронять с волос красавицы жемчуг или перья, а не живые цветы или обыкновенный бант; знаю, что изнанка полотняной юбки порой бывает, по меньшей мере, столь же соблазнительна, что и шелковой, но мне больше по вкусу шелк. Да, в мечтах я перепробовал на роль моей возлюбленной немало и королев, и императриц, и принцесс, и султанш, и знаменитых куртизанок, но никогда не доверял ее ни мещанкам, ни пастушкам; и в самых своих мимолетных мечтах никогда ни с кем не грешил ни на травке, ни на простынях из омальской саржи. По-моему, красота — это бриллиант, который следует огранить и оправить в золото. Не представляю себе красавицы, у которой не было бы кареты, лошадей, лакеев и всего, что подразумевается ста тысячами франков ренты: красоте подобает богатство. Одно требует другого: хорошенькая ножка — хорошенькой туфельки, туфелька — ковра и экипажа, и так далее. Красивая женщина в бедном платье, в убогом жилище — это, по-моему, самое тягостное зрелище на свете, и я бы не мог ее полюбить. Только богатые и красивые имеют право влюбляться, не опасаясь выставить себя в смешном и жалком свете. В этом смысле очень немногие люди могут позволить себе роскошь влюбиться; я первый оказываюсь исключением из их числа — и все-таки таково мое мнение.

В первый раз мы встретимся с нею прекрасным вечером, На закате; небо будет играть теми же желто-оранжевыми красками, переходящими в лимонные и бледно-зеленые тона, какие мы видим на некоторых картинах великих мастеров прошлого; я окажусь в широкой аллее, окаймленной цветущими каштанами и вековыми вязами, дающими кров диким голубям: эти прекрасные деревья будут покрыты густой и свежей листвой, образующей таинственную влажную сень; в зелени тут и там будут белеть то статуя, то мраморная сверкающая ваза; подчас блеснет пруд, в котором привычно снует лебедь, а в глубине парка — замок из кирпича и камня, как строили во времена Генриха IV, — с островерхой черепичной крышей, с высокими трубами, с флюгерами на коньках, с узкими и высокими окнами. У одного из этих окон, печально облокотясь на решетчатые перила, в одеянии, которое я тебе только что описал, будет сидеть царица моей души; за ее спиной — негритьенок, держащий веер и попугайчика. Как видишь, я ничего не упустил — и все это совершеннейшая бессмыслица. Прекрасная дама роняет с руки перчатку, я поднимаю ее и, запечатлев на ней поцелуй, возвращаю владелице. Завязывается беседа; я обнаруживаю» то остроумие, коего начисто лишен; произношу очаровательные фразы; мне возражают, я

подхватываю нить — этот фейерверк, это блистательный вихрь остроумия. Словом, я показываю, что достоин восхищения, — и удостаиваюсь восхищения. Близится время ужина, меня приглашают, я принимаю приглашение. Друг мой, какой ужин и что за прекрасный повар — мое воображение! В хрустале играет вино, в тарелке, украшенной гербом, дымится золотистый нежный фазан; пиршество затягивается далеко за полночь, и, как догадался, эту ночь я провожу не дома. Ну, недурно придумано? А ведь ничего нет проще, и странно только, что все это не приключилось со мной уже десятки раз, а не то что один.

А иногда все происходит в чаще леса. Мимо пролей охота; поет рожок, собачья свора захлебывается лаем и с быстротой молнии пересекает дорогу; на турецком скакуне, белом, как молоко, необыкновенно горячем и резвом, скачет красавица в амазонке. Она превосходная наездница, но конь фыркает, приплясывает, встает на дыбы, и она отчаянно пытается его удержать; он закусил удила и несет ее прямо к пропасти. И тут я, как по заказу, падаю с неба, останавливаю коня, подхватываю на руки принцессу, она — в обмороке, помогаю ей прийти в себя и доставляю в замок. Неужели высокородная дама оттолкнет человека, рискнувшего ради нее жизнью? Да никогда! А благодарность — это одна из окольных тропинок, ведущих к любви.

Согласись, по крайней мере, что если я и впадаю в романтизм, то лишь наполовину, и что безумен я ровно настолько, насколько это возможно. Вечно со мной та же история: нет на свете ничего более унылого, чем рассудительное безумство. Согласись также, что письма, которые я пишу, напоминают скорее пухлые тома, чем обычные послания. Мне всегда милее то, что выходит из предуказанных границ. Потому-то я тебя и люблю. Не слишком потешайся над всеми глупостями, которые я на тебя обрушил: я откладываю перо и перехожу к действиям, потому что вновь и вновь возвращаюсь к одному и тому же рефрену: я хочу, чтобы у меня была возлюбленная. Не знаю, будет ли это дама, которую я видел в парке, или красавица на балконе, но прощаюсь с тобой, чтобы устремиться на поиски. Я решился. Даже если та, которую я ищу, прячется в глубине Поднебесной империи или Самаркандского царства, я вызволю ее оттуда! Сообщи тебе об успехе моей затеи или об ее крахе. Надеюсь на успех: помолись за меня, бесценный друг. Ну, а я наряжусь в лучший мой фрак и выйду из дому с твердым намерением возвратиться не иначе как с возлюбленной, которую себе выдумал. Довольно мечтаний — пора действовать.

P. S. Сообщи мне, что слышно о юном Д**, что с ним случилось? Здесь никто о нем не знает. И передай от меня поклоны твоему почтенному брату и всем родным.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Что ж, друг мой, я вернулся домой, не посетив ни Поднебесной, ни Кашмира, ни Самарканда; но справедливость требует признать, что возлюбленной у меня как не было, так и нет. А между тем я сам себя брал за руку и клялся самой страшной клятвой, что пойду хоть на край света, — и что же? Я не побывал даже на краю города. Не знаю, как мне это удаётся, но я никогда не исполняю обещанного, даже если обещал сам себе; вероятно, тут не обходится без нечистой силы. Стоит мне сказать: «Завтра я туда пойду», — и можно не сомневаться, что я весь день просижу дома; если я решил сходить в кабак — отправляюсь в церковь; если собрался в церковь — дорога так и петляет у меня под ногами, путаясь, как моток ниток, пока не приведет меня в совершенно другое место. Я

принимаюсь поститься, как только затею оргию, и так далее. Кстати, думаю, что найти себе возлюбленную мне мешает именно то, что я твердо это решил.

Надобно мне во всех подробностях описать тебе мою экспедицию: она достойна того, чтобы о ней рассказывать. В тот день я добрых два часа уделил туалету. Я велел себя причесать и завить, взбить и умастить ту чахлую поросль, что зовется у меня усами, а когда обычная бледность немного оживилась краской охватившего меня желания, оказалось, что я вовсе недурен собой. Наконец, тщательно осмотрев себя в зеркалах при различном освещении, чтобы убедиться, что я в самом деле хорош и на лице у меня светится достаточно любезности, я решительно вышел из дому с высоко поднятой головой, вздернутым подбородком, взглядом, устремленным вперед, подбоченясь, цокая каблуками, как бравый сержант, толкая обывателей и храня безукоризненно победоносный и торжествующий вид.

Я чувствовал себя новым Ясоном, пустившимся на поиски золотого руна. Но, увы! Ясону посчастливилось более, чем мне: мало того, что он захватил руно, он еще и добыл прекрасную царевну, а у меня нет ни царевны, ни руна.

Итак, я шел по улицам, разглядывая всех женщин, и когда какая-нибудь казалась мне достойной пристального осмотра, мчался за нею и глазел в упор. В ответ одни из них напускали на себя величавую неприступность и проходили мимо, не поднимая глаз. Другие сначала недоумевали, а потом и улыбались, если у них были красивые зубы. Некоторые оборачивались чуть погодя, когда думали, что я уже на них не смотрю, — им хотелось меня разглядеть, и они краснели, как вишни, встретившись со мною глазами. Погода стояла прекрасная; на улицах было полно гуляющих. Между прочим, вопреки влечению, каковое я питаю к наиболее интересной половине человечества, я вынужден признать, что пол, который принято называть прекрасным, на самом деле чудовищ, но безобразен: на сотню женщин от силы одна более или менее недурна. У той растут усы, у этой — синий нос, у некоторых на месте бровей какие-то красные дуги; одна оказалась хорошо сложена, но лицо у нее было багровое. У другой было прелестное личико, но она запросто могла бы почесать себе ухо плечом; третья посрамила бы Праксителя округлостью и плавностью форм, но она семенила, переваливаясь на ножках, похожих на турецкие стремяна. Еще одна являла взорам самые роскошные плечи, какие только бывают на свете, зато руки ее формой и размером напоминали гигантские перчатки кроваво-красного цвета, что служат вывеской галантерейщикам. И потом, сколько усталости на всех лицах! Как все они измождены, испытаны, какой на них лежит подлый отпечаток мелких страстей и мелких пороков! Какое завистливое выражение, сколько недоброго любопытства, жадности, бесстыдного кокетства! И насколько, наконец, некрасивая женщина безобразней, чем некрасивый мужчина!

Я не увидел ничего хорошего — разве что нескольких гризеток, но тут пришлось бы комкать скорее полотно, чем шелк, а это занятие не для меня. Откровенно говоря, я полагаю, что человек — а под людьми я подразумеваю также женщин — самое уродливое создание на свете. Это четвероногое, которое ходит на задних лапах, представляется мне на удивление самонадеянным, когда притязает на роль венца творения. Лев или тигр куда красивее человека, а кроме того, из этих животных многие достигают полного расцвета красоты, присущей их видам. С людьми это случается крайне редко. Сколько ублюдков на одного Антиноя! Сколько замарашек на одну Филиду!

Я очень боюсь, милый друг, что никогда не приближусь к своему идеалу, а ведь в нем нет ничего необычайного или противного природе. Это не тот идеал, который лелеют школяры-третьеклассники. Я не прошу ни округлостей из слоновой кости, ни мраморных столпов, ни сети лазоревых прожилок; создавая его, я пренебрег лилиями, снегом, розой, агатом, эбеном, кораллом, амброзией, жемчугом, бриллиантами; я оставил в покое звезды

небесные и не покусился на солнце. Мой идеал почти мещанский, настолько он прост, и мне кажется, что, имея мешок-другой пиастров, я нашел бы его в готовом и завершенном виде на первом попавшемся базаре Константинополя или Смирны; вероятно, он обошелся бы мне дешевле, чем конь благородных кровей или породистый пес; и подумать только, что я не заполучу его! — а я чувствую, что не заполучу. Воистину есть от чего рассвирепеть, и во мне вскипает бешеная злоба против судьбы.

Тебе-то хорошо, ты не такой безумец, как я; ты просто живешь, не терзая себя попытками изменить свою жизнь, и принимаешь мир таким, каков он есть. Ты не искал счастья, и оно само тебя нашло; ты любишь и любим. Я тебе не завидую, поверь мне хотя бы в этом, но о твоём благоденствии я думаю с большей печалью, чем следовало бы, и со вздохом признаюсь, что и сам бы хотел благоденствовать так же, как ты.

Быть может, мое счастье прошло совсем рядом, а я, слепец, его не заметил; быть может, оно окликало меня, но моя душевная смута заглушила его голос.

Быть может, я был втайне любим каким-нибудь смиренным сердцем, но не разгадал или разбил его; быть может, я и сам был чьим-нибудь идеалом, полюсом притяжения для какой-нибудь страдающей души, предметом чьих-нибудь ночных грез и дневных дум. Опустив взгляд себе под ноги, быть может, я углядел бы какую-нибудь прекрасную Магдалину, поникшую кудрями над урной с благовониями. Я шел, воздевая руки к небу и желая ухватить ускользнувшие от меня звезды; я не снисходил до того, чтобы сорвать скромную маргаритку, раскрывшую мне среди росистой травы свое золотое сердце. Я совершил огромную ошибку: я требовал от любви того, что не имеет к ней отношения и чего она не могла мне дать. Я забыл, что Амур, бог любви, всегда нагой, я не постиг смысла этого великолепного символа. Я просил у любви бархатных платьев, перьев, бриллиантов, блистательного ума, учености, поэзии, красоты, юности, высшего могущества — всего, кроме самой любви; любовь может подарить только самое себя, а кто хочет добиться от нее другого, тот недостоин быть любимым.

Несомненно, я слишком поспешил; мой час еще не настал; Всевышний дал мне жизнь и не отберет назад, пока я ее не проживу. Зачем дарить поэту лиру без струн, человеку — жизнь без любви? Господь не может допустить такой непоследовательности, и я уверен, когда он сам того пожелает, он поместит на моем пути ту, которую мне должно полюбить и которой должно ответить мне взаимностью. Но почему любовь пришла ко мне прежде, чем возлюбленная?

Почему я страдаю от жажды, не видя источника, который мог бы ее утолить? Почему не дано мне, как птицам в пустыне, полететь в то место, где есть влага? Мир для меня — Сахара без колодцев и финиковых пальм. В моей жизни нет тенистого уголка, где бы я мог укрыться от солнца: я терплю пекло страсти, не наслаждаясь ее несказанным восторгом и упоением; я познал ее муки, но не радости. Я ревную к вымыслу, я теряюсь из-за тени, отбрасываемой тенью; я вздыхаю ни о чем; я маюсь бессонницей, но ее не улаживает обожаемый мною призрак; я проливаю слезы, но ничья рука не осушает их потока; я бросаю на ветер поцелуи, но они ко мне не возвращаются; я напрягаю зрение, тщась разглядеть вдали смутный, обманчивый силуэт; я жду того, что вовсе не должно произойти, и в тревоге считаю часы, как перед свиданием.

Кто бы ты ни была, ангел или исчадие ада, дева или куртизанка, пастушка или принцесса, дитя севера или юга, ты, незнакомая, ты, любимая, — о, не медли дольше, а не то пламя спалит алтарь, и вместо моего сердца ты найдешь только горстку стылого пепла. Низойди из сфер, где ты пребываешь, покинь хрустальные небеса, тень-утешительница, осени мою душу прохладой своих широких крыл. Приди, женщина, будущая моя возлюбленная, я заключу тебя в кольцо моих рук, так долго искавших тебя в пустоте. Золотые ворота

дворца, в котором она обитает, повернитесь на петлях; грубая щеколда ее хижины, поднимись; лесные заросли и колючий кустарник, расступитесь на ее пути; чары, хранящие ее башню, и колдовские заклятия, рассейтесь; раздайтесь, людские толпы, и позвольте ей пройти...

О, мой идеал, если ты придешь слишком поздно, у меня уже не останется сил тебя полюбить; душа моя — как голубятня, что полным-полна голубей, из нее то и дело вылетает какое-нибудь желание. Голуби возвращаются на голубятню, но желаниям нет дороги назад, в сердце. Их неисчислимая стая белой пеленой кроет небесную лазурь; они летят по воздушному океану, все дальше и дальше, в другие края, и повсюду ищут любви, которая могла бы их приютить и дать им ночлег; так поспеши же, мечта моя, а не то в опустевшем гнезде ты найдешь только скорлупу — память о разлетевшихся птенцах.

Друг мой, товарищ детских игр, рассказать об этом я могу только тебе. Напиши мне, что ты меня жалеешь, что я не кажусь тебе ипохондриком; утешь меня — я никогда еще так не нуждался в утешении; как завидна участь человека, питающего страсть, которую можно утолить! Пьяница не услышит от бутылки жестокого отказа; из кабака он угодит в канаву и на куче отбросов будет счастливее, чем король на троне. Сладострастник устремляется к куртизанкам в поисках доступных нег или бесстыдных ухищрений: нарумяненная щека, короткая юбочка, распахнутое платье, вольный разговор — вот он уже и счастлив; глаза у него загораются, губы увлажняет слюна; он достигает наивысшей степени блаженства, и животное вожделение одаряет его восторгами. Игроку довольно лишь зеленого сукна да колоды засаленных, потрепанных карт, чтобы извлечь из своей чудовищной страсти и Жгучую тревогу, и судорожное напряжение нервов, и адское Услаждение. Все они могут насытиться или отвлечься — для Меня это невозможно.

Мною настолько завладела все одна и та же мысль, что я почти охладел к искусству, и поэзия утратила для меня свое дарование; то, что меня когда-то восхищало, теперь оставляет совершенно равнодушным.

Я начинаю думать, что сам во всем виноват, что требую от природы и общества более, чем они могут дать. Того, что я ищу, нет на свете, и негоже мне сетовать на неудачу моих поисков. И все-таки, если женщины, о которой мы мечтаем, нет и не может быть в силу законов человеческой природы, — отчего же мы любим именно ее, а не другую, к которой нас, мужчин, должен был бы непреодолимо манить мужской инстинкт? Кто заронил в нас понятие об этой воображаемой женщине? Из какой глины вылепили мы эту невидимую статую? Где мы набрали перьев, которые прикрепили к спине этой химеры? Какая таинственная птица нечаянно снесла в темном уголке нашей души яйцо, из которого вылупилась наша мечта? Что это за абстрактная красота, которую мы чувствуем, но не можем назвать? Почему мы часто, видя прелестную женщину, признаем, что она хороша собой, — и все-таки она кажется нам сущей уродиной? Где тот образец, тот пример, где тот заветный эталон, который служит нам для сравнения? Ведь красота не есть абсолютное понятие, и оценить ее можно лишь по контрасту. Где мы ее видали — на небе? На звезде? На балу, в тени маменьки, подобную свежему бутону отцветшей розы? В Италии или в Испании? Здесь или там? Сегодня или давным-давно? Кто была она — окруженная поклонением куртизанка? Знаменитая примадонна? Княжеская дочь? Гордая знатная дева, чью голову венчает тяжкая диадема, усыпанная жемчугом и рубинами? Юное создание, почти дитя, выглядывающее из окошка между вьюнков и настурций? К какой школе причислить картину, запечатлевшую эту красоту, белоснежную, сияющую в окружении темных теней? Не Рафаэль ли перенес на холст восхитившие вас черты? Не Клеомен ли отполировал полюбившийся вам мрамор? В кого же вы влюблены, в Мадонну или в Диану? Кто ваш идеал — ангел, сильфида или женщина?! Увы! Всего понемножку, и вместе с тем — ни то, ни другое, ни третье.

Эта прозрачность тонов, прелестная и насыщенная блеском свежесть; эта плоть, в которой струится столько крови и столько жизни; эти прекрасные белокурые волосы, разметающиеся золотым плащом; этот искрящийся смех; эти упоительные ямочки; эти формы, колышущиеся, как пламя; эта сила; эта гибкость; этот атласный блеск; эти упругие, округлые линии; эти пухлые руки; эти плотные, гладкие спины — и все это ослепительное здоровье принадлежит Рубенсу. Насытить столь безупречный контур этими бледно-янтарными тонами удавалось Рафаэлю. Кто, кроме него, умел так изогнуть эти длинные брови, такие тонкие и такие черные, оттенить нежной бахромой эти скромные потупленные веки? Вы полагаете, что Аллегри не приложил руку к вашему идеалу? А ведь это у него владычица ваших мыслей позаимствовала матовую, теплую белизну, которая так вас пленяет. Она много времени провела перед его полотнами, разгадывая секрет этой вечно сияющей ангельской улыбки; овал своего лица она очертила по образцу, взятому у какой-нибудь нимфы или святой. Этот полный неги изгиб бедра похищен у спящей Антиопы. На эти пухлые и мягкие руки могли бы заявить права и Даная, и Магдалина. Даже пыльная античность изрядно поделилась своими запасами для сотворения вашей юной химеры: эта сильная и гибкая талия, которую вы так страстно обнимаете, была изваяна Праксителем. Эта богиня нарочно уберегла от пепла Геркуланума кончик своей очаровательной ножки, чтобы ваш идол не захромал. Природа тоже внесла свою лепту. Сквозь призму желания вы видели здесь и там то прекрасные глаза за решеткой ставня, то лоб, словно из слоновой кости, прижавшийся к стеклу, то Улыбчивые губы, мелькнувшие из-за веера. По кисти руки вы догадались о плече, по лодыжке — о колене. То, что вы видели, было совершенством; вы предположили, что остальное не хуже, и дорисовали картину с помощью черт, похищенных у других красавиц. Вам даже не хватило идеальной красоты, запечатленной художниками, и вы устремились к поэтам с просьбами о еще более плавных линиях, еще более воздушных формах, еще более небесной грации, еще более законченной изысканности; вы взмолились, чтобы они вдохнули жизнь и дар слова в ваш призрак, подарили ему всю свою любовь, всю свою мечтательность, всю свою радость и печаль, меланхолию и томность, все воспоминания и надежды, все знания и всю страсть, всю рассудительность и всю пылкость; все это вы взяли у них и, чтобы достичь пределов невозможного, добавили вашу собственную страсть, ваши рассуждения, вашу мечту и вашу мысль. Звезда поделилась своими лучами, цветок — ароматом, палитра — красками, поэт — созвучиями, мрамор — формой, а вы — вашим желанием. Да разве сможет живая женщина, как бы ни была она изящна и мила, женщина, что ест и пьет, утром встает с постели, а вечером ложится спать, разве сможет она выдержать сравнение с подобным существом! Надеяться на такое было бы неразумно, и все же кто-то надеется, ищет... Какое загадочное ослепление! Оно свидетельствует или о возвышенной душе — или о глупости. Какую жалость и какое восхищение возбуждают во мне те, что сломя голову гонятся за воплощением своей мечты и умирают счастливыми, если им удалось один раз поцеловать в губы обожаемую химеру! Но как ужасна судьба колумбов, которые так и не открыли своих материков, и любовников, которые так и не отыскивали своих возлюбленных!

Ах, будь я поэтом, я посвятил бы свои песни тем, чья жизнь не удалась, чьи стрелы не попали в цель, кто умер, не высказав того, что хотел сказать, и не пожав руки, предназначенной ему судьбой; кто зачах, не созрев; кто канул, не замеченный людьми; я посвятил бы их затоптанному пламени, не выразившему себя гению, этой неведомой жемчужине на дне морском — всем, кто любил и не был любим, кто страдал, но не нашел сострадания — это было бы благородной задачей.

О, как прав был Платон, хотевший изгнать вас из своей республики, и сколько зла вы нам причинили, о поэты! Какой горечи добавила ваша амброзия нам в абсент; и какой скудной, какой опустошенной показалась нам жизнь после; того, как наши взоры

окунулись в просторы бесконечности, которую вы нам открыли! Какую жестокую расправу учинили ваши мечты над нашей действительностью! И как беспощадно расправляясь с нею, они, эти могучие атлеты, поправили раздавили наши сердца!

Мы, как Адам, сели у ворот земного рая, на ступенях лестницы, ведущей в мир, созданный вами; сквозь щель между створок нам видно, как мерцает свет, который ярче солнца; до нас неясно доносятся разрозненные звуки небесной гармонии. Всякий раз, когда еще один избранный входит или выходит, залитый ярким сиянием, мы тянем шеи, силясь разглядеть хоть что-нибудь за створками. Там какие-то сказочные дворцы, равные которым отыщутся только в арабских сказках. Лес колонн, ярусы аркад, каменные столбы, скрученные спиралями, стриженные кроны деревьев фантастической формы, орнаменты в виде ажурных трехлистных пальметок, порфир, яшма, ляпис-лазурь и не знаю уж что еще! — прозрачность и ослепительные отблески, неисчислимое разнообразие невиданных драгоценных камней — сардониксы, хризобериллы, акваарины, радужные опалы, россыпи хрусталя, светочи, рядом с которыми побледнели бы даже звезды, роскошная, звучащая, головокружительная дымка — воистину ассирийская пышность!

Но створка захлопывается, вам больше ничего не видно, и глаза ваши, наполняясь жгучими слезами, возвращаются к этой убогой, голой и тусклой земле, к жалким развалинам, к оборванным людям, к вашей душе, бесплодной скале, на которой ничто не созревает, ко всей нищете и злключениям действительности. О, если бы нам дано было хотя бы воспарить к той двери, если бы ступени той лестницы не опаляли наших ног! Но увы: по лестнице Иакова могут восходить только ангелы.

Что за судьба у бедняка, сидящего у дверей богатого дома! Какая мучительная ирония таится в соседстве дворца и хинины, идеала и действительности, поэзии и прозы! Какая Неискоренимая ненависть, должно быть, свивается кольца-Ми в глубине отверженных душ! Какой скрежет зубовой раздастся, должно быть, по ночам из их жалких постелей, когда ветер доносит до их слуха вздохи теорбы и виолы д'амур! Поэты, живописцы, ваятели, музыканты, зачем вы нам лгали? Поэты, зачем вы пересказывали нам свои грезы? Живописцы, зачем переносили вы на полотно тот неуловимый призрак, который проник в ваш мозг из сердца вместе с волнами вскипающей крови, и зачем сказали нам: это женщина? Ваятели, зачем вы извлекали мрамор из каррарских недр и навсегда запечатлели в нем на всеобщее обозрение свои самые тайные, самые мимолетные желания? Музыканты, зачем вы подслушивали в ночи пение звезд и цветов и записали его? Зачем создали для нас такие прекрасные песни, что самый нежный голос, твердящий «я тебя люблю», кажется нам сиплым, как скрежет пилы, карканье ворона? Будьте вы прокляты, обманщики!.. Пускай огонь небесный пожрет и разрушит все картины, все стихи, все статуи и все партитуры. Ура! Что за тирада нескончаемой длины и притом вовсе не в эпистолярном стиле! Ну и скучища!

Что-то я ударился в лирику, мой драгоценный друг, и вот уже довольно долго изрекаю весьма напыщенные глупости. Все это изрядно отдалило меня от нашего сюжета, каковой сводится, если не ошибаюсь, к славной и победоносной истории шевалье д'Альбера, рыщущего в поисках Дараиды, прекраснейшей на свете принцессы, как уверяют старинные романы.

На самом-то деле история эта настолько убога, что я просто вынужден прибегать к отступлениям и рассуждениям.

Надеюсь, так оно будет не всегда, и вскоре роман моей жизни сложностью и замысловатостью превзойдет хитросплетения испанской драмы.

Вдоволь поблуждав по улицам, я решил заглянуть к одному приятелю, который обещал ввести меня в некий дом, где, по его словам, можно встретить толпу красивых женщин, Целое собрание идеалов во плоти, способных удовлетворить притязания добрых двух десятков поэтов. Там, дескать, найдутся дамы на любой вкус: прекрасные аристократки с орлиным взором, с глазами цвета морской волны, с точеными носами, гордо вскинутыми подбородками, царственными руками и поступью богинь; серебряные лилии на золотых стебельках; скромные фиалки с бледными красками, нежным благоуханием, подернутыми влагой потупленными глазами, хрупкими шеями и прозрачной кожей; бойкие, пикантные красотки; очаровательные жеманницы — словом, все роды красоты; этот дом якобы — самый настоящий сераль, только без евнухов и кизляр-аги. Приятель мой уверяет, что устроил таким вот образом пять или шесть страстных романов; мне это представляется настоящим чудом; боюсь, что со мной ему не добиться такого успеха; де С*** утверждает, что напротив, я очень скоро преуспею даже больше, чем хотел бы. По его суждению, у меня только один изъян, от которого я избавлюсь, когда стану старше и привыкну бывать в свете: слишком высоко ценю женщину вообще и пренебрегаю просто женщинами. Возможно, тут есть доля правды. Он говорит, что я стану воистину неотразим, когда избавлюсь от этой небольшой странности. Дай-то Бог! Наверно, женщины чувствуют, что я их презираю: те самые комплименты, которые, услышь они их от другого, показались бы им очаровательными и донельзя любезными, в моих устах возмущают их и нравятся им не более чем самые колкие эпиграммы. Может быть, причиной тому недостаток, в котором меня уличил де С***.

Когда мы поднимались по лестнице, сердце мое забилося чаще, и едва я немного оправился от смущения, как де С***, подтолкнув меня локтем, подвел к женщине лет тридцати, весьма миловидной, одетой с неброской роскошью и с явными притязаниями на девическую простоту, что не помешало ей наложить на лицо невообразимо толстый слой румян: это была хозяйка дома.

Де С*** тут же заговорил звонким насмешливым голосом, совсем не таким, как обычно, а особым, который появляется у него в свете, когда он желает испытать свое обаяние; подустив почтительной насмешливости, в которой явно сквозило глубочайшее презрение, он сказал ей, произнося одни слова громче, а другие тише:

— Вот молодой человек, о котором я на днях вам рассказал; его отличают самые утонченные достоинства; он весьма знатного рода, и, я полагаю, вы с удовольствием станете его принимать; оттого я и взял на себя смелость вам его представить.

— Разумеется, сударь, вы совершенно правы, — ответствовала дама, жеманясь сверх всякой меры. Потом она повернулась ко мне и, окинув меня искоса весьма искушенным, взглядом, от которого я покраснел до самых ушей, сказала: Можете считать, что получили постоянное приглашение, приходите всякий раз, когда не знаете, на что убить вечер.

Я весьма неловко поклонился и пробормотал несколько бессвязных слов, которые едва ли внушили ей благоприятное представление о моем уме; тут вошли другие гости, и я был избавлен от мучений, неизбежных при церемонии знакомства. Де С*** увлек меня в угол у окна и принялся энергично отчитывать.

— Черт побери, ты ставишь меня в дурацкое положение: я аттестовал тебя редкостным умницей, пылким мечтателем, лирическим поэтом, самым возвышенным и увлекающимся человеком на свете, а ты молчишь, как пень, хоть бы слово сказал! Какая скудость воображения! Я полагал, что твоя фантазия пробуждается куда проворнее! Ну же, прищпорь свой язык, тараторь что в голову взбредет; тебе нет нужды изрекать здравые и разумные суждения, напротив, это может тебе повредить; ты, главное, говори, вот и все: говори побольше, подольше, привлеки к себе внимание, отбрось сейчас же всякую опаску,

всякую скромность; заруби себе на носу: все эти люди дураки или вроде того, и не забудь, что оратор, если он жаждет успеха, должен как можно больше презирать своих слушателей. Как тебе показалась хозяйка дома?

— Она мне с первого взгляда очень не понравилась, и, хотя я проговорил с ней от силы три минуты, мне было так скучно, словно я ее муж.

— Ах, вот как ты о ней думаешь?

— Именно так.

— И твое отвращение к ней совершенно непреодолимо? Тем хуже; было бы весьма кстати, если бы ты сделался ее любовником хотя бы на месяц; это произвело бы прекрасное впечатление; имей в виду, что приличному молодому человеку невозможно попасть в свет иначе как через нее.

— Ладно, — сникнув, вздохнул я. — Если нет другого вывода, я, конечно, сделаюсь ее любовником, но так ли это необходимо, как ты полагаешь?

— К сожалению, да, это совершенно неизбежно; попробую растолковать тебе почему. Госпожа де Темин теперь в моде; она в высшей степени наделена всеми смешными слабостями, которые в ходу сегодня, и некоторыми из тех, что войдут в обыкновение завтра, но никогда не грешит вчерашними: она прекрасно осведомлена. Все будут носить то, что носит она, но сама она не одевается так, как до нее одевались другие. Вдобавок она богачка, экипажи у нее отменные. Она не умна, но язык у нее подвешен хорошо; вкусы у нее самые смелые, но она холодна, как камень. Пригнуться ей нетрудно, растрогать ее невозможно; у нее бесстрастное сердце и распутный ум. Что до ее души, если у нее вообще есть душа, в чем я сомневаюсь, то она черным-черна: нет такой низости и пакости, на которые не была бы способна эта женщина; но она весьма ловкая особа и блюдет приличия ровно настолько, чтобы ее ни на чем нельзя было поймать. Например, она запросто будет спать с мужчиной, но ни за что не напишет ему самой простой записки. Даже самые ее душевные враги ни в чем не могут ее упрекнуть — разве только в том, что она чересчур румянится и что некоторые части ее телес не столь округлы, как им следует быть, — это, кстати, неправда.

— Откуда ты знаешь?

— Ну и вопрос! Оттуда, откуда узнаются такие подробности, — сам убедился.

— Значит, ты тоже был любовником госпожи де Темин!

— Разумеется! Почему бы и нет? С моей стороны было бы весьма нелюбезно, если бы я с ней не переспал. Она оказала мне огромные услуги, и я очень ей благодарен.

— Не возьму в толк, какого рода услуги она могла тебе оказать...

— Ты что, в самом деле глуп? — изумился де С***, уставившись на меня с преуморительнейшей гримасой. — Право, ты меня пугаешь! Уж и не знаю, все ли можно тебе рассказывать? Госпожа де Темин слывет, и вполне заслуженно дамой, весьма искушенной в совершенно особых областях знания, и молодой человек, которого она к себе приблизила и подержала при себе, может смело представляться в любой доме и быть уверенным, что очень скоро ему подвернется случай вступить в любовную связь, да и не в одну. Помимо этого неоспоримого преимущества есть у нее еще одно, не менее важное: когда женщины, принадлежащие к этому кругу, увидят, что ты признанный любовник госпожи де Темин, то, коль скоро ты возбудишь в них малейшую склонность, они почтут для себя радостью и даже долгом отбить тебя у такой законодательницы мод; а тебе,

вместо того чтобы ухаживать да маневрировать, останется только выбирать, ибо все наверняка примутся с тобой заигрывать и кокетничать напропалую.

И все-таки если она внушает тебе чрезмерное отвращение, не сближайся с ней. Это не то чтобы совсем уж необходимо, хотя так оно было бы приличнее и вежливее. Но тогда сделай выбор не мешкая и открыто напади на ту, которая больше тебе приглянется или покажется доступнее остальных; иначе ты утратишь в их глазах прелесть новизны, которая на несколько дней даст тебе преимущество перед здешними кавалерами. Все эти дамы не подозревают, что бывает такая страсть, которая рождается в глубине души и неспешно зреет там, в почтении и безмолвии: у них на уме любовь с первого взгляда и мистическое сродство, необыкновенно удачные выдумки, избавляющие от докучной необходимости давать отпор, томиться, вести долгие беседы, — словом, от всего, чем истинное чувство осложняет любовную интригу, что, в сущности, лишь понапрасну оттягивает развязку. Эти дамы весьма берегут свое время и до того им дорожат, что каждая минута, прожитая впустую, приводит их в отчаяние. Их обуревают в высшей степени похвальное желание осчастливить род людской, и они любят ближнего, как самих себя, весьма похвальная добродетель, вполне в духе Евангелия, эти более чем милосердные создания ни за что на свете не допустят, чтобы поклонник умер от отчаяния.

Должно быть, три-четыре дамы уже поражены тобой, и советую по-дружески: поспеши проявить настойчивость; нечего тебе тешиться моими рассказами в оконной нише, этак ты далеко не уйдешь.

— Но, дорогой С***, я в этих вещах совершенный новичок. Я хуже, чем кто бы то ни было, умею отличить с первого взгляда женщину, которую успел поразить, от той, которая передо мной устояла, и если ты, человек опытный, мне не поможешь, я могу допустить самые нелепые ошибки.

— И впрямь, твоя непросвещенность ни с чем не сравнима; никогда бы не поверил, что в наш блаженный век может явиться на свет такое пасторальное и буколическое создание, как ты! Какого черта тебе даны эти огромные черные глазищи — и при условии, что ты научишься пускать их в ход, кто перед тобой устоит? Ну-ка, взгляни в тот уголок, у камина, на малютку в розовом, что поигрывает веером: вот уже добрых четверть часа она в упор лорнирует тебя с таким усердием, которое говорит о многом; она единственная в этом обществе умеет с видом такого превосходства нарушать приличия и в самом бесстыдстве хранить такую величавую осанку. Ее очень не жалуют дамы, которые отчаялись когда-либо достичь высот безнравственности, зато она весьма по вкусу мужчинам, которые находят в ней живость и бесшабашность, присущие куртизанкам. И в самом деле, она очаровательна, беспутна, исполнена остроумия, пылкости и причуд. Превосходная любовница для юноши с предрассудками! В неделю она избавит вас от угрызений совести и вдохнет вам в сердце такое распутство, с которым вы никогда уже не будете выглядеть ни смешным, ни печальным. Обо всем на свете у нее наготове неописуемо ясные и точные суждения, и она с удивительной быстротой и уверенностью добирается до самой сути. Эта миниатюрная женщина — воплощение алгебры: именно то, что нужно мечтателю и энтузиасту. Она скоро излечит тебя от твоего туманного идеализма и тем самым окажет тебе огромную услугу. Впрочем, ей самой это доставит большое удовольствие, ибо она инстинктивно стремится избавлять поэтов от иллюзий.

Описание де С*** раздражило мое любопытство, я выбрался из укрытия и, пробравшись между группками гостей, приблизился к даме; я окинул ее внимательным взглядом: на вид ей было лет двадцать пять — двадцать шесть. Она была невелика ростом, но недурно сложена, хотя слегка полновата; руки у нее были белые и мягкие, кисти достаточно

изысканной формы, ножка премилая и даже чересчур крохотная, плечи полные, ослепительные, грудь невелика, но вполне удовлетворительна и позволяла надеяться, что прочее не хуже; волосы у нее были необыкновенно блестящи и черны, как вороново крыло; глаза слегка раскосые, удлинённые к вискам, тонкий нос с глубоко вырезанными ноздрями, влажный, чувственный рот, на нижней губе маленькая складочка, а над уголками рта едва заметный пушок. А сквозившие во всем облике живость, бойкость, здоровье, сила и непостижимое выражение чувственности, умерявшееся кокетством и всякими уловками, сообщали ей незаурядную привлекательность и с лихвой оправдывали тот пристальный интерес, которым она была окружена и который постоянно возбуждала в окружающих.

Я желал ее — но я сразу понял, что, при всем ее обаянии, эта женщина не приблизит меня к моей мечте, не заставит сказать: «Наконец-то у меня есть возлюбленная!»

Я вернулся к де С*** и сказал:

— Эта дама мне очень нравится, и, быть может, у нас с ней сладится дело. Но прежде, чем я решусь высказаться определенно и связать себя, прошу тебя, будь добр, покажи мне тех снисходительных красавиц, которые великодушно обратили на меня внимание: я хочу сделать выбор. И раз уж ты взялся быть моим вожатым, окажи мне любезность, добавь этому короткий рассказ о каждой и перечень их достоинств и недостатков, а также поведай, каким образом лучше их атаковать и в каком тоне лучше с ними разговаривать, чтобы избежать как излишней провинциальности, так и литературности.

— С удовольствием, — отозвался де С***. — Взгляни вон на ту прекрасную, меланхолическую лебедушку, которая так изящно изгибает шею и взмахивает рукавами, словно крыльями; это сама скромность, это средоточие всей земной чистоты и невинности; снежное чело, ледяное сердце, взоры мадонны, улыбки святой Агнессы; платье на ней белоснежное, душа — такая же; волосы она украшает только флердоранжем да лилиями и к земле привязана всего одной ниточкой. Ее никогда не посещала ни единая дурная мысль, и она понятия не имеет о том, чем мужчина отличается от женщины. Пресвятая Дева — рядом с ней вакханка; впрочем, несмотря на все это, у нее перебивало больше любовников, чем у любой известной мне женщины, а это не так уж мало. Рассмотрим как следует грудь этой скромницы; воистину, маленький шедевр — право, не так уж легко все скрыть и в то же время показать так много; согласишься, при всем ее аскетизме и при всей недоступности она, пожалуй, выглядит более вызывающе, чем эта добродушная особа слева от нее, храбро выставляющая напоказ два полушария, которые, если их соединить, явили бы собой карту земного шара в натуральную величину, или другая, та, что справа, с вырезом до самого живота, с чарующим бесстрашием обнажающая перед нами свое убожество? Или я глубоко заблуждаюсь, или это непорочное создание уже мысленно подсчитало, сколько любви и страсти сулят твоя бледность и черные глаза; я это потому говорю, что она ни разу не глянула в твою сторону, во всяком случае, так, чтобы это можно было заметить; на самом деле она так владеет искусством косить глаза во все стороны, что от нее не ускользнет ни единая подробность; кажется, что у ней глаза на затылке, ибо она прекрасно знает все, что творится у нее за спиной. Это Янус в юбке. Если хочешь снижать у нее успех, откажись от небрежных манер и победоносного взгляда. Надо говорить с ней, потупив очи долу, застыть в принужденной позе, приглушенным и почтительным голосом; таким манером ты сможешь высказать ей все, что хочешь, — лишь бы это было пристойно завуалировано, и она позволит тебе любые дерзости, сначала на словах, а там и на деле. Потрудишься только понежнее закатывать глаза всякий раз, когда она смущенно потупит свои, и толкуй ей как можно слащавее о платонической любви и о связи двух душ, пускай в ход пантомиму, которая не имеет ничего общего ни с платонизмом, ни с идеализмом!

Она очень чувственна и очень обидчива; целуй ее и обнимай, сколько душе угодно но в самом сокровенном упоении не забывай по меньшей мере трижды вставлять в каждую фразу обращение «сударыня»: она рассорилась со мной потому, что, ложась в постель я что-то сказал ей, назвав ее на «ты». Черт побери! Недаром же она порядочная женщина!

— После всего, что ты мне рассказал, у меня нет большой охоты пускаться в эти приключения. Мессалина-недотрога! Какое чудовищное и небывалое сочетание!

— Оно старо как мир, мой дорогой! С ним встречаешься на каждом шагу, это самое обычное дело. Напрасно ты не желаешь направить свое внимание на эту особу: в ней есть своя прелесть; пока ты с ней, тебе все время кажется, будто ты совершаешь смертный грех и с каждым поцелуем все больше губишь свою душу; меж тем как с другими ты насилу сознаешь за собой заурядный простительный грешок, а то и вовсе не чувствуешь, что согрешил. Вот почему я оставался с ней дольше, чем со всеми остальными любовницами. Я и доныне был бы при ней, да она сама меня бросила; это единственная женщина, которая дала мне отставку, и я за это питаю к ней немалое почтение. У нее в запасе есть необыкновенно изысканные сладострастные уловки, притом она всегда так великолепно притворяется, будто у неё силой вырвали то, что она дала вполне добровольно; принимая от нее любую милость, чувствуешь себя насильником, а это упоительно. В свете ты найдешь десяток ее любовников, которые поклянутся тебе своим счастьем, что это самая добродетельная особа на свете... Хотя на самом деле все наоборот. Анатомировать эту добродетель на подушке — прелюбезнейшее занятие. Теперь, когда ты предупрежден, ты ничем не рискуешь и не совершишь промаха: не влюбишься в нее искренне.

— Сколько же лет этой очаровательной особе? — спросил я у де С***, поскольку не в силах был определить это сам, хотя оглядывал ее с самым пристальным вниманием.

— А, сколько ей лет? Это великая тайна, ведомая одному рогу. Я сам похваляюсь, что с точностью до минуты умею установить возраст женщины, но узнать ее годы так и не смог. Могу лишь предположить, весьма приблизительно, что ей от семнадцати до тридцати шести. Я видел ее в вечернем туалете, видел полуодетую, видел в постели, но ничего не могу тебе сообщить на этот счет: мое искусство тут бессильно. Больше всего она смахивает на восемнадцатилетнюю, но этого быть не может. У нее тело девственницы и душа потаскушки, а чтобы достичь такой глубокой и столь незаметной взору испорченности, нужно или много времени, или великий талант, нужно бронзовое сердце в стальной груди; у нее ни того, ни другого нет, поэтому я думаю, что ей скорее тридцать шесть, но, впрочем, не знаю.

— Нет ли у нее близкой подруги, которая бы просветила нас на этот счет?

— Нет; она приехала в наш город два года назад. Прибыла не то из провинции, не то из-за границы, уж не знаю, откуда именно. Очень выгодное обстоятельство для женщины, которая умеет им пользоваться. С таким лицом, как у нее, можно приписать себе какой угодно возраст и вести хронологию со дня своего приезда.

— Воистину, большая удача, особенно если вас не разоблачит какая-нибудь предательская морщинка и если время, великий разрушитель, смилуется и позволит вам подделать в Церковной записи дату крещения.

Он показал мне еще нескольких дам, которые, по его словам, с благосклонностью приняли бы любое прошение, какое мне вздумалось бы им подать, и отнеслись бы ко мне с избытком филантропии. Но женщина в розовом в уголке у камина и скромная голубица, которую он привел мне в качестве антитезы, были несравнимо лучше всех остальных; они

обладали — по крайней мере, на вид — если не всеми, то частью тех достоинств, которых я от них ждал.

Я болтал с ними целый вечер, особенно с последней, и позаботился о том, чтобы отлить свои мысли в самую почтительнейшую форму; она едва на меня смотрела, но все мне показалось, что зрачки ее раз-другой блеснули сквозь завесу ресниц, а после нескольких весьма смелых, но, правда прикрытых флером строгого целомудрия любезностей, которые я дерзнул ей отпустить, кожа ее на глубине двух-трех линий чуть заметно зарделась сдержанным и робким румянцем и стала такого цвета, как если бы в полупрозрачную чашу налили розовой жидкости. Она отвечала мне в общем строго взвешивая каждое слово, но ответы ее были остроумны, метки и давали понять куда больше, чем выражалось в словах. Все ее речи перемежались умолчаниями, недоговоренностями, туманными намеками, каждый звук произносила она со значением, всякую паузу делала с умыслом; это было донельзя дипломатично и в высшей степени очаровательно. Но хотя в иные минуты я наслаждался беседой, выдержать ее долго я был бы не в силах. Тут нужно все время быть начеку и держать ухо востро, а я ценю в разговоре прежде всего самозабвение и душевность. Сначала мы болтали о музыке, разговор вполне естественно коснулся Оперы, с Оперы перепорхнул на женщин, затем на любовь, а уж эта тема, более чем всякая другая, позволяет совершить переход от общего к частному. Мы щеголяли друг перед другом своими прекрасными чувствами; то-то ты посмеялся, если бы мог меня слышать! Право, Амадис на Горючей скале показался бы рядом со мной холодным педантом. Все это великодушное самоотречение, вся эта преданность заставили бы покраснеть от стыда покойного римлянина Курция. Я и не думал, что способен на столь возвышенную галиматью и столь заоблачный пафос. Вообрази меня изрекающим квинтэссенцию платонических истин — каков паяц, какова комедия! И все это с отменно сладким видом, с этакими ханжескими, святошескими ужимочками! Черт меня побери! Притом я был себе на уме, и любая мать, слыша мои рассуждения, без колебаний уложила бы ко мне в постель свою дочку, а любой муж доверил бы мне свою жену. Никогда в жизни я не притворялся более добродетельным, чем в тот вечер, и никогда не был так далек от добродетели. Я думал, что быть лицемером и говорить вещи, в которые совсем не веришь, труднее. Наверное, это очень легко или я весьма предрасположен к ханжеству, коль скоро я с первого раза сделал такие успехи. Право же, у меня бывают минуты озарения.

Что касается дамы, то она с невинным видом многожды входила в самые изощренные подробности, из которых делалось ясно, что она располагает богатейшим опытом; я просто не в силах дать тебе понятие о невероятной тонкости ее суждений. Эта женщина могла бы разрезать волосок на три части причем не поперек, а вдоль; она посрамила бы всех учений богословов. Впрочем, слушая ее, невозможно поверить, что в ней есть хотя бы тень плотского. Так нематериальна, так эфирна, так идеальна, ну прямо хоть плачь; и, не предупреди меня де С*** о ее повадках, я бы непременно отчаялся в успехе моей затеи и со стыдом убрался прочь. Черт побери, суди сам: если женщина два часа кряду, с самым что ни на есть отрешенным видом, толкует, что любовь — это лишения, жертвы и прочее в том же милом духе, можно ли после этого питать скромную надежду, что рано или поздно увлечешь ее с собой на ложе, чтобы без помех сличить ваши с ней души и тела и проверить, не созданы ли вы друг для друга?

Короче, мы расстались большими друзьями, расхвалив друг друга за возвышенность и чистоту наших чувств.

Можешь себе представить, что беседа со второй вышла совсем в другом роде. Мы все время смеялись. Мы издевались, причем весьма остроумно, надо всеми присутствующими женщинами; но, говоря «мы все время издевались», я не совсем точен, потому что на

самом деле издевалась она: мужчина никогда не насмехается над женщиной. Я слушал и поддакивал, ибо невозможно искуснее, чем это делала она, несколькими штрихами набросать схожий портрет и оживить его столь яркими красками: в жизни не видывал такой уморительной галереи карикатур. Несмотря на преувеличения, в них угадывалась правда; де С*** ничуть не погрешил против истины: призвание этой женщины состоит в том, чтобы разочаровывать поэтов. Вокруг нее царит атмосфера прозы, в которой не может выжить ни одна поэтическая мысль. Она очаровательна и искрится остроумием, однако рядом с ней в голову лезет только низкое и вульгарное; пока я с ней говорил, меня обуревал целый рой неприличных и неосуществимых в этом зале желаний: мне хотелось спросить вина и напиться, усадить ее к себе на колено и поцеловать в грудь, задрать ей подол, чтобы посмотреть, где она носит подвязки, выше колена или ниже, заорать во все горло непристойный куплет, закурить трубку или разбить окно, да мало ли что еще! Во мне проснулось животное, грубое начало, я бы с радостью плюнул на «Илиаду» Гомера и преклонил колена перед головкой сыра. Цирцея превратила спутников Улисса в свиней — сегодня я прекрасно понимаю эту аллессию. По всей видимости, Цирцея была веселая, разбитная особа, как эта малютка в розовом.

Стыдно сказать, но я черпал огромное удовольствие в собственном одичании; я не сопротивлялся ему, а содействовал всеми силами, — вот как присуща человеку испорченность, вот как много грязи содержит глина, из которой он вылеплен.

И все же я на мгновение испугался этой проникшей в меня заразы, и мне захотелось убежать от совратительницы; но паркет словно вздыбился у меня под ногами, и я остался пригвожден к месту.

Под конец я сделал над собой усилие и отошел от нее; было уже очень поздно; я вернулся домой в большом смятении, в большой тревоге и, не понимая толком, как мне теперь быть. Я колебался между святошей и любезницей. Одна казалась мне сладострастной, другая пикантной; а когда я заглянул себе в душу поглубже и пристальней, то обнаружил, что влюблен в обеих, и мало того — обеих желаю, обеих одинаково и так пылко, что они уже почти завладели моими мечтами и мыслями.

О, друг мой, по всей видимости, одна из этих женщин будет моей, а может быть, и обе, и все-таки признаюсь тебе, что, овладев ими, буду лишь наполовину доволен: они, конечно, очень хорошенькие, но при виде их ничто во мне не застонало, не затрепетало, не молвило: «это она»; я просто их не узнал. Хотя навряд ли я найду кого-нибудь получше в смысле происхождения и красоты, и де С*** советует мне держаться одной из них. Разумеется, я последую его совету, та или другая станет моей любовницей, а не то пусть черт меня поберет и чем скорее, тем лучше; но в глубине сердца какой-то тайный голос корит меня за измену моей любви и за то, что я клюнул на улыбку первой попавшейся женщины, которой я вовсе не люблю, вместо того чтобы неустанно искать по свету, в монастырях и в вертепах, во дворцах и на постоялых дворах ту, которая создана для меня и предназначена мне Богом, — принцессу или служанку, монахиню или светскую любезницу.

Позже я сказал себе, что предаюсь пустым мечтам: в сущности, не все ли равно, с какой женщиной спать, с той или с другой; земля от этого не отклонится ни на волосок со своей орбиты и смена времен года тоже не нарушится; что все это совершенно безразлично, и вольно же мне мучить себя такими бреднями, — вот что я себе сказал, и все втуне — и ни спокойствия, ни решимости во мне не прибавилось.

Может быть, дело в том, что я много времени провожу сам с собой, и в моей столь однообразной жизни самые мелкие подробности приобретают чрезмерное значение. Я слишком прислушиваюсь к своей жизни и к своим мыслям: я ловлю пульсацию крови в

своих жилах, биение сердца; напрягая внимание, я выпутываю свои самые неуловимые мысли из мутного тумана, в котором они витают, и придаю им осязаемость. Будь я более деятельным, я не вникал бы во все эти мелочи, и мне некогда было бы целыми днями, как теперь, разглядывать свою душу под микроскопом. Шум поступков распугал бы эту толпу досужих мыслей, которые мелькают у меня в голове и оглушают меня назойливым свистом крыльев. Вместо того чтобы гоняться за призраками, я бы мерился силами с действительностью; я бы ждал от женщин не больше того, что они могут дать, — наслаждения, и не тянулся бы за Бог весть каким фантастическим идеалом, блистающим туманными совершенствами. Я так напрягал свое внутреннее зрение в поисках невидимого, что испортил себе глаза и не умею видеть то, что есть, ибо всегда вглядываюсь в то, чего нет, и глаза мои, с такой зоркостью замечаящие невидимое, в обыденном мире оказываются подслеповаты; вот потому-то я знакомился с женщинами, которых все вокруг признают очаровательными, и не находил в них ничего особенного. Я часто восторгаюсь картинами, которые у всех вокруг считаются дурными, а странные и непонятные стихи доставляют мне больше удовольствия, чем самые изысканные сочинения. Не будет ничего удивительного, если я, после того как столько вздохов обращал к луне и столько пялил глаза на звезды, столько сочинил чувствительных элегий и апостроф, возьму да и влюблюсь в какую-нибудь вульгарную девку или в безобразную старуху; это был бы достойный финал. Быть может, таким способом действительность отомстит мне за то, что я оказывал ей так мало знаков внимания; куда как мило будет, если я проникнусь прекрасной романтической страстью к какой-нибудь недотепе или отвратительной неряхе! Представляешь меня играющим на гитаре под окном кухни и тщетно соперничающим с неким мужланом, таскающим моську почтенной вдовы, которая вот-вот потеряет последний зуб? А может быть и так, что, не найдя в этом мире предмета, достойного моей любви, я в конце концов стану обожать сам себя как блаженной памяти Нарцисс, являющий нам образец эгоизма? Желая застраховаться от такой великой напасти, я гляжусь во все зеркала и во все ручьи, какие только мне попадаются. Право, я так подвержен пустым мечтам и всяким заблуждениям чувств, что не на шутку боюсь поддаться какому-нибудь чудовищному, противоестественному соблазну. Это вполне серьезно, мне нужно быть начеку. Прощай, друг мой; лечу к даме в розовом, а то как бы мне не впасть в извечную мою созерцательность. Едва ли мы с ней станем ломать себе голову над энтелехией, и если мы чем-нибудь и займемся, то, скорее всего, не откровениями спиритуализма, хотя в откровенности этому созданию не откажешь; тщательно сворачиваю и прячу в ящик выкройку моей идеальной возлюбленной, чтобы не прикладывать ее к этой женщине. Хочу спокойно насладиться тою красотой и теми достоинствами, которыми она наделена. Пускай себе носит то платье, которое скроено по ней, не буду и пытаться примерять на нее одежду, которую заранее скроил на все случаи жизни для владычицы моих мыслей. Весьма благоразумное решение, не знаю только, сумею ли я его выполнить, прощай.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я записной любовник дамы в розовом; это что-то вроде принадлежности к сословию или должности по службе; мое положение в свете упрочено. Я уже не школьник, в поисках удачи обхаживающий старух и не смеющий подступиться к женщине с мадригалом, если ей еще не сто лет; с тех пор как я занял это место, замечаю, что со мной считаются куда больше, что все женщины, говоря со мной, кокетничают, ревнуют и изо всех сил стараются произвести на меня впечатление. Мужчины, напротив, обращаются со мной холоднее, и в скупых словах, которыми они меня достаивают, сквозят враждебность и

принуждение; они чувствуют во мне соперника, который уже опасен, а может стать еще опаснее. До меня дошло, что многие жестоко критикуют мою манеру одеваться и находят, что наряды мои слишком женственны, что волосы мои завиты и напомажены с неприличным искусством и что все вместе в сочетании с безбородым лицом придает мне сходство со смехотворным юным щегольком, состоящим для услуг при знатном сеньоре; что на костюмы себе я выбираю пышные, блестящие ткани, которые слишком отдают театральщиной, и что я похож скорее на комедианта, чем на мужчину, — словом, все, что говорится обычно в оправдание собственным грязным и плохо скроенным нарядам. Но все их старания пропадают впустую, и дамы находят, что у меня красивейшие на свете волосы, что щегольства мое отличается отменным вкусом, и, судя по всему, они весьма не прочь возместить мне издержки, на которые я пускаюсь ради них, ибо они не настолько глупы, чтобы поверить, будто я прихорашиваюсь только для собственного удовольствия.

Сперва хозяйку дома, казалось, несколько уязвил мой выбор, ибо она полагала, что он непременно должен был пасть на нее, и несколько дней она не скрывала досады (но только на соперницу; со мною она говорила по-прежнему), сказывавшейся в манере произносить «дорогая моя!» — тем сухим, отрывистым тоном, какой свойствен исключительно женщинам, и в неблагоприятных отзывах о ее туалетах, изрекаемых как можно громче, например: «Вы слишком зачесали волосы наверх, это вам совсем не к лицу», — или: «У вас корсаж морщит под мышками, кто это вам сшил такое платье?» — или: «У вас усталый взгляд, вы на себя не похожи», — и множество других мелких уколов, на которые та не упускала случая огрызнуться со всею подобающей злостью, а подчас, не дожидаясь никакого случая, с лихвой возвращала сопернице должок тою же монетой. Но вскоре внимание отвергнутой инфанты переместилось на другой предмет, бескровная словесная война поутихла, и все вернулось к обычному порядку вещей.

В начале письма я бегло упомянул, что стал записным любовником розовой дамы; однако столь дотошному человеку, как ты, этого недостаточно. Несомненно, ты спросишь, как ее зовут; ну, имени ее я тебе не скажу, но, если угодно, для удобства изложения и в память о цвете платья, которое было на ней в первый раз, когда я ее увидел, будем называть ее Розеттой; премилое имя — так кликали мою собачку.

Ты пожелаешь узнать во всех подробностях, ибо ценишь точность в подобных делах, историю моей любви к этой прекрасной Брадаманте, узнать, как мне удалось постепенно перейти от общего к частному и из простого зрителя превратиться в актера, как из публики, к которой принадлежал поначалу, я вышел в любовники. С величайшим удовольствием исполню твое желание. В нашем романе нет ничего зловещего; он окрашен в розовый цвет, и слезы, которые в нем встречаются, — это слезы радости, и только; в нем не обнаружишь ни тоски, ни докучных объяснений, и действие движется к концу быстро и стремительно, согласно советам Горация; это воистину французский роман. И все-таки не думай, что я взял эту крепость первым же приступом. Моя принцесса, хоть и снисходительна к своим подданным, все же не столь щедра на милости, как можно было подумать поначалу; она слишком хорошо знает им цену, чтобы расточать их даром; кроме того, она прекрасно понимает, что разумное промедление подхлестывает страсть, а потому не спешит уступить первому же натиску, как бы вы ни пришили ей по вкусу.

Для вящей основательности вернемся слегка назад. Я сделал тебе подробный отчет о нашей первой встрече. Мы виделись в том же доме еще раз, или два, или даже три, а затем она пригласила меня к себе; как ты понимаешь, я не заставил себя упрашивать и стал к ней ездить, на первых порах изредка, потом чаще, потом еще чаще, потом всякий раз, когда мне того хотелось, а должен тебе признаться, что хотелось мне этого по меньшей мере три-четыре раза на дню. Моя дама после разлуки в несколько часов оказывала мне всегда такой прием, словно я вернулся из Ост-Индии; это не оставляло меня

равнодушным, и в ответ мне хотелось выразить свою признательность как можно более галантным и нежным образом, на что она в свой черед отвечала как полагается.

Розетта — раз уж мы условились звать ее этим именем — отличается большим умом; она понимает мужчину и чрезвычайно любезно дает ему это заметить; хоть она и оттянула на некоторое время конец главы, я ни разу на нее не рассердился, а это воистину чудо: ведь ты же знаешь, какая ярость мной овладевает, если я не получаю немедленно того, чего хочу, и если женщина не довольствуется сроком, который я мысленно отвел ей на капитуляцию. Не знаю, как Розетта этого достигла; с первой же встречи она дала мне понять, что будет моей, и я так уверился в этом, словно получил от нее собственноручную расписку. Можно предположить, что дело в ее дерзких и зазывающих манерах, дающих простор самым необузданным надеждам. Но не думаю, чтобы в этом заключалась истинная причина; я знавал женщин, которые вели себя с такой чрезмерной вольностью, которая, в сущности, не допускала ни малейшего сомнения на их счет, но при них я испытывал по меньшей мере неуместную робость и неуверенность.

Я вообще куда менее любезен с женщинами, на которых имею виды, чем с теми, которые мне безразличны, а все потому, что страстно жду счастливого случая и терзаюсь сомнениями в успехе моего замысла; от этого я погружаюсь в угрюмую задумчивость, заглушающую во мне чуть не все мысли и последние остатки остроумия. Когда я вижу, как один за другим пролетают часы, которые я намеревался употребить совсем по-другому, меня охватывает невольный гнев, и я, вопреки своим намерениям, говорю сухо и язвительно, а подчас и грубо, отдаляя тем самым от себя желанную цель на много лье. Ничего этого я не испытываю с Розеттой; никогда, даже в минуты, когда она оказывала самый суровый отпор, мне не казалось, что она готова ускользнуть от моей любви. Я предоставил ей спокойно пускать в ход все ее маленькие хитрости, набрался терпения, чтобы переждать все довольно длительные отсрочки, которыми ей вздумалось испытывать мой пыл; в строгости ее словно пряталась улыбка, которая утешала вас, как могла, и в самой ее гирканской жестокости сквозило истинное дружелюбие, не позволявшее вам всерьез испугаться. Порядочные женщины — даже наименее порядочные из них — вечно напускают на себя недовольный, презрительный вид, которого я совершенно не выношу. Они смотрят на вас так, словно с минуты на минуту позвонят и велят лакеям вышвырнуть вас за дверь, а мне, право же, кажется, что человек, взявший на себя труд поухаживать за женщиной (что само по себе не столь приятно, как принято думать), ничем не заслужил, чтобы на него так смотрели. Милая Розетта никогда не смотрит таким взглядом, и уверяю тебя, что это ей только на пользу; она — единственная женщина, с которой я остаюсь самим собой, и скажу тебе не без самодовольства, что никогда еще я не был так мил. Мой ум проявляет себя без помех, а она пылкими и находчивыми репликами побуждает меня отвечать с таким остроумием, какого я за собой не подозревал, да, пожалуй, каким и не обладаю на самом деле. Правда, разговор наш не отличается задушевностью — с ней это невозможно, — и все же в нем не обходится без поэзии, — вопреки предупреждениям де С***, но Розетта так полна жизни, силы, движения и, похоже, чувствует себя так уютно в своем мирке, что не хочется увлекать ее оттуда в заоблачные выси. Она так обаятельно играет фею из плоти и крови и так забавляет этой игрой себя и других, что никакие мечты не принесут вам ничего лучшего.

Чудеса: я знаком с ней уже почти два месяца, и за это время скучал только вдали от нее. Согласись, что рядом с заурядной женщиной не испытываешь ничего подобного, ибо, как правило, женщины производят на меня прямо противоположное действие: чем дальше от них, тем больше они мне нравятся.

Характер у Розетты — лучше не бывает, при мужчинах, разумеется, поскольку с женщинами она сущая чертовка; она веселая, бойкая, жизнерадостная, всегда на все готова, неподражаемая собеседница, ни с того ни с сего наговорит вам каких-нибудь прелестных и неожиданных пустяков; это не столько любовница, сколько восхитительный товарищ, очаровательная подружка, с которой делишь ложе; и будь у меня побольше лет за плечами и поменьше романтических идей в голове, все прочее мне было бы совершенно безразлично, и, пожалуй, я почитал бы себя даже счастливейшим из смертных. Но... но... — вот частица, не предвещающая ничего хорошего, и это чертовое коротенькое ограничительное словцо во всех человеческих языках употребляется, к сожалению, чаще всего, а я, глупец, простофиля, дуралей, ничем не умею довольствоваться и вечно рыщу в поисках прошлогоднего снега; я мог бы быть совершенно счастлив, между тем счастлив лишь наполовину; в нашем мире и это немало, а мне все чего-то не хватает.

С обычной точки зрения, у меня такая любовница, которую многие, завидуя мне, хотели бы заполучить и какою бы никто не пренебрег. Итак, желание мое как будто исполнилось, и я больше не имею права задирать судьбу. И все-таки я не чувствую, что у меня есть любовница, — умом понимаю, но не чувствую, и если меня застанут врасплох вопросом, есть ли у меня любовница, я, наверное, отвечу, что нет, ведь обладать женщиной, красивой, юной, умной — во все времена и во всех краях это называлось иметь любовницу, и полагаю, что по-другому просто не бывает. Это не мешает мне питать самые непостижимые сомнения на сей счет, да такие сильные, что если несколько человек сговорятся убедить меня, что я вовсе не пользуюсь особыми милостями Розетты, я вопреки самой осязаемой очевидности, в конце концов им поверю.

Не выводи из моих слов, что я ее не люблю или что она мне чем-то не нравится; напротив, я очень ее люблю и ясно вижу то, что увидит каждый: это милое и пикантное создание. Просто я не чувствую, что она мне принадлежит, вот и все. А все-таки ни одна женщина не дарила мне столько радости, и настоящее сладострастие я постиг только в ее объятиях. От каждого ее поцелуя, от самой невинной ласки меня с головы до ног бросает в дрожь, и кровь так и приливает к сердцу. Как прикажешь все это совместить? Но так оно и есть, уверяю тебя. Впрочем, человеческое сердце полным-полно подобных нелепостей, и тому, кто вздумал бы примирить все сокрытые в нем противоречия, пришлось бы изрядно потрудиться.

Почему это так? Право, не знаю. Я вижусь с ней весь день и даже всю ночь, если хочу. Я осыпаю ее всеми ласками, какие мне заблагорассудятся; она отдается мне то одетая, то обнаженная, то в городе, то на лоне природы. Уступчивость ее неисчерпаема, она превосходно потакает всем моим прихотям, даже самым странным: как-то вечером мне взбрело в голову овладеть ею посреди гостиной, при зажженной люстре и свечах, и чтобы в камине пылал огонь, а стулья были составлены в круг, как на больших приемах, и чтобы она была в бальном туалете, с букетом и веером, а на пальцах и на шее красовались все ее бриллианты, в прическе — перья, и весь наряд был бы как можно великолепнее, а сам я пожелал нарядиться медведем; она и на это согласилась. Когда все было готово, слуги весьма удивились, получив приказ запереть двери и никого не впускать; они явно не знали, что подумать, и удалились с таким обескураженным видом, что мы хохотали до упаду. Наверняка они решили, что их госпожа окончательно повредила в уме, но нам не было никакого дела до того, что они думают и чего не думают.

Это был самый причудливый вечер в моей жизни. Вообрази, на что я был похож — в лапе шляпа с перьями, все когти унизаны перстнями, на боку маленькая шпага с серебряной гардой и небесно-голубой лентой на эфесе! Я приблизился к прекрасной даме и, отвесив ей самый грациозный поклон, уселся рядом, а потом стал ее атаковать всеми известными

способами. Замысловатые мадригалы, преувеличенные комплименты, с которыми я к ней обращался, и весь подобающий случаю словарь, вылетая из медвежьей пасти, производили необыкновенное впечатление; дело в том, что я нацепил великолепную медвежью маску из раскрашенного картона, но вскоре мне пришлось забросить ее под стол — уж больно хороша была в тот вечер моя богиня, и очень уж мне захотелось поцеловать ей руку, да и не только руку. Спустя недолгое время за мордой последовала и шкура: ведь я не привык быть медведем и задыхался в его наряде гораздо больше, чем требовалось. Теперь все козыри, как ты сам понимаешь, оказались у бального туалета: перья падали вокруг моей красавицы, подобно снежным хлопьям; вскоре из рукавов показались плечи, из корсета — грудь, из чулок и туфелек — ножки; порванные ожерелья рассыпались по полу, и полагаю, что никогда еще столь модное платье не комкали я не рвали столь безжалостно; а оно было из серебряного газа на белой атласной подкладке. При этом Розетта повела себя с героизмом, недостижимым для обыкновенных женщин, и еще более выросла в моих глазах. Равнодушной свидетельницей взидала она на гибель своего туалета и ни на миг не выказала сожаления о платье и кружевах; напротив, она веселилась, как безумная, и сама помогала мне рвать и раздирать то, что не хотело развязываться или расстегиваться так быстро, как мне или ей того хотелось. Не кажется ли тебе, что такое величие достойно войти в историю наряду с доблестнейшими деяниями героев древности? Самое непреложное доказательство любви, какое только может женщина дать своему возлюбленному, это не говорить ему: «Осторожно, не помните мой туалет, не посадите пятна», особенно если платье с иголки. Чтобы обезопасить себя от мужа, ему чаще, чем принято думать, напоминают о новизне платья. Должно быть, Розетта меня обожает или по части философии превосходит самого Эпиктета.

Как бы то ни было, я, надеюсь, с лихвой возместил Розетте стоимость платья тою монетой, которая хоть и не в ходу у торговцев, но от этого стоит и ценится ничуть не меньше. Такой героизм заслужил соответствующего вознаграждения. Впрочем, она, женщина великодушная, сполна вернула мне полученное. Я испытал безумное, почти судорожное наслаждение и не думал даже, что способен такое почувствовать. Эти звучные поцелуи пополам со звонким смехом, эти трепетные, полные нетерпения ласки — все это пряное, дразнящее сладострастие, наслаждение, вкусить которое в полной мере мне помешали наряд и обстановка, но зато оно оказалось в сто раз острее, чем если бы не было никаких помех, — все это оказало на меня столь раздражающее действие, что у меня начались спазмы, от которых я не без труда оправился. Ты не можешь себе вообразить, с каким нежным и гордым видом глядела на меня Розетта, приводя меня в чувство, и с каким счастливым и тревожным выражением она вокруг меня хлопотала; лицо ее еще сияло радостью от сознания того, что это она привела меня в такое изнеможение, а в глазах, омытых слезами нежности, светился страх, вызванный моим недомоганием, и забота о моем здоровье. В этот миг она казалась мне прекрасной, как никогда. В ее глазах было столько чистоты, столько материнского чувства, что более чем анакреонтическая сцена, только что разыгравшаяся, напрочь изгладилась из моей памяти, и я опустился перед красавицей на колени, прося дозволения поцеловать у ней руку; Она дала мне это дозволение с удивительной важностью и достоинством.

Решительно, эта женщина вовсе не так развращена, как утверждал де С*** и как подчас казалось мне самому; порча поразила ее ум, а не сердце.

Сцена, которую я тебе описал, — одна из многих, не более; по-моему, после этого я вправе без излишнего самодовольства считать себя любовником этой женщины. Так вот этого-то я и не могу! Не успел я вернуться домой, как мною вновь овладела эта мысль и принялась точить меня, как всегда. Я прекрасно помнил все, что делал сам и что делала она. В моей памяти необыкновенно четко запечатлелись все жесты, позы, все мельчайшие подробности; я не забыл ничего вплоть до легких модуляций голоса, вплоть до самых

неуловимых оттенков сладострастия, но у меня не было ощущения, что все это произошло именно со мной и больше ни с кем. Я не был убежден, что это — не иллюзия, не фантастическое видение, не греза, что я не вычитал все это в какой-нибудь книжке или даже не сочинил сам, как сочиняю нередко всякие истории. Я боялся, что моя доверчивость меня подвела, что я пал жертвой мистификации; и несмотря на такое доказательство, как усталость, и на непреложное убеждение, что провел ночь вне дома, я готов был безропотно поверить, что в обычное время улегся в собственную постель и проспал до утра.

Я безмерно страдаю, ибо не могу найти в душе подтверждения тому, что подтверждается физически. Обычно бывает наоборот: факт подтверждает идею, а я хотел бы с помощью идеи подтвердить факт, да не могу; это странно, но это именно так. В известной мере от меня зависит, иметь ли мне любовницу; но, даже заполучив ее, я не могу уверить себя в том, что она у меня есть. Во мне нет необходимой веры даже в столь очевидную вещь, и мне так же невозможно уверовать в столь простой факт, как другому — в Пресвятую Троицу. Вера не дается по желанию, это дар свыше, особая небесная благодать.

Никто и никогда не желал так, как я, жить жизнью других людей, переменить свою природу — и никто не преуспел в этом меньше меня. Как бы я ни старался, прочие люди остаются для меня призраками, я не чувствую, что они существуют, хотя преисполнен желания понять их и участвовать в их жизни. Это или мое свойство, или недостаток истинной симпатии к чему бы то ни было. Вопрос о том, существует или не существует на самом деле некий человек или предмет, интересует меня не до такой степени, чтобы задевать меня чувствительным и явным образом. Вид женщины или мужчины, предстающих мне наяву, оставляет на моей душе следы не более глубокие, чем фантастическое сновидение: вокруг меня с глухим гулом колеблется бледный мир теней и мнимых или истинных подобий, и я чувствую себя среди них совершенно, предельно одиноким, потому что никто из них не сулит мне ни добра, ни зла, и мне кажется, что все они вылеплены из совсем другого теста, чем я. Когда я с ними заговариваю и слышу в ответ нечто, не лишенное здравого смысла, я удивляюсь так же, как если бы моя собака или кошка вдруг обрела дар речи и вмешалась в беседу; звук их голоса всегда поражает меня, и я охотно поверю, что они — лишь мимолетные видения, отражающиеся во мне, как в зеркале. Не знаю, выше я их или ниже, но уж, во всяком случае, мы с ними разной породы. В иные минуты я признаю над собой только Бога, а в иные насилу чувствую себя равным мокрице под камнем или моллюску на песчаной отмели; но какое бы место я себе ни отводил, вверху или внизу, мне все равно никогда не удавалось убедить себя, что другие люди в самом деле такие же, как я. Когда ко мне обращаются «сударь» или говорят обо мне «этот человек», мне это всегда представляется весьма странным. Даже собственное имя кажется мне каким-то произвольным, а не настоящим моим именем; но если его произносят, пускай как угодно тихо, среди любого шума, я тут же резко оборачиваюсь с лихорадочной, судорожной поспешностью, которая всегда оставалась загадкой для меня самого. Быть может, в человеке, который знает меня по имени и выделяет из толпы, я боюсь найти соперника или врага?

Когда я жил с какой-нибудь женщиной, я особенно чувствовал, как неодолимо отторгает моя природа всякую связь, любое слияние. Я — как капля масла в стакане воды. Разменивайте и взбалтывайте содержимое сколько вам будет угодно — все равно масло не смешается с водой: оно распадется на тысячи крошечных шариков, которые, стоит воде успокоиться, сразу же соединятся и всплывут на поверхность; вся моя история — это история капли масла в стакане воды. Даже сладострастие, эта алмазная цепь, связующая все живые существа, этот огонь пожирающий, что плавит железные и гранитные сердца, исторгая из них слезы, подобно тому, как настоящий огонь плавит настоящее железо и гранит, — даже эта могучая сила никогда не могла ни укротить меня, ни смягчить. А

между тем у меня очень изощренная чувствительность, но душа моя враждует со своей сестрой, плотью, и эта несчастная чета, как любая другая чета в ее положении, законная или незаконная, — живет в непрестанной борьбе. Женские руки, которые, как считается, лучше всего привязывают человека к земле, оказались для меня слишком слабыми путами: когда возлюбленная прижимала меня к груди, я был от нее за тридевять земель. Я задыхался в ее объятиях, вот и все.

Сколько раз я распалялся гневом на самого себя! Сколько усилий делал, чтобы перемениться! Как заклинал себя сделаться нежным, влюбленным, страстным! Как часто хватал собственную душу за волосы и волок ее насильно к своим губам в разгар поцелуя!

Что я только не делал, но, стоило мне ее отпустить, она, утираясь, отступала назад. Какой пыткой для бедной моей души было участие в разгульных выходках тела и в вечных пиршествах, на которых для нее не было пищи!

И вот с Розеттой я решил проверить раз и навсегда, в самом ли деле я так безнадежно необщителен и дано ли мне настолько вникнуть в жизнь другого человека, чтобы самому в это поверить. Я изнурил себя опытами, но сомнений своих почти не разрешил. С ней я испытываю острое наслаждение, Которое если и не трогает, то все же забавляет мою душу, и это вредит точности наблюдений. По сути же, я должен признать, что все это не проникает мне сквозь кожу: эпидерма ликует, а душа участвует в ее радостях только из любопытства. Я получаю удовольствие, поскольку молод и горяч, но источник этого удовольствия я сам, а не другой человек. Причина скорее во мне, чем в Розетте.

Как бы я ни бился, я ни на минуту не могу покинуть пределы своего «я». Я вечно остаюсь самим собой, скучающим и скучным созданием, которое мне самому весьма не по вкусу. Мне не удалось исполнить задуманное и постичь разумом другого человека, душой — чужое чувство, телом — чужую боль и чужое блаженство. Я узник самого себя, и бегство невозможно: узник хочет ускользнуть, стены готовы рухнуть от малейшего толчка, двери жаждут распахнуться и выпустить беглеца; не знаю, что за неумолимый рок удерживает каждый камень в тюремной кладке и каждый засов в скобах, но для меня равно невозможно впустить кого-нибудь к себе и самому выйти к другим людям; я не в силах ни ходить в гости, ни принимать гостей и среди толпы живу в самом унылом одиночестве; подчас мое ложе не пустует, но сердце мое всегда пусто.

О, почему я не могу прибавить себе ни единой клеточки, ни единого атома; почему не могу сделать так, чтобы кровь другого человека быстрее заструилась в жилах; почему вижу всегда только своими глазами, ни зорче, ни дальше, ни просто по-другому; слушаю всегда тем же слухом и переживаю при этом все то же самое; касаюсь предметов теми же пальцами; постигаю такой разнообразный мир все теми же неизменными органами чувств; почему я приговорен все к одному и тому же тембру голоса, к повторению тех же интонаций, фраз, речей и не могу убежать, спрятаться от себя самого, забиться в какой-нибудь уголок, где бы мне было себя не сыскать; почему я обречен вечно держать себя при себе, обедать и спать в обществе самого себя; почему для двух десятков все новых женщин я должен быть все тот же; почему на протяжении самых невообразимых перипетий жизненной драмы я должен волочить за собой этот навязанный мне персонаж» чья роль известна мне наизусть; и думать все то же, и мечтать все о том же — какая пытка, какая тоска!

Я желал заполучить рог братьев Тангут, шапку Фортуната, жезл Абариса, кольцо Гигеса: я рад был бы погубить свою душу ради того, чтобы вырвать из рук у какой-нибудь феи волшебную палочку, но никогда и ничего я не хотел так страстно, как повстречать на вершине горы, подобно прорицателю Тиресию, змей, помогающих переменить пол; и

более всего я завидую чудовищным, диковинным индийским богам за их вечные аватары и бесчисленные метаморфозы

Сначала я просто мечтал превратиться в другого мужчину; потом, сообразив, что по аналогии могу почти в точности предвидеть, что я буду тогда чувствовать, а значит, не достигну желанного изумления и желанной новизны, возмечтал сделаться женщиной; эта мысль всякий раз посещала меня, когда у меня появлялась любовница, недурная собой (безобразная женщина для меня — все равно что мужчина); в минуты наслаждения мне хотелось поменяться с нею ролями, ибо для меня нестерпимо не представлять себе, что именно я делаю другому человеку, и о его блаженстве судить лишь по своему собственному. Часто эти и многие другие мысли в самые неподходящие минуты сообщали мне задумчивый, отсутствующий вид, который навлекал на меня совершенно незаслуженные упреки в холодности и неверности.

Розетта, к счастью, не знает всего этого и считает меня самым пылким возлюбленным на свете; ярость бессилия она принимает за ярость страсти и старается как можно лучше угодить всем экспериментальным прихотям, какие взбредут мне в голову.

Я делал все, что мог, чтобы убедить себя, что она принадлежит мне: я пробовал нисходить в ее сердце, но всегда останавливался на первой ступеньке лестницы — на коже или на Устах. Вопреки нашей тесной плотской близости я твердо знаю, что между нами нет ничего общего. Никогда в этой юной хорошенькой головке не расправляла крыльев мысль, сходная с моими мыслями; никогда это живое, пылкое сердце, что вздымает своим биением упругую, девственную грудь, не билось в унисон с моим сердцем. Моя душа никогда не соединялась с ее душой. Купидон, божок с ястребиными крыльями, не лобызал Психею, касаясь этого прекрасного чела, словно выточенного из слоновой кости. Нет, эта женщина для меня не возлюбленная!

Если бы ты знал, чего я только не делал, чтобы вынудить мою душу разделить любовь моего же тела! С каким неистовством впивался я губами в губы подруги, погружал руки в ее волосы, прижимал к себе ее округлый и гибкий стан! Как античная Салмакида, влюбленная в юного Гермафродита, я пытался слиться с ней воедино; я пил ее дыхание, пил теплые слезы, которые исторгало сладострастие из переполненной чаши ее очей. Чем крепче сплетались наши тела, чем теснее сжимались объятия, тем меньше я ее любил. Моя душа, печально сидя в сторонке, с жалостью смотрела на убогое брачное празднество, на которое ее не позвали, или, охваченная отвращением, прикрывала себе лицо полой плаща и беззвучно лила слезы. Все это, наверное, оттого, что на самом деле я не люблю Розетту, хотя она, как никто, достойна любви и я был бы рад ее полюбить.

Желая отделаться от мысли, что я — это я, я создал для себя очень странные сферы обитания, в которых у меня было совсем немного шансов наткнуться на самого себя, и попытался, раз уж не могу послать свою особу ко всем чертям, хотя бы сбить ее с толку непривычной обстановкой, чтобы она сама себя не узнала. Мне это не слишком-то удалось, и мое проклятое «я» следует за мной по пятам; нет никакого способа от него отделаться: не могу же я передать ему, как другим докучливым знакомым, что меня нет дома или что я уехал в деревню.

Я обладал моей любовницей во время купания и всласть наигрался в Тритона. Море изображал просторный мраморный бассейн. Что до Нереиды, то воде, даром что она была отменно прозрачна, досталось немало упреков: зачем она не хочет быть еще прозрачнее и, являя столь многое, скрывает часть — пускай и небольшую — столь совершенной красоты... Я обладал ею в ночи, при лунном свете, в гондоле, под звуки музыки. В Венеции это было бы в порядке вещей, здесь дело другое... В ее карете, мчавшейся во весь опор, под стук колес, среди тряски и толчков, то в свете уличных фонарей, то утопая в

крошечной тьме... В этом способе есть изюминка, советую тебе его испробовать; впрочем, я забыл, что ты у нас почтенный патриарх и не увлекаешься подобными изысками. Я забираюсь к ней через окно, хотя в кармане у меня лежал ключ от двери. Я привозил ее к себе домой среди бела дня и настолько навредил ее репутации, что теперь уже ни одна живая душа (кроме меня, разумеется) не усомнится в том, что она моя любовница.

Главным образом за все эти выдумки, которые, не будь я так молод, выглядели бы ухищрениями пресыщенного развратника, Розетта меня и обожает, причем куда сильнее, чем кого бы то ни было. Она усматривает в них горячку необузданной любви, над которой ничто не властно и которая готова вспыхнуть в любое время и в любом месте. Она усматривает в них беспрестанное торжество своих чар и вечную победу своей красоты, а я, видит Бог, хотел бы, чтобы она была права, и если она заблуждается, то признаем по справедливости, не я в том виноват, да и не она тоже.

Единственная моя вина перед ней состоит в том, что я — это я. Скажи я ей об этом, и малютка мигом возразит, что это в ее глазах как раз наибольшая моя заслуга, и в ее возмущении будет больше великодушия, нежели смысла.

Однажды — это было в самом начале нашей связи — мне показалось, что я достиг цели: на миг я поверил, что люблю, — я и в самом деле любил... О, друг мой, только в тот миг я и жил на свете, и если бы он растянулся на час, я стал бы равен богам. Мы с ней отправились на верховую прогулку, я — на своем Феррагусе, она — на белоснежной кобылке, похожей на единорога тонкими ногами и гибкой шеей. Мы ехали по широкой аллее, окаймленной вязами фантастической высоты; над нами клонилось к закату теплое золотистое солнце, процеженное сквозь просветы в листве; тут и там среди барашковых облаков проблескивал аквамарин небосвода, который был выстлан широкими полосами бледно-голубого цвета, переходившего в неописуемо нежный зеленый, когда на него накладывались оранжевые тона заката. Небо было необыкновенной, чарующей красоты; ветерок доносил щ нас более чем восхитительный аромат неведомых полевых цветов. Время от времени с ветки срывалась какая-нибудь птица и со щебетом перелетала через аллею. В деревушке, которой нам было не видать, колокол тихо звонил к вечер, ней молитве, и серебристые звуки, приглушенные расстоянием, звенели бесконечной нежностью. Наши лошади шли шагом, бок о бок, голова к голове. Сердце мое было полно до краев, душа рвалась из тела на волю. Отродясь я не был так счастлив. Я молчал, Розетта тоже, но никогда прежде между нами не царило такое понимание. Мы ехали так близко друг к другу, что нога моя касалась бока ее лошади. Я наклонился к Розетте и обнял ее за талию, она тоже наклонилась ко мне и уронила голову мне на плечо. Наши уста сблизились — и что это был за чистый и сладостный поцелуй! Лошади наши шли себе вперед с отпущенными поводьями. Я чувствовал, как рука Розетты все слабеет, а стан изгибается. Я и сам еле держался в седле и был близок к обмороку. Ах, уверяю тебя, что в этот миг я вовсе не думал — я это или не я. Мы доехали до конца аллеи, как вдруг послышался стук копыт, заставивший нас отпрянуть друг от друга; то были наши знакомые, тоже верхами; они подъехали ближе и заговорили с нами. Будь при мне пистолет, я бы, наверное, их застрелил.

Я смерил их угрюмым и ненавидящим взглядом, который, должно быть, их озадачил. В сущности, напрасно я рассердился: ведь они, сами того не желая, оказали мне услугу, прервав мое наслаждение в той самой точке, в тот самый миг, когда оно, дойдя до своего предела, грозило превратиться в боль или истаять от собственной чрезмерности. Искусство остановиться вовремя редко удостоивается того почтения, коего заслуживает. Бывает, что вы лежите в постели с женщиной, которая покоится у вас на руке: поначалу вы наслаждаетесь жарким теплом, исходящим от нее, нежным прикосновением ее спины и гладких, как слоновая кость, боков, ваша ладонь покоится на ее груди, которая вздымается

и трепещет. В этой доверчивой, прелестной позе красавица засыпает; изгиб ее спины распрямляется; грудь колыхнется тише, о сне она дышит глубоко и мерно, все ее тело расслабляется, голова запрокидывается назад. Между тем вашей руке становится тяжелее: вы обнаруживаете, что рядом с вами все таки женщина, а не сифида, но вы ни за что на свете не уберете руки; на то есть много причин: во-первых, будить женщину, с которой делишь ложе, довольно опасно, следует быть готовым взамен восхитительного сна, который ей наверняка снится, предложить ей еще более восхитительную явь; во-вторых, когда вы просите ее привстать, чтобы освободить вашу руку, вы тем самым или намекаете, что ваша дама тяжела и обременяет вас — а это неучтиво, — или признаетесь, что сами вы слабосильны и утомлены — а это для вас унижительно и может изрядно повредить вам в ее глазах; в-третьих, поскольку вы испытали наслаждение именно в этой позе, вы надеетесь, что, если не перемените ее, наслаждение вернется, и в этом вы заблуждаетесь. Бедную руку все сильнее гнетет тяжесть придавившего ее тела, она вся затекла, нервы того и жди надорвутся, в кожу вам словно вбиваются тысячи мелких иголок: вы уподобились Милону Кротонскому, а перина и спина вашей дамы — это те самые две половинки дерева, которые его сжимают. Наконец занимается день, избавляющий вас от этой пытки, и вы соскакиваете с вашей дыбы с таким облегчением, какого не знавал ни один муж, спускавшийся с супружеского эшафота. Так оно бывает со многими страстями. Так оно бывает со всеми радостями жизни. Не знаю уж, вопреки помехе или, может быть, благодаря ей, но я испытал тогда такую негу, которая никогда более ко мне не возвращалась: я и впрямь чувствовал себя другим человеком. Душа Розетты вся целиком перешла в мою плоть. Моя душа проникла в ее сердце, а ее душа — в мое. Наверняка по дороге они повстречались в том долгом поцелуе, который Розетта потом назвала «конным» (в скобках замечу, что меня это рассердило), и мы так тесно приникли и припали друг к другу, как только возможно двум смертным душам на утлом и бренном комочке грязи.

Я уверен: именно так целуются ангелы, и рай на самом деле следует искать не на небе, а на устах любимой женщины.

Я тщетно ждал повторения той минуты и безуспешно пытался ее вернуть. Мы нередко пускались в верховые прогулки по парковым аллеям во время прекрасных закатов; деревья были покрыты все той же зеленью, птицы распевали ту же песню, но солнце казалось нам тусклым, листва пожелтелой, птичье пение представлялось нам пронзительным и немелодичным, а в нас самих не стало былой гармонии. Как-то мы пустили лошадей шагом и попытались возобновить давнишний поцелуй. Но прекрасный, несравненный, божественный поцелуй, единственный настоящий поцелуй в моей жизни улетучился навсегда. С того дня я всякий раз возвращаюсь из парка с невыразимой печалью в душе. Розетта, обычно такая веселая и шаловливая, тоже не может отделаться от этого впечатления и погружается в задумчивость, заставляющую ее морщить личико в забавной гримасе, которая, впрочем, ничем не хуже ее улыбки.

И только винные пары да яркое пламя свечей помогают мне очнуться от меланхолии. Мы пьем с нею вдвоем, словно приговоренные к смерти, — молча, бокал за бокалом, пока не достигнем того состояния, которое нам нужно; тогда мы принимаемся хохотать и от души издеваться над нашей так называемой сентиментальностью.

Мы смеемся, потому что не можем плакать. Да и какая сила прорастит росток слезы на дне моих иссякших глаз?

Почему в тот вечер я испытал такое наслаждение? Мне очень трудно это объяснить. Я был все тот же, Розетта — та же. Я не в первый раз отправился на верховую прогулку, она — тоже. Мы и раньше видали закат солнца, и он трогал нас не сильнее, чем созерцание какой-нибудь картины, которая пленяет яркостью и чистотой красок. В мире немало

вязовых и каштановых аллей, и та аллея была не первая, которую мы миновали в жизни; кто повелел, чтобы именно в ней мы угодили под власть такого очарования, кто превратил увядшие листья в топазы, свежую зелень — в изумруды, кто позолотил пляшущие в воздухе пылинки и превратил в жемчуг все эти капельки влаги, рассыпанные по лугу, кто сообщил нежную мелодичность колокольному звону, обычно та кому нестройному, и пisku Бог весть каких пичуг? Наверное, в самом воздухе была разлита поэзия, перед которой невозможно устоять: казалось, ее чувствовали даже наши лошади.

А ведь картина была такая пасторальная, такая простая: несколько деревьев, несколько облаков, пять-шесть стебельков тимьяна, женщина да луч солнца, прочертивший все это наискосок, как золотая перевязь прочерчивает все поле герба. Впрочем, к моим чувствам не примешивалось ни удивление, ни внезапная оторопь. Я узнавал все, что видел. Прежде я никогда здесь не бывал, но прекрасно помнил и форму листьев, и расположение облаков, и ту белую голубку, что пересекала небесную синеву, летя в ту же сторону, что и мы; серебряный колокольчик, который я слышал впервые, много раз уже звенел у меня в ушах, и голос его казался мне голосом друга; никогда прежде здесь не бывая, я уже много раз проезжал по этой самой аллее вместе с принцессами, восседавшими на единорогах; самые мои сладострастные мечты прогуливались здесь каждый вечер, и мои желания обменивались здесь поцелуями, точь-в-точь как мы с Розеттой. В том поцелуе не было для меня никакой новизны: он был совершенно такой, каким я воображал его заранее. Быть может, единожды в жизни я не был разочарован, и действительность показалась мне прекрасна, как идеал. Если бы я мог отыскать женщину, пейзаж, здание — что-нибудь, что отвечало бы моим заветным желаниям с такой точностью, как та минута отвечала минуте, о которой я мечтал, — тогда мне не в чем было бы завидовать богам, и я бы с большим удовольствием отказался от положенного мне места в раю. Но на самом деле мне кажется, что существо из плоти и крови просто не может, хотя бы в течение часа, вынести столь пронзительное наслаждение: два таких поцелуя, как тот, выпьют из человека всю жизнь до капли и полностью опустошат его душу и тело. Меня бы не остановило это соображение: раз уж я не могу длить свою жизнь до бесконечности, тогда и смерть мне безразлична; предпочитаю умереть от неги, чем от старости скуки.

Но этой женщины нет на свете! Впрочем, отчего же, есть-быть может, меня отделяет от нее тонкая перегородка; быть может, вчера или сегодня я задел ее локтем.

Чего недостает Розетте, чтобы оказаться этой самой женщиной? Ей недостает моей веры в то, что она — это она, чего судьбе угодно, чтобы я вечно прилеплялся к женщинам которых не люблю? Шея у Розетты такая гладкая, что ее смело можно украсить ожерельями самой искусной работы-пальцы у нее такие тонкие, что окажут честь самым красивым и дорогим перстням; рубин зардеется от удовольствия украсить собой алую мочку ее изящного уха; на ее талии сойдется и Венерин пояс; но никто, кроме Амура, не умеет повязать вам глаза повязкой его матери.

Все достоинства Розетты — при ней, я ничего ей не прибавил. Я не окутывал ее красоты покрывалом совершенства, которым любовь прикрывает любимое существо, — рядом с ним и покрывало Изиды покажется совершенно прозрачным. И только пресыщение смеет приподнять краешек этой плотной завесы.

Я не люблю Розетту, а если и люблю, то моя любовь к ней не похожа на то, как я воображал себе любовь. В конце концов, возможно, воображение меня обмануло. Не смею вынести окончательное суждение. Как бы то ни было, из-за нее я стал совершенно равнодушен к прелестям прочих женщин и с тех пор, как обладаю ею, ни разу мало-мальски настойчиво не пожелал никакой другой. Она могла бы приревновать меня разве что к призракам, а призраки мало ее беспокоят, хотя моя фантазия — и в самом деле

наиболее опасная ее соперница; впрочем, Розетта, при всей своей чуткости, скорее всего, никогда этого не заметит.

Если бы женщины знали! Как часто самый преданный любовник изменяет самой обожаемой возлюбленной! Можно предположить, что женщины платят нам тою же монетой, и с лихвой, но они, точно так же, как мы, об этом помалкивают. Любовница — это навязанная тема, которая обыкновенно растворяется в отступлениях и выкрутасах. Сплошь рядом поцелуи, которые она принимает, предназначены во все не ей; в ее лице лобзают другой женский образ, и ей то и дело перепадают блага (если это можно считать благами) от вожделений, внушенных другой женщиной. Ах, сколько раз, бедная Розетта, ты служила телесным воплощением моей мечте и замещала собою соперниц; скольких измен ты была невольной сообщницей! Если бы в те минуты, когда мои руки с такой силой тебя обнимали, а мои губы так тесно, как только возможно, приникали к твоим, ты могла помыслить, что и твоя красота, и твоя любовь тут ни при чем, что твой образ отдален от меня за тысячу лье; если бы тебе сказали, что глаза мои, затуманенные любовной негой, смыкаются лишь для того, чтобы не видеть тебя и не рассеивать иллюзию, которой ты служила всего-навсего дополнением, и что ты оставалась не более чем орудием сладострастия, средством обмануть вожделение, которое невозможно утолить!

О, небесные создания, прекрасные девственницы, хрупкие и прозрачные, что опускаете долу фиалковые глаза и складываете лилейные руки для молитвы на золотом фоне картин старых немецких мастеров; святые с витражей, мученицы с заставок в требниках, что улыбаются так ласково между завитками арабесок и, такие белокурые, такие свежие, выглядываете из-под цветочных гирлянд орнамента; вы, прекрасные куртизанки, чья нагота прикрыта лишь разметавшимися прядями волос, возлежащие на усыпанных розами кроватях под пышными пурпурными занавесями, в браслетах и ожерельях из крупного жемчуга, с веерами и зеркалами, которые закат испещрил в сумерках огненными блестками, и вы, смуглые девы Тициана, что с такой сладострастной негой являете нам свои волнующие бедра, упругие крепкие ляжки, гладкие животы и гибкие мускулистые спины; античные богини, вы, что белыми призраками выситесь под сенью садов, — все вы принадлежите к моему сералю, Все вы, одна за другой, перебивали в моих объятиях. Святая Урсула, я целовал тебе руки, притворяясь, будто целую руки Розетты; я играл с черными кудрями прекрасной уроженки Мурано — то-то пришлось Розетте потрудиться потом, чтобы расчесать свои локоны! — девственная Диана, я был тебе ближе, чем Актеон, и вовсе не превратился в оленя: я заменил тебе прекрасного Эндимиона! Сколько соперниц, которым невозможно противиться и нельзя отомстить! А ведь они даже не всегда запечатлены на полотне или в камне!

Женщины, когда вы замечаете, что возлюбленный ласкает вас нежнее обычного, обнимает более страстно, чем всегда, когда он прячет лицо у вас в коленях, а потом, подняв голову, глядит на вас увлажнившимся, блуждающим взглядом; когда наслаждение лишь распаляет его желание, когда он поцелуями заставляет вас умолкнуть, словно боясь услышать ваш голос, — не сомневайтесь: он понятия не имеет о том, что вы здесь; в этот миг он лицезрит свою несбыточную мечту, а вы лишь придаете ей плоть и кровь, исполняете ее роль. Немало горничных насладились любовью, внушенной королевами. Немало женщин насладились любовью, внушенной богинями, а весьма заурядная действительность нередко становилась пьедесталом для идеального идола. Вот почему поэты обычно избирают возлюбленных из числа жалких замарашек. Можно десять лет кряду спать с женщиной и так и не увидеть ее ни разу — такое случалось со многими гениальными людьми, чьи связи с низкими или ничтожными женщинами дивили весь свет.

Все мои измены по отношению к Розетте были только в этом роде. Я предавал ее только ради картин и статуй, и она была замешана в этих изменах наравне со мной. На совести у меня нет ни одного телесного предательства, в котором бы я мог себя упрекнуть. В этом смысле я чист, как белые снега Юнгфрау; а все-таки, хотя я ни в кого не влюблен, мне хотелось бы влюбиться. Я не ищу случая, но не огорчусь, если он представится; а если бы он представился, я бы, возможно, и не воспользовался им, ибо в глубине души убежден, что с другой женщиной у меня все было бы точно так же; и пускай уж это будет Розетта, а не другая, поскольку, если отвлечься от женщины, у меня, по крайней мере, остается славный товарищ, остроумный и чарующе безнравственный, и это соображение удерживает меня далеко не в последнюю очередь, ибо, утратив любовницу, я был бы очень огорчен утратой друга.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Знаешь ли ты, что вот уже пять месяцев, да, ровно пять, все равно что пять вечностей, минуло с тех пор, как я стал присяжным Селадомом при госпоже Розетте? Это до того прекрасно, что не выразить словами. Никогда бы не подумал, что способен на такое постоянство; держу пари, она тоже. Мы точь-в-точь пара ошипанных голубков, потому что и голуби способны так нежничать. То-то мы поворковали! То-то нацеловались! А как мы льнули друг к другу в объятиях! Мы жили только друг для друга! Это было трогательно донельзя, и два наших сердечка можно было бы, окружив рамочкой, изобразить в виде орнамента, нанизанные на единый вертел и охваченные одним и тем же неумным пламенем.

Пять месяцев мы провели, в сущности, наедине: виделись каждый день, почти каждую ночь и держали дверь на запоре от любых гостей — при одной мысли об этом мурашки бегут по коже! Но нет! К чести несравненной Розетты должен признать, что я даже почти не скучал, и это время наверняка останется самым приятным, какое мне выпало в жизни. По-моему, человека, вовсе не охваченного страстью, невозможно было бы занимать и увеселять усерднее, чем это делала она, а ведь маета и скука, проистекающие от сердечной опустошенности, воистину ужасны! Поначалу свои выдумки она черпала из ума, потом — из сердца, потому что в любви ко мне Розетта доходит до обожания. С каким искусством ловит и раздувает она в пожар каждую искру! Как ловко направляет еле заметные душевные движения! Как обращает томность и вялость в нежную мечтательность! А сколько отыскивает окружающих дорожек, чтобы вновь и вновь приманить к себе исчезнувшее вдохновение! Воистину чудеса! И я преклоняюсь перед ее несравненной гениальностью.

Я приходил к ней в отвратительном, угрюмом настроении, я искал ссоры. Не знаю, как это удавалось моей колдунье, но спустя несколько минут она уже понуждала меня рассыпаться в любезностях, к которым я вовсе не был расположен, целовать ей руки и хохотать от всего сердца, несмотря на душившую меня ярость. Кто и когда видывал подобную тиранию? Но при всем искусстве этой женщины наше с ней уединение не может долее продолжаться, и в последние две недели мне довольно-таки часто случалось открывать книги, лежащие на столе, чего я прежде никогда не делал, и прочитывать по несколько строчек, заполняя паузы в разговоре. Это не укрылось от Розетты: она непритворно всполошилась и велела унести из своего кабинета все книги. Признаться, я сожалею о них, хоть и не смею попросить, чтобы их вернули на место. В другой раз — тревожный симптом! — когда мы сидели с ней, пожаловал один знакомый, и я, вместо того чтобы разъяриться, как это бывало вначале, слегка обрадовался. Я обошелся с ним

почти любезно: я поддерживал разговор, в котором Розетта, желая, чтобы этот господин поскорее ушел, почти не участвовала, а когда он откланялся, заметил, что он вовсе не глуп и что общество его весьма приятно. Розетта напомнила мне, что два месяца тому назад я объявил именно этого человека круглым дураком и несноснейшим болтуном на свете, и мне нечего было возразить: я в самом деле так говорил; впрочем, вопреки кажущемуся противоречию, я был прав, потому что в первый раз он прервал упоительное свидание, а во второй — пришел на помощь вялой и затухающей (по моей вине) беседе и избавил меня от необходимости разыгрывать сцену нежности, что было бы мне в тот день весьма обременительно.

Вот таковы наши дела; это печально, особенно в тех случаях, когда один из двоих еще влюблен и безнадежно цепляется за остатки любви, сохранившиеся у другого. Я в большом затруднении. Не любя Розетту, я очень к ней привязан и ни за что не желал бы причинить ей боль. Я хочу как можно дольше поддерживать в ней веру в мою любовь.

Я хочу этого из благодарности за то, что с ней я воспарил высоко над землей, за любовь, которую она дарила мне в обмен на удовольствие. Я буду ее обманывать, но разве блаженный обман не лучше мучительной правды? Ведь у меня никогда не достанет духу сказать ей, что я не люблю. Тщетный призрак любви, которым она тешится, так мил и дорог ей, она так упоенно и порывисто ласкает эту бледную иллюзию, что я не смею ее разрушить; боюсь, однако, как бы в конце концов Розетта не заметила, что это всего лишь химера. Нынче утром у нас был разговор, который я для пущей точности передам в драматургической форме; он внушает мне опасения, что наша связь долго не протянется.

Сцена представляет собой постель Розетты. Сквозь занавески пробивается луч солнца; около десяти утра. Розетта замерла, боясь меня разбудить, ибо голова моя покоится у нее на руке. Время от времени она слегка приподнимается на локте и, затаив дыхание, заглядывает мне в лицо. Я вижу все это сквозь завесу ресниц, ибо проснулся уже час назад. Мехельнские кружева, которыми обшит ворот ее сорочки, разорваны в клочья: ночь была бурной; волосы Розетты беспорядочно выбиваются из-под чепчика. Она прелестна, как только может быть прелестна женщина, которую вы не любите и с которой спите.

Розетта (заметив, что я уже не сплю). Ах вы гадкий, соня!

Я (зевая). А-ааа!

Розетта. Не смейте так зевать, не то я целую неделю не буду вас целовать.

Я. Уф!

Розетта. Сдается мне, сударь, вы не слишком нуждаетесь в моих поцелуях?

Я. Да нет, отчего же.

Розетта. С какой непринужденностью вы это говорите! Ну, ладно; можете рассчитывать, что с нынешнего дня я ровно неделю не коснусь вас даже краешком губ. Сегодня вторник, итак, до следующего вторника.

Я. Полноте!

Розетта. Что значит «полноте»?

Я. Это значит «полноте». Ты поцелуешь меня еще до вечера или я умру.

Розетта. Умрете! Какой фат! Сударь, я вас избаловала.

Я. Ну, не умру. И я не фат, и ты меня не избаловала, совсем наоборот. Прежде всего, избавь меня от этого «сударь»; ты довольно со мной знакома, чтобы звать по имени и на «ты».

Розетта. Я тебя избаловала, д'Альбер!

Я. Ладно. А теперь подставь-ка губы.

Розетта. Нет, в будущий вторник.

Я. Да будет тебе! Что ж, нам теперь ласкать друг друга, не выпуская из рук календаря? Для этого мы оба слишком молоды. Ну, давай сюда губы, моя инфанта, а не то я из-за тебя сверну себе шею набок.

Розетта. Ни за что.

Я. А, милочка, вам угодно, чтобы над вами учинили насилие. Черт побери, будет вам насилие! Сие не представляет никакого труда, хоть, быть может, вы еще не испытали этого на себе.

Розетта. Каков наглец!

Я. Заметь, красавица моя, из чистой любезности я все-таки прибавил «быть может», и это весьма учтиво с моей стороны. Но мы отклонились от темы. Нагни голову. Ну, что за фокусы, моя любимая султанша? Что это у нас за угрюмая гримаска? Мне больше нравится целовать улыбчивые губки, чем надутые.

Розетта (наклонясь, чтобы меня поцеловать). И ты еще хочешь, чтобы я улыбалась? А сам говоришь мне такие грубости.

Я. На самом деле я хочу говорить тебе только нежности. С чего ты взяла, что я говорю тебе грубости?

Розетта. Но вы в самом деле мне грубите.

Я. Ты принимаешь за грубости ничего не значащие шутки.

Розетта. Ничего не значащие! По-вашему, они ничего не значат? В любви они значат все! Поймите, по мне, лучше бы вы меня били, чем так надо мной смеяться.

Я. А тебе было бы приятнее, чтобы я плакал?

Розетта. Вы из одной крайности кидаетесь в другую, никто вас не просит плакать, вас просят не говорить глупостей и не напускать на себя этот насмешливый вид, который вам совсем не к лицу.

Я. Я не в силах не говорить глупостей и не насмехаться, значит, придется мне тебя прибить, коль скоро это тебе по вкусу.

Розетта. Приступайте.

Я (несколько раз легонько шлепнув ее по плечам). Лучше я дам отрубить себе голову, чем нанесу урон столь обожаемому телу и разукрашу синяками белизну твоей прелестной спины. Моя богиня, какое бы удовольствие ни доставляли женщинам колотушки, право же, вы этого от меня не дождетесь.

Розетта. Вы меня разлюбили.

Я. Это замечание совершенно не вытекает из предыдущего; в нем столько же логики, как если сказать: «Идет дождь, поэтому не давайте мне зонтика», или: «На улице холодно, откройте же окно».

Розетта. Вы меня больше не любите, вы никогда меня не любили,

Я. Ну вот, еще того лучше: вы меня больше не любите и вы никогда меня не любили. Это уже полное противоречие. Как я могу больше не делать того, чего я и не делал никогда? Вот видишь, милая моя повелительница, ты сама не знаешь, что говоришь, и в голове у тебя гуляет ветер.

Розетта. Мне так хотелось, чтобы вы меня любили, что я сама помогала себе обмануться. Мы охотно верим в то, что нам желанно; но теперь мне ясно, что я обманулась. Вы и сами обманулись: влечение вы приняли за любовь, вожделение за страсть. Такое случается сплошь и рядом. Я на вас не сержусь: то, что вы не влюблены, зависело не от вас; мне следует обижаться на самое себя за то, что мне недостает обаяния. Мне следовало быть красивее, бойчее, кокетливее; я должна была приложить усилия, чтобы подняться до тебя, мой поэт, а не принижать тебя до себя; я опасалась потерять тебя в заоблачных высях и побоялась, как бы твой ум не похитил у тебя моего сердца. Я заточила тебя в моей любви и, предавшись тебе без остатка, понадеялась, что ты будешь мною хоть немного дорожить...

Я. Розетта, отодвинься немножко, твое бедро меня обжигает, ты горяча, как печка.

Розетта. Если я вам мешаю, я могу встать. Ах ты, каменное сердце, капли воды насквозь долбят гранит, а мои слезы не в силах тебя смягчить.

Я. Если вы будете так рыдать, наша постель того и гляди превратится в ванну. Да что ванна! — в океан! Розетта, вы умеете плавать?

Розетта. Злодей!

Я. Ну, вот я уж и злодей! Вы мне льстите, Розетта, я не заслужил такой чести. Увы, я добродушный обыватель и не совершил в жизни ни единого преступления. Я, может быть, сотворил глупость, когда влюбился в вас до безумия, вот и все. Неужели вы во что бы то ни стало хотите, чтобы я раскаялся в этом? Я вас любил и люблю так сильно, как только умею. С тех пор, как я сделался вашим любовником, я следую за вами, словно тень; я посвятил вам все свое время, все дни и ночи. Я не говорил вам никаких громких слов, потому что они нравятся мне только в книгах, но я тысячу раз давал вам доказательства моей нежности. Уж не буду говорить о самой неукоснительной верности: это само собой разумеется; наконец, я похудел почти на два фунта с тех пор, как заключил с вами любовный союз. Чего вам еще? Вот я у вас в постели, я был здесь вчера, буду завтра. Разве так обращаются с женщинами, которых не любят? Я делаю все, что ты хочешь; ты говоришь: пойдем — и я иду, говоришь: останемся! — и я остаюсь; сдается мне, что я самый безупречный поклонник на свете.

Розетта. Вот на это я и сетую: вы самый образцовый поклонник на свете.

Я. В чем же вы меня упрекаете?

Розетта. Ни в чем, но, по мне, уж лучше бы вы давали поводы для жалоб.

Я. Какая странная ссора.

Розетта. Дело гораздо хуже. Вы меня не любите. Я ничего не могу с этим поделать, вы тоже. Да и что тут поделаешь? Я бы и в самом деле предпочла, чтобы мне пришлось простить вам какое-нибудь прегрешение. Я бы вас разбранила, вы бы с грехом пополам оправдались, и мы бы помирились.

Я. И ты бы оказалась в выигрыше. Чем ужаснее было бы мое преступление, тем грандиознее мне пришлось бы измыслить способ, чтобы его загладить.

Розетта. Как вам известно, сударь, я еще не дошла до того, чтобы прибегать к этому средству, хотя, поскольку вы меня не любите, я только что хотела поссориться с вами...

Я. Да, понимаю, ты хотела этого исключительно из милосердия... Изволь, все лучше, чем рассуждать до умопомрачения, как мы сейчас.

Розетта. Вам угодно положить конец разговору, который вам в тягость, и все же, прошу вас, любезный друг, удовольствоваться беседой.

Я. Это удовольствие нам по средствам. Уверяю тебя, что ты заблуждаешься: ты несравненно хороша собой, и я питаю к тебе чувства, которые...

Розетта. ...Которые выскажете как-нибудь в другой раз.

Я. Ну, знаете, моя обожаемая, вы просто гирканская тигрица, вы сегодня жестоки, как никогда! Кажется, вас обуял зуд стать весталкой? Оригинальная причуда, нечего сказать!

Розетта. Почему бы и нет? Бывают и более странные причуды; но для вас я наверняка превращусь в весталку. Знайте, сударь, что я принадлежу лишь тому, кто меня любит или о ком я думаю, что он меня любит. Вас я не причисляю ни к той, ни другой категории. Дайте мне встать.

Я. Если ты встанешь, я тоже встану. Тебе придется потом лечь обратно, вот и все.

Розетта. Пустите!

Я. Нет, черт побери!

Розетта (отбиваясь). Ну, вы меня не удержите!

Я. Смею, сударыня, заверить вас в обратном.

Розетта (убедившись, что уступает мне в силе). Ну, хорошо, остаюсь! Вы мне руку стиснули... Что вам от меня надо?

Я. Полагаю, вам это известно. Я не позволю себе назвать то, что позволяю себе делать: мне слишком дороги приличия.

Розетта (чье сопротивление слышимо). Сдаюсь... при условии, что ты будешь очень меня любить.

Я. Ну, ты опоздала с капитуляцией, поскольку враг уже взял крепость.

Розетта (в изнеможении обвивая мне шею руками). Безо всяких условий... сдаюсь на твою милость...

Я. И правильно делаешь.

Далее, мой милый друг, будет, пожалуй, более чем уместно поставить многоточие длиной в целую строчку, ибо конец этого диалога можно передать лишь ономастопеями.

За время, истекшее с начала этой сцены, солнечный луч успел обежать всю комнату. Из сада доносится сладкий и густой аромат цветущих лип. Погода несказанно хороша; небо лазурно, как глаза англичанки. Мы встаем, завтракаем с большим аппетитом, а затем отправляемся в долгую загородную прогулку. Воздух так прозрачен, поля так великолепны, и вся природа так ликует, что в душе у меня просыпается особая чувствительность, даже нежность; и вот уже Розетта готова признать, что я бессердечен не более, чем всякий другой.

Не доводилось ли тебе замечать, как сень лесов, лепет ручья, птичье пение, безмятежные дали, ароматы листвы и цветов, весь этот набор, заимствованный из эклог и описаний природы, все то, над чем у нас принято потешаться, все же сохраняет над нами, при всей нашей испорченности, таинственную власть, устоять перед которой невозможно? Признаюсь тебе под самым строгим секретом, что совсем недавно умилялся, как последний провинциал, слушая пение соловья. Это было в *** саду; уже совсем стемнело, но небо оставалось почти такое же светлое, как самым лучезарным днем; оно казалось таким глубоким и прозрачным, что взгляд легко проникал сквозь толщу воздуха к самому Богу. Мне казалось, что я вижу края складчатых ангельских одеяний на белых излучинах дороги святого Иакова. Луна взошла, но ее загораживало от меня большое дерево. Его черная крона была пронизана миллионами крохотных светящихся щелок и усыпана блестками гуще, чем веер маркизы. Сад дышал тишиной, полной звуков и приглушенных вздохов (быть может, это отдает напыщенностью, но я не виноват); я видел только голубой лунный свет, но мне казалось, что меня облупила целая толпа незнакомых прелестных призраков, и я не чувствовал себя в одиночестве, хотя на террасе не было никого, кроме меня. Я ни о чем не думал и не мечтал, я слился с природой, окружавшей меня, и чувствовал, что дрожу вместе с листвой, блещу вместе с водой, горю вместе с лучом, расцветаю вместе с цветком; я был собой не более, чем деревом, водой или кустиком ночной красавицы. Я превратился во все это, и едва ли возможно было сильнее уйти от самого себя, чем я в этот миг. Вдруг, словно в саду готовилось нечто чрезвычайное, лист замер на конце ветки, капля воды из ручья, не падая, застыла в воздухе. Серебристый лучик, протянувшийся от края луны, остановился в своем движении; и только мое сердце стучало так гулко, что казалось, наполняло шумом все пространство. Но сердце унялось, и установилась такая тишина, что можно было бы расслышать рост травы и слово, которое совсем тихо вымолвили за две сотни лье. Тогда соловей, по-видимому, ожидавший этого мига, чтобы запеть, исторг из своего горлышка такую пронзительную звонкую ноту, что я услышал ее больше грудью, чем ушами. Этот звук мгновенно разлился в безмолвном хрустальном небе и наполнил его гармонической стихией, в которую ворвались другие ноты — порхающие, крылатые, воздушные. Я превосходно понимал соловья, словно владел секретом птичьего языка. Он пел историю любви, которой у меня никогда не было. Это была самая точная и правдивая история на свете. Он не пропускал ни мельчайшей подробности, ни едва уловимого нюанса. Он говорил мне то, чего я не мог сказать себе сам, объяснял то, чего я не умел понять; он дарил голос моей мечте и добивался ответа у призрака, дотоле безгласного. Я знал, что я любим, и самая томительно-изошренная из рулад поведала мне, что скоро я буду счастлив. Мне чудилось, что сквозь трели его песни, под ливнем музыкальных нот ко мне в лунном луче тянутся белые руки моей возлюбленной. Вместе с ароматом она медленно поднималась из сердцевины пышной розы о ста лепестках. Не буду пытаться описать тебе ее красоту. Не все можно выразить словами. Как высказать несказанное? Как запечатлеть то, у чего нет ни формы, ни цвета? Как передать голос без тембра и слов? В сердце у меня никогда еще не было столько любви, я готов был прижать к груди всю природу. Я заключил бы в объятия пустоту, словно девичий стан; и я целовал воздух, витавший вокруг моих губ; я витал в электрическом поле, которое излучало мое тело. Ах, если бы Розетта была рядом! Какую пленительную чепуху наговорил бы я ей! Но женщины не умеют появляться кстати. Соловей допел свою песню; луна, сморенная сном, надвинула

себе на глаза ночной чепец из облаков, и я ушел из сада, потому что меня начала пробирать ночная прохлада.

Поскольку я замерз, то, естественно, рассудил, что в постели Розетты согреюсь лучше, чем в своей собственной, и отправился спать к ней. Я отпер дверь своим ключом, потому что в доме все спали. Розетта тоже уснула, причем, как обнаружил я с удовольствием, уснула она над неразрезанным томиком моих стихов. Она закинула обе руки за голову, ее полуоткрытые губы улыбались, одну ногу она вытянула, другую слегка поджала, и покоилась в грациозной и небрежной позе; она была так хороша, что меня кольнуло жгучее сожаление, что я не могу любить ее сильнее.

Глядя на нее, я думал, что глуп, как пень. У меня есть то, о чем я так долго мечтал, — любовница, которая, как лошадь или шпага, принадлежит мне безраздельно, — юная, прекрасная, влюбленная и остроумная, без мамы, проникнутой твердыми принципами, без отца, увешанного орденами, без неговорчивой тетки, без брата-забияки, и притом ещё с таким невыразимо приятным дополнением, как муж, должным образом закупоренный и заколоченный в прекрасный дубовый гроб на свинцовой подкладке и сверху придавленный огромным обтесанным камнем, — обстоятельство, коим тоже не следует пренебрегать, ибо, в конечном счете, не так уж весело, когда вас настигают в разгар сладострастных судорог и ваши ощущения довершаются на мостовой, после дота по дуге градусов этак сорок — сорок пять, смотря по тому, с какого этажа вас выкинули; любовница, свободная, как горный ветер, и достаточно богатая, чтобы следовать самым изысканным и утонченным ухищрениям моды, не обремененная к тому же ни малейшими убеждениями по части нравственности, никогда не толкующая вам во время поисков новой позы ни о своей добродетели, ни о своем добром имени, даже, если когда-то и было у нее доброе имя, не имеющая ни одной близкой подруги и презиравшая всех женщин почти до такой степени, как если бы она сама была мужчиной; ни во что не ставящая платоническую любовь и не делающая из этого никакого секрета, но притом никогда не заглушающая в себе голос сердца; женщина, которая, оказись она в другой среде, непременно стала бы самой восхитительной куртизанкой на свете, и ее слава затмила бы славу всех Аспазий и Империй.

И эта женщина — моя. Я делаю с ней все, что хочу; у меня ключ от ее спальни и секретера; я распечатываю ее письма, я отнял у нее имя и дал ей другое. Она — моя вещь, моя собственность. Ее молодость, ее красота, ее любовь — все это принадлежит мне, я пользуюсь и злоупотребляю этим. Если мне придет охота, я заставляю ее ложиться днем и вставать ночью и она повинуетя без лишних слов, не притворяясь, будто приносит мне жертву, и не строя из себя смиренную страдальицу. Она внимательна, ласкова и, что совсем уж чудовищно, безукоризненно мне верна; словом, если бы полгода тому назад, когда я так горевал, что у меня нет любовницы, мне показали такое совершенство, хоть издали, хоть в щелочку, — я бы сошел с ума от радости и в знак ликования подкидывал бы шляпу до небес. И что же? Теперь, когда я обладаю этим счастьем, оно оставляет меня холодным; я его почти не чувствую, да и вовсе не чувствую; мое нынешнее Положение так мало на мне сказывается, что часто я сомневаюсь, изменилось ли хоть что-нибудь. Если я брошу Розетту, то глубоко убежден, что спустя месяц, а может быть, и раньше, забуду ее начисто, целиком, так что даже и не вспомню, знал я ее или нет! А она — тоже забудет меня? Думаю, что нет.

Пока я размышлял надо всем этим, во мне шевельнулось чувство, похожее на раскаяние, и я запечатлел на лбу спящей красотки самый целомудренный, самый нежный, самый меланхолический поцелуй, какой только может подарить молодой человек своей возлюбленной в час, когда бьет полночь. Она слегка повернулась; на ее губах яснее обозначилась улыбка, но она не проснулась. Я медленно разделся и, скользнув под одеяло,

растянулся вдоль ее тела, подобно ужу. Холод моей кожи ее растормошил; она открыла глаза, молча прижалась губами к моим губам и так тесно обвилась вокруг меня, что я мгновенно согрелся. Вся поэзия вечера обернулась прозой, но, по крайней мере, лирической прозой. Эта ночь — одна из самых прекрасных ночей, какие выдались мне в жизни; не смею и надеяться, что она у меня повторится.

Нам еще выпадают приятные минуты, но теперь нужны внешние обстоятельства, которые бы вызвали и подготовили их, а вначале мне ни к чему было подхлестывать воображение, любуясь на луну и слушая песню соловья; я и так испытывал все наслаждение, которое возможно испытать, не любя. Связующая нас нить еще не оборвана, но тут и там уже появились узелки, и сама связь стала куда менее прочна.

Розетта еще влюблена и делает все, что в ее силах, чтобы избавить нас с ней от грядущих неудобств. К несчастью, на свете есть две вещи, которые приходят и уходят без спросу: это любовь и скука. Я, со своей стороны, делаю нечеловеческие усилия, чтобы одолеть сонливость, нападающую на меня помимо моей воли, и, как те провинциалы, что в десять вечера начинают клевать носом в столичных гостиных, изо всех сил таращу глаза и пальцами поднимаю себе веки, но ничего не помогает, и я уступаю самой что ни на есть прискорбной супружеской распушенности.

Бедная малютка, которой загородные прогулки прежде приносили много радости, вчера увезла меня в деревню.

Быть может, нелишне будет хоть немного описать тебе эту самую деревню; тут очень мило; описание слегка оживит метафизику, да и к тому же персонажам требуется фон: фигуры не могут болтаться в пустоте или плавать среди бурного тумана, коим художники заполняют пространство своих полотен.

Округа весьма живописна. Сперва по дороге, обсаженной старыми деревьями, подъезжаешь к перекрестку, посреди которого возвышается каменный обелиск, увенчанный поволоченным медным шаром; отсюда, подобно лучам звезды, расходятся пять дорог; далее местность начинает резко понижаться. Путешественник спускается в довольно узкую долину, по дну которой бежит речка; дорога перебирается через нее по мостику в одну арку, затем взбегаёт по крутому противоположному берегу вверх, туда, где приткнулась деревушка: ее крытая шифером колокольня виднеется между соломенными крышами и круглыми купами яблонь. Обзор невелик, ибо с обеих сторон ограничен гребнем холма, но вид очень приятный и отдохновенный для глаз. У моста расположена мельница, там же строение из красного камня, имеющее форму башни; непрерывный лай, а также несколько греющихся на солнышке у дверей легавых собак и кривоногих щенков так подскажут вам, что здесь живет сторож охотничьих угодий, даже если вы хоть на миг усомнитесь в этом, несмотря на чучела сарычей и куны шкурки, прибитые к ставням. Здесь начинается рябиновая аллея; ярко-алые гроздья, свисающие с веток, привлекают сюда тучи птиц; проезжие редки, поэтому лишь середину дороги метит белая полоса; всё остальное поросло нежным бархатистым мхом, а в двойной колее, оставленной колесами экипажей, скачут и копошатся маленькие лягушки, зеленые, как хризопразы. Проехав еще немного дальше, упираешься в железную ограду, некогда выкрашенную и вызолоченную; вдоль нее растут артишоки и торчат рогатки. Далее дорога направляется к Замку, который еще не виден, потому что укрылся в зелени. Как птичье гнездо; но идет она не напрямик: то подберется к ручью или к источнику, то к нарядному павильону, то к месту, с которого открывается прекрасный вид, то перебежит ерез речку и вернется обратно по китайскому или простому деревенскому мостику. Из-за неровностей почвы и плотин устроенных ради мельницы, речка в нескольких местах низвергается водопадами в четыре-пять футов высотой — и до чего же ласкает ухо совсем близкий лепет всех маленьких каскадов, которые чаще всего даже не видны из-за ив и

бузины, окаймляющих берег почти непроницаемой завесой; но весь кусок парка представляет собой лишь нечто вроде аванзалы, ведущей в остальную его часть: широкая дорога, пересекающая эти земли, делит, к сожалению, парк надвое; однако против этого неудобства было изобретено весьма остроумное средство. По обеим сторонам дороги возвышаются две зубчатые стены с бойницами и амбразурами, точь-в-точь старинная крепость; с башни, увитой исполинским плющом и примыкающей к замку, перекинут настоящий подъемный мост на железных цепях, ведущий на бастион, что расположен на другой стороне; этот мост опускают каждое утро. Прекрасная стрельчатая аркада ведет внутрь донжона, а оттуда за вторую стену, где растут необыкновенно высокие деревья, не подстригавшиеся уже более столетия, с узловатыми стволами, опутанными вьющимися растениями, которые питаются их соками, — таких красивых и причудливых деревьев я в жизни не видывал. У некоторых листья растут только на самой верхушке, образуя широкие зонтики; другие истончаются к вершине напоподобие плюмажей; у других, наоборот, из ствола растут целые пучки поросли, из которой тянется к небу второй, лишенный листьев, ствол, словно дерево выросло на дереве; и так замысловато переплетаются эти стволы, что все вместе похоже на передний план или боковые кулисы театральных декораций, изображающих лесной пейзаж; плющ, ползущий по деревьям в попытках удушить их своими объятиями, пронизывает листву своими черными плетями, похожими на тени зеленых веток. В жизни не видывал ничего живописнее. Река в этом месте делается шире и образует озерцо, такое мелкое, что сквозь прозрачную толщу воды можно разглядеть прекрасные водяные растения, устилающие дно. Тут же кувшинки и лотосы, которые безмятежно плавают в чистой, как хрусталь, влаге, рядом с отражениями облаков и плакучих ив, склоняющихся с берега; замок расположен на другой стороне, и небольшой челн, раскрашенный ярко-красной и нежно-зеленой красками, избавит вас от длинного пути в обход до моста. Сам замок — скопище построек, возведенных в разные эпохи; щипцы крыш все разной высоты, тут и там торчат башенки. Вот крыло из кирпича, с углами, сложенными из камня, вот особняк с рустованными колоннами, украшенными множеством выступов и червеобразных желобков. А рядом другое крыло, в нынешнем вкусе: плоская черепичная крыша на итальянский манер, с вазами и балюстрадой, а передняя обита тиком и по объему напоминает шатер; все окна — разной величины и формы и совершенно не гармонируют одно с другим; они здесь на любой вкус — даже трилистниками, даже стрельчатые, поскольку часовня выдержана в готическом стиле. Некоторые участки стены отделаны решетками, как китайские домики, и эти решетки раскрашены в разные цвета, а по ним карабкаются жимолость, жасмин, настурция и дикий виноград, бесцеремонно влезая своими ветвями прямо в комнату и словно тянущий обитателям руку для пожатия.

Несмотря на эту неправильность, а вернее, благодаря этой неправильности, облик здания очарователен; по крайней мере его не рассмотришь в первый же миг; взгляду есть из чего выбирать, и постоянно замечаешь все новые детали, которые сперва упустил из виду. Мне сразу понравилось это жилище, которого я прежде не знал, поскольку оно отстоит от города на два десятка лье, и я проникся огромной благодарностью к Розетте за блистательную идею избрать его гнездышком для нашей любви.

Мы приехали под вечер усталые, и после ужина, за которым ели с отменным аппетитом, рассудили за благо поскорее отправиться на покой, разумеется, врозь, ибо намеревались выспаться как следует.

Я спал и видел какой-то сон, окрашенный в розовые тона, полный цветов, ароматов и птиц; тут я ощутил на своем лбу чье-то теплое дыхание, а потом мне на лоб спорхнул летучий поцелуй. Нежный причмок и сладостное ощущение влажности в том месте, которого он коснулся, подтвердила мне, что я не сплю: я открыл глаза, и первое, что увидел, была белая и свежая шея Розетты, склонившейся над постелью чтобы меня

поцеловать. Я обвил руками ее стан и вернул ей поцелуй с такой нежностью, какой не испытывал уже давно.

Розетта отдернула занавеску, отворила окно, потом вернулась ко мне и присела на краешек постели, взяв мою руку в свои и перебирая мои перстни. Она была одета с самой кокетливой простотой. На ней не было ни корсета, ни нижней юбки, только просторный пеньюар из белого, как молоко, батиста, очень свободный, в широких складках; волосы она зачесала наверх и украсила маленькой белой розой — цветки этого сорта состоят только из трех или четырех лепестков; ее точеные ступни свободно облегли расшитые пестрыми и яркими узорами домашние туфельки без задников, как у юных римлянок, донельзя крошечные, хотя для этой ножки они были великоваты. Когда я все это заметил, то пожалел, что Розетта и так уже моя любовница и мне нет нужды ее завоевывать.

Сон, который по ее милости сменился столь приятным пробуждением, оказался не так уж далек от действительности. Моя спальня была обращена на то самое озеро, которое я описал немного раньше. Окно обрамлял жасмин, серебряным дождем ронявший свои звездочки мне на паркет; под моим балконом, словно воскуря мне благовония, покачивали чашечками большие неведомые мне цветы; всю комнату до самой постели наполнял сладкий сложный аромат, слагавшийся из тысячи разных садовых запахов; из постели мне было видно, как сверкает вода, дробясь на бесчисленное множество блесток; птицы лепетали нечто невнятное, булькали, щебетали и свистали, их голоса сливались в стройный гул, напоминавший шум праздника. Напротив, на залитом солнцем склоне, простиралась золотисто-зеленая лужайка, по которой под присмотром мальчика-пастушка брели врассыпную несколько могучих быков. Совсем высоко и в ещё большем удалении от замка виднелись огромные квадраты леса, выделявшиеся более темной зеленью; оттуда, закручиваясь спиралью, поднимался синеватый дым от костров угольщиков.

Вся картина дышала покоем, свежестью и весельем; куда бы я ни устремил взгляд, повсюду его радовали красота и ухоженность. Стены моей спальни были обтянуты набивным кретоном, паркет выстлан циновками; на этажерках и на камине синего мрамора с белыми прожилками были с большим вкусом расставлены синие японские вазы, пузатые, с вытянутыми горлышками, полные экзотических цветов; в камине также были цветы; на панно над дверьми были изображены картины сельской жизни и пасторальные сцены; а тут еще молодая и красивая женщина в белом одеянии, сквозь прозрачную ткань которого в тех местах, где оно соприкасалось с кожей, слегка просвечивало розоватое тело, — ничто в мире не могло бы лучше тешить душу и взор.

Мой довольный и беспечный взгляд с равным удовольствием перебегал с великолепной вазы, расписанной драконами и мандаринами, на туфельку Розетты, а оттуда на ее плечо, светящееся сквозь батист; он вперялся в трепещущие звездочки жасмина и в серебристые пряди ив, свисавшие с берега, скользил по водной глади и взлетал на холм, и вновь возвращался в спальню и припадал к розовым бантам на удлиненном корсете какой-нибудь из пастушек.

Небо сквозь просветы в листве взидало на меня тысячами синих глаз; тихонько лепетала вода, и я отдался всему этому ликованию, окунулся в покойный восторг и молчал, не отнимая руки от рук Розетты.

Цвета счастья — белый и розовый, и ничего тут не поделать: представить его иначе невозможно. Вообще ему по праву принадлежат нежные тона. На палитре у него и бирюзовая, и небесно-голубая, и соломенно-желтая краски; его картины все в светлой гамме, как работы китайских художников. Цветы, свет, ароматы, шелковистая и нежная рука, касающаяся вашей, зыбкие, невесть откуда прилетевшие созвучия, — все это и есть безмятежное счастье, невозможно быть счастливым по-другому. Я сам, хоть боюсь

пошлости как огня, и мечтаю лишь об удивительных приключениях сильных страстях, исступленных восторгах, трудных и необычных положениях — я, кажется, по-глупому счастлив теперь и, что бы я ни делал, нигде не найду другого счастья.

Прошу тебя поверить, что тогда я ни о чем таком не думал; все эти мысли посетили меня сейчас, пока я писал; тогда я был занят только тем, что наслаждался, — вот единственное занятие, достойное разумного человека.

Не стану тебе описывать жизнь, которую мы ведем: ее нетрудно себе представить. Прогулки по лесу, фиалки и земляника, поцелуи и незабудки, завтраки на траве, чтение и книги, забытые под деревьями, путешествия по воде с развевающимся шарфом или белой ручкой, опущенной в речную струю, неумолчные песни и неумолчный смех и вторящее им береговое эхо — вот самая идиллическая Аркадия, какую можно себе вообразить.

Розетта осыпает меня ласками и заботами; воркуя пуще голубки в майскую пору, она вьется вокруг меня, обнимает и тискает; она старается, чтобы я дышал только ее дыханием и любовался только ее глазами; она взяла меня в настоящую блокаду, и без ее соизволения ни от меня, ни ко мне не проскользнет даже муха; она выстроила себе маленькую сторожевую башенку близ моего сердца и оттуда денно и ночью ведет за ним наблюдение.

Она говорит мне восхитительные нежности; она сочиняет мне самые галантные мадригалы; она усаживается мне на колени и ведет себя со мной точь-в-точь как смиренная рабыня с господином и повелителем; и меня это вполне устраивает, ибо я люблю эти покорные ужимки и питаю склонность к восточному деспотизму. Она спрашивает моего мнения обо всех мелочах и, кажется, вполне отреклась от собственной фантазии и воли; она пытается угадать мою мысль и предвосхитить ее — она убийственно умна, нежна и снисходительна; она так безупречна, что хочется вышвырнуть ее в окно. Черт побери, как прикажете покинуть такую обворожительную женщину, не прослыв извергом? Это значит навеки бросить тень на доброе имя собственного сердца.

О, если бы я уличил ее в каком-нибудь промахе, поймал на каком-нибудь грешке! С каким нетерпением я жду повода для ссоры! Но негодяйка и не собирается подавать мне этот повод! Когда я в надежде втянуть ее в перепалку заговариваю резко, суровым тоном, она отзывается так кротко, таким серебристым голосом, глаза у нее так влажны, а выражение лица такое печальное, такое влюбленное, что я сам себе кажусь бессердечнее тигра или, на худой конец, крокодила и, задыхаясь от ярости, вынужден просить у нее прощения.

Она буквально убивает меня любовью; она подвергает меня пытке и с каждым днем еще на один оборот зажимает тиски, в которых я бьюсь. Вероятно, она хочет добиться от меня признания в том, что я ее ненавижу, что она до смерти мне надоела и что, если она не оставит меня в покое, я рассеку ей лицо ударом хлыста. Черт возьми, она этого дождетсся, и если она и дальше будет так со мною любезничать, то ждать ей осталось недолго, провалиться мне на этом месте!

Несмотря на все внешние знаки внимания, Розетта пресытилась мною точно так же, как я — ею, но, поскольку ради меня она совершила немало явных безумств, теперь ей не хочется, чтобы почтенная корпорация чувствительных женщин возлагала на нее вину за наш разрыв. Великая страсть всегда притязает на вечность, и до чего же удобно получать все выгоды от этого нерушимого постоянства, избегая сопряженных с ним неудобств! Розетта рассуждает так: вот, дескать, молодой человек, он почти уже меня разлюбил, но по простоте и добродушию не смеет выказать это в открытую и не знает, с какого бока приняться за дело; разумеется, я ему докучаю, но он скорее примет смерть под пыткой, чем первый меня покинет. Как это присуще поэтам, голова у него набита высокопарными

фразами о любви и страсти; он искренне верит, что обязан быть Тристаном или Амадисом. Между тем нет ничего нестерпимее на свете, чем ласки особы, которую уже несколько разлюбили (а разлюбить женщину значит пылко ее возненавидеть), — следовательно, я обкормлю его ласками до того, чтобы у него расстроился желудок, и так или иначе добьюсь, чтобы он послал меня ко всем чертям или влюбился в меня, как в первый день, а уж от этого он наверняка остережется.

Лучше и не придумаешь. Что может быть очаровательней роли покинутой Ариадны? Вас жалеют, вами восхищаются не скупятся на самые страшные проклятия подлецу, с чудовищной жестокостью бросившему такое прелестное создание; вы напускаете на себя смиренный и горестный вид подпираете рукой головку, а локоть упираете в колени, чтобы заметнее стали очаровательные голубые прожилки у вас на запястье. Причесываетесь вы так, чтобы волосы горестно никли, и некоторое время носите платья более темного цвета. Вы избегаете называть неблагодарное существо по имени но намекаете на него обиняками, испуская сложную гамму вздохов.

Такая добрая, такая прекрасная, такая пылкая женщина, пожертвовавшая столь многим, не заслужившая ни малейшего упрека, сосуд предызбранный, сокровище любви, зеркало без единого пятнышка, капелька молока, белоснежная роза, эфирное создание, одухотворяющее жизнь мужчины, — такую женщину следовало бы обожать коленопреклоненно, а после смерти разрезать на мелкие кусочки и понаделать из них священные реликвии! И такую женщину бросить столь несправедливым, обманным, злодейским образом! Даже пират постыдился бы такого поведения! Нанести ей смертельный удар! Ведь она этого не переживет. У того, кто так поступил, в груди, должно быть, камень, а не сердце.

О, мужчины, мужчины!

Я говорю себе все это, но, возможно, я и не прав. Разумеется, женщины от природы великие комедиантки, но трудно поверить, что они достигают таких высот, и, в конечном счете, почему бы не допустить, что все уловки Розетты просто выражают чувства, которые она ко мне питает? Как бы то ни было, наше уединение сделалось невыносимым, и прекрасная владелица замка наконец-то разослала приглашения своим знакомым, живущим по соседству. Теперь мы готовимся к приему этих почтенных провинциалов и провинциалок. Прощай, мой дорогой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я заблуждался. Мое вздорное сердце, неспособное любить, выискало себе предлог, чтобы сбросить бремя благодарности, ставшее для него невыносимым; я с радостью уцепился за эту мысль, чтобы оправдаться в собственных глазах, я вбил ее себе в голову, но это глубочайшее заблуждение. Розетта не играет и не притворяется, и нет на свете женщины правдивее ее. И что же? Я едва ли не злюсь на нее за искренность ее любви, которая еще более связывает мне руки и из-за которой разрыв становится еще трудней или непростительней; по мне, уж лучше бы она была двулична и ветрена. В какое странное положение я угодил! Хочешь уйти — и медлишь, хочешь сказать: ненавижу тебя, а говоришь: люблю; прошлое толкает вперед и не дает ни свернуть, ни остановиться. Остаешься верен — и сожалеешь о своей верности. Какое-то непостижимое чувство стыда не позволяет всецело предаться новым впечатлениям и заставляет вечно идти на сделки с самим собой. Спасая репутацию, приберегаешь для самого себя все, что удастся похитить

у себя же; время и возможности для встреч, которые прежде находились сами собой, ныне выкраиваются с огромным трудом. Начинаешь вспоминать о делах, притом весьма важных. Жить с таким внутренним разладом очень мучительно, но нынешнее мое положение еще тягостнее. Когда новая дружба похищает вас у прежней привязанности, вам легче бывает освободиться. С порога дома, в котором обитает ваше юношеское увлечение, вам нежно улыбается надежда. Над совсем еще свежей могилой только что погибшей иллюзии уже порхает на своих белоснежных крылышках ее сестра, еще более розовая, еще более белокурая; посреди увядших бутонов старого букета внезапно расцветает новый цветок, еще более пышный и благоуханный, орошенный горней слезой; перед вами раскрываются новые лазурные дали; укромные сырые аллеи, окаймленные грабами, тянутся до самого горизонта; к вашим услугам сады, где то и дело вам попадает то бледная статуя, то скамья у стены, увитой плющом, лужайки, усеянные маргаритками; узкие балконы, на которые хорошо выйти, чтобы полюбоваться на луну, облокотись на перила; густая сень, пронизанная беглыми огнями; гостиные, в которых свет заглушен длинными занавесями; все эти укромные, затененные уголки, которых так ищет любовь, не смеющая открыться. Вы словно вступаете в новую молодость. Кроме того, вы обретаеете перемену мест, привычек и лиц; при этом не обходится без легких упреков совести, но вождение, которое, как весенняя пчела, гудит и вьется у вас над головой, мешает вам расслышать ее голос; пустота вашего сердца заполнена, и воспоминания изглаживаются под натиском новых впечатлений. Но у меня все по-другому: я никого не люблю и хотел бы найти в себе силы порвать с Розеттой лишь из-за тоски и усталости, причина которых не столько в Розетте, сколько во мне самом.

Давние мечты, слегка поутихшие, воспрянули и безумствуют пуще прежнего. Меня, как раньше, обуревают жажда обрести возлюбленную, и, как раньше, даже в объятиях Розетты меня одолевают сомнения в том, что я когда-либо обладал женщиной. Я вновь вижу прекрасную даму у окна, в парке времен Людовика XIII, и вновь охотница на белом коне галопом летит по лесной дороге. Мой прекрасный идеал улыбается мне из гамака облаков, его голос чудится мне в птичьем щебете, в ропоте листвы; мне кажется, будто меня окликают со всех сторон, и дочери воздуха задевают мое лицо бахромой своих невидимых шалей. Как во времена моего смятения, я воображаю, будто внезапно пускаюсь в путь в почтовой карете и качу куда-то, очень далеко, очень быстро — и прибываю в некое место, где происходят события, касающиеся меня, где вершится моя судьба. Я чувствую, что меня с нетерпением ждут в неведомом уголке земли. Чья-то страждущая душа, не в силах сама ко мне примчаться, страстно призывает меня и мечтает обо мне; вот почему я тревожусь, вот что мешает мне спокойно сидеть на месте, вот что немилосердно выводит меня из равновесия. Я по природе своей не из тех, к кому тяготеют люди; я не та неподвижная звезда, вокруг которой вращаются другие светила; я вынужден блуждать по небесной пустыне, как незаконный метеор, покуда не повстречаю планету, спутником которой мне суждено быть, покуда не найду тот Сатурн, на который я должен надеть свое кольцо. Ах, когда же свершится этот брачный союз? До тех пор я не узнаю ни отдыха, ни покоя, и, как обезумевшая стрелка компаса, буду метаться в поисках моего полюса.

Я всеми крыльями увяз в этом коварном клею, понадеявшись, что оставлю в нем только одно перышко и смогу взлететь, когда мне заблагорассудится; оказалось, что это немыслимо трудно; я вижу, что угодил в невидимую сеть, и разорвать ее тяжелее, чем ту, что выковал Вулкан: вязь ее звеньев так тонка и так плотна, что в ней не найти ни щелочки, сквозь которую я мог бы ускользнуть. Впрочем, эта сеть широка, под ней можно двигаться с ощущением мнимой свободы; я натываюсь на нее, лишь пытаюсь ее разорвать, но она не поддается мне и делается прочнее бронзовой стены.

О, мой идеал, сколько времени я потратил понапрасну, даже не пытаюсь тебя воплотить! Как истомился, трусливо поддаваясь сластолюбию, которого хватало на одну ночь! И как мало заслуживаю встречи с тобой!

Иногда я мечтаю о новой любовной связи, но у меня никого нет на примете; чаще я твержу себе, что никогда больше не вступлю в подобную связь, если мне удастся освободиться от этой; пожалуй, такого решения ничто не оправдывает, ибо вся история с Розеттой складывалась самым счастливым образом, и у меня нет ни малейшего основания жаловаться на мою возлюбленную. Она всегда была добра ко мне и обращалась со мной как нельзя лучше; она блюла безупречную верность и не пробуждала во мне ни тени подозрения: самая бдительная и беспокойная ревность ни в чем не сумела бы ее упрекнуть и неизбежно уснула бы спокойным сном. Ревнивец мог бы терзаться только из-за прошлого; правда, здесь он нашел бы массу поводов для расстройства, Но ревность такого рода, по счастью, довольно редко бывает столь изощренной; обычно она довольствуется настоящим, а не роется в минувшем, под развалинами старых страстей, в поисках пузырьков с ядом и чаш с желчью. Если думать обо всем этом, кого из женщин можно будет любить? Чаще всего мы смутно сознаем, что у нашей дамы было до нас несколько любовников, но мужская гордость так причудлива, прихотлива и увертлива, что мы уверяем себя, будто до нас эта женщина никого по-настоящему не любила и оказывалась в объятиях людей, которые были ее недостойны, лишь по роковому стечению обстоятельств или по неясному влечению собственного сердца, которое искало себе пищи и тянулось то к одному, то к другому, не находя единственного, кто был ему нужен.

Быть может, по-настоящему можно полюбить лишь невинную девушку, невинную душой и телом, хрупкий бутон, который не приласкал еще ни один зефир и на чьи сомкнутые лепестки не опустилась еще ни единая капля дождя или росы, — непорочный цветок, который развернет свой белоснежный убор для вас одного, прекрасную лилию с серебряной чашей, в которой еще не омочило губ ни одно желание, которую позлатит только ваше солнце, поколеблет только ваше дыхание, оросит только ваша рука. Полуденное сияние немногого стоит в сравнении с божественной бледностью рассвета, и весь жар искушенной и знающей жизнь души уступает небесному неведению юного сердца, пробуждающегося для любви. Ах, как горько и постыдно думать о том, что смываешь следы чужих поцелуев, что на этом лбу, губах, шее, плечах, на всем этом теле, которое ныне принадлежит тебе, не осталось, быть может, места, где бы не горели следы чужих губ; что этот божественный лепет, который приходит на подмогу языку, не находящему более слов, уже кто-то слышал; что эта изнемогающая плоть не с тобой первым познала этот восторг, этот бред, и где-то там, далеко, в глубине, в тайных закоулках души, куда никто не доберется, затаилось неумолимое воспоминание, которое сравнивает нынешнее наслаждение с минувшим!

Хотя по врожденной беспечности я предпочитаю торные дороги нехоженым тропам, а фонтанчик с питьевой водой на площади — горному роднику, мне непременно надо будет сделать попытку полюбить какое-нибудь девственное создание чистое, как снег, трепетное, как мимоза, только и умеющее, что краснеть да опускать глаза; быть может, в этой прозрачной струе, куда не нырял еще ни один пловец, я и выловлю жемчужину самой чистой воды, достойную красоваться рядом с жемчужиной Клеопатры; однако для этого необходимо оборвать связь, удерживающую меня возле Розетты, ибо с ней мне уже точно не осуществить моей мечты, но, по правде сказать, у меня недостает для этого сил.

И потом, если уж признаваться во всем до конца, в глубине моей души затаилось одно глухое и постыдное соображение, не смеющее объявиться на свет, а между тем я должен им с тобой поделиться, поскольку, во-первых, обещал ничего не утаивать, а во-вторых, только полная исповедь достойна похвалы; соображение это немало способствует моей

нерешительности. Допустим, я порву с Розеттой, но прежде чем я найду ей замену, пройдет время, какими бы доступными ни были те женщины, среди которых я стану выбирать ей преемницу; а между тем с нею я так приучился к наслаждению, что прервать его будет для меня сущей мукой. Правда, в запасе остаются куртизанки: когда-то я их весьма жаловал и не упускал случая за ними приволокнуться — но нынче они внушают мне чудовищное отвращение, меня от них тошнит. Итак, об этом и думать нечего, сладострастие так меня расслабило, отравы так глубоко пронизала меня, дойдя до мозга костей, что мысль о том, чтобы месяц-другой обходиться без женщин, для меня невыносима. Это эгоизм, самый грязный эгоизм, но думается мне, что от самых добродетельных людей, пустись они на откровенность, можно услышать весьма похожие признания.

Вот тот клей, который держит меня сильнее всего; иначе бы мы с Розеттой давным-давно бесповоротно рассорились. И потом, по правде сказать, ухаживать за женщиной — это такая тоска смертная, на какую у меня просто духу недостает. Снова твердить очаровательные глупости, которые я уже покорял столько раз; строить из себя любезника, писать записки и отвечать на них; вечером провожать красавицу за целых два лье от собственного дома; студить себе ноги и подхватывать насморк под окном, подкарауливая обожаемую тень; подсчитывать на кушетке, сколько слоев ткани отделяет вас от вашей богини; носить букеты и таскаться по балам — и все это, чтобы достичь того, чего я достиг теперь, сущая мука! Уж лучше не покидать наезженной колеи. Выбраться из нее, чтобы, вволю посуетившись и изрядно хлебнув лиха, угодить в другую, точно такую же, — к чему? Будь я влюблен, дело пошло бы само собой, и все эти хлопоты показались бы мне восхитительными; но я-то ничуть не влюблен хотя мне очень хочется влюбиться, ведь любовь, в сущности, — единственное, что есть на свете; и если наслаждение, бледная тень любви, так манит нас — какова же должна быть она сама? В какой струе неизреченных восторгов, в каких озерах чистых блаженств должны утопать те, кого поразила в сердце одна из стрел с золотым острием и кто пылает возжеланным огнем взаимной страсти!

Рядом с Розеттой я чувствую сонный покой и ленивую негу, дары плотской пресыщенности, и ничего более, но мне этого мало. Часто эта сладострастная одурь переходит в оцепенение, а спокойствие — в скуку; тогда я впадаю в беспричинную рассеянность, и мною овладевают какие-то бесцветные грезы, которые утомляют и изнуряют меня; из этого состояния следует вырваться во что бы то ни стало.

Ах, если бы я был таким, как некоторые мои друзья, те, что с упоением целуют изношенную перчатку, испытывают блаженство от пожатия руки, не променяют на ларец султанши несколько жалких цветочков, полуувядших от бального пота, орошают слезами и зашивают себе в сорочку, поближе к сердцу, записку, составленную убогим слогом и такую глупую, словно ее скопировали из «Образцового секретаря», обожают женщин с огромными ногами, оправдываясь тем, что зато, мол, у этих женщин прекрасное сердце! Если бы мог с дрожью провожать взглядом нижние оборки чьего-нибудь платья, ждать, когда откроется дверь и, залитое потоком света, в проеме явится обожаемое белоснежное видение, если бы от одного словца, сказанного шепотом, я краснел и бледнел; если бы мне хватало благородства отказаться от обеда, чтобы раньше поспеть на свидание; если бы я был способен заколоть кинжалом соперника или драться на дуэли с мужем; если бы небо в виде особой милости даровало мне умение признавать некрасивых женщин умницами, а некрасивых и глупых — добрячками; если бы я ощущал в себе решимость танцевать менуэт и слушать сонаты, которые разыгрывают на клавесинах и арфах юные создания; если бы той таланты простирались настолько далеко, что я смог бы обучиться ломберу и реверси; наконец, если бы я был не поэтом, а мужчиной, — я наверняка был бы куда счастливее, чем теперь; я сам скучал бы меньше и меньше докучал другим людям.

Я никогда ничего не требовал от женщин, кроме одного — красоты; без ума и души я с удовольствием обхожусь. По мне, красивая женщина всегда умна; ей хватает ума быть красивой, и не знаю, что она могла бы выдумать лучше. Самые ослепительные россыпи слов и самые блистательные остроты навряд ли сумеют затмить сияние прекрасных глаз. Свежие губы я предпочту свежей мысли, а хорошо вылепленное плечо — любой добродетели, даже христианской; я променяю пятьдесят душ на одну маленькую ножку и все стихи со всеми поэтами в придачу на руку Хуаны Арагонской или лоб девы из Фолиньо. Превыше всего я ставлю красоту формы; красота для меня — это зримое божество, осязаемое счастье, это небо, спустившееся на землю. Особая волнистость линий, особый изгиб рта, особый рисунок века, особый поворот головы, особая удлиненность овала лица подчас восхищают меня безмерно и приковывают к себе на целые часы.

Красота — единственное, чего нельзя приобрести, что навек остается недостижимым для тех, кто не наделен ею с самого начала; эфемерный и хрупкий цветок, которого никто не сажал, чистый дар небес — о, красота — самая лучистая диадема, которою может увенчать человека случай — ты великолепна и драгоценна, как все, недоступное человеку, как лазурь небес, как золото звезды, как аромат небесной неполной лилии! Можно сменять простую скамью на трон; но завоевать весь мир, многим это удавалось; но кто может не преклонить колен перед тобой, чистейшее воплощение Промысла Господня?

Да, в самом деле, я прошу лишь красоты, но красоты столь совершенной, что едва ли когда-нибудь ее встречу. Подчас то у одной, то у другой женщины я подмечал частицу восхитительной красоты, но всегда в весьма жалком обрамлении, и я влюблялся в то, что в них было самого отборного отрешаясь от остального; но что за мучительный труд, что за болезненная операция — отсекай вот так половину возлюбленной, мысленно ампутировать у ней все безобразное, все заурядное и глядеть только на то, что в самом деле прекрасно. Красота — это гармония, и женщина, в которой все одинаково безобразно, подчас менее оскорбляет взор, чем та чья красота зияет изъянами. Более всего смотреть на неоконченный шедевр и на красоту, которой чего-то недостает; жирное пятно меньше раздражает на грубом холсте, чем на дорогом шелке.

Розетта недурна собой; она может сойти за красавицу, но до воплощения моей мечты ей далеко; это статуя, отдельные части которой доведены до совершенства. Другие части не столь явственно выступают из мраморной глыбы; некоторые очерчены с великим изяществом и очарованием, а некоторые более грубо и более небрежно. На взгляд обывателя, статуя полностью закончена и безупречно прекрасна, но более внимательный наблюдатель вскоре обнаружит в ней места, обработанные с недостаточным тщанием, и контуры, которые достигнут чистоты не раньше, чем резец мастера пройдет по ним еще несколько раз; довершить и отполировать это мраморное изваяние — дело любви; нечего и говорить, что от меня этого ждать не приходится.

В сущности, я вовсе не ограничиваю красоту линиями определенной формы. Для меня в состав красоты входит все, что веет жизнью, — выражение, жесты, поступь, дыхание, цвет, звук, аромат; ей по праву принадлежит все, что благо ухает, поет и лучится. Я люблю богатую парчу, роскошь ткани, падающие широкими, тяжелыми складками; люблю пышные цветы и курильницы, прозрачность проточной воды и мерцающий блеск драгоценного оружия, породистых коней и тех больших белых псов, что можно увидеть на полотнах Паоло Веронезе. В этом смысле я настоящий дикарь: я и не думаю поклоняться богам, сработанным кое-как; и хотя в глубине души я не совсем безбожник, но христианин из меня никудышный. Я не понимаю умерщвления материи, составляющего самую суть христианства: по мне, наносить удар Божьему творению — кощунство, и я не верю, что плоть может быть мерзкой — ведь Он вылепил ее своими

перстами и по образу своему. Я не слишком одобряю длинные темные балахоны, из которых торчат лишь голова да руки, и картины, на которых все тонет в темноте, кроме чьего-то сияющего чела. Я хочу, чтобы солнце проникало повсюду, чтобы света было как можно больше, а тени — как можно меньше, чтобы краски сияли, линии извивались, чтобы нагота гордо выступала на всеобщее обозрение, а материя не притворялась, будто ее нет: ведь точно так же, как дух, она есть вечный гимн во славу Господа.

Мне совершенно внятен безумный восторг, который испытывали перед красотой древние греки; я, кстати, не вижу ничего несуразного в законе, который предписывал судьям выслушивать речи адвокатов не иначе как в темном помещении, дабы их привлекательные лица, изящество их жестов и поз не располагали суд в их пользу и не склоняли чаши весов.

Я ничего не куплю у безобразной торговки; я охотнее подаю тем нищим, чьи лохмотья и худоба живописнее. Есть здесь один щуплый изможденный итальянец, желтый, как лимон, с черными глазищами в пол-лица: ни дать ни взять Мурильо или Спаньолетто без рамы, прислоненный к уличной тумбе рукой старьевщика; этот парень всегда получает двумя су больше, чем остальные. Я никогда не ударю красивую лошадь или красивую собаку и не приближу к себе ни друга, ни слуги, если он не будет наделен приятной наружностью. Вид уродливых вещей и уродливых лиц для меня сущая мука. Если дом безвкусен с точки зрения архитектуры и обставлен безобразной мебелью, мне никогда не будет там хорошо, какими бы удобствами и прочими достоинствами он ни отличался. Самое лучшее вино кажется мне чуть не кислятиной, если оно налито в скверный бокал, и, признаюсь, предпочту самую что ни на есть спартанскую похлебку в эмалированной тарелке Бернара де Палисси изысканнейшей дичи в глиняной миске. Внешнее всегда имело надо мной огромную власть; вот почему я избегаю общества стариков: меня удручают и ужасают их морщины и согбенные фигуры, хотя подчас и старики бывают красивы особой красотой; к жалости которую я к ним питаю, примешивается немало отвращения. Из всех руин на свете самое печальное зрелище, несомненно, являют собой человеческие руины.

Будь я художником (а я всегда жалел, что я не художник), я населил бы свои холсты одними богинями, нимфами, мадоннами, херувимами и амурами. Посвятить свою кисть писанию портретов, если только на них не изображены красивые лица, кажется мне преступлением против живописи; ни за что я не стал бы повторять на полотне эти головы подлецов и тупиц, пошляков и ничтожеств; скорей я соглашусь снести их с плеч долой в оригинале. Свирепость Калигулы, если истолковать ее в этом смысле, пожалуй, снискала бы у меня одобрение.

Единственное, чего я в жизни желал с некоторою последовательностью, — это быть красивым. Не просто красивым, а таким, как Парис или Аполлон. Отсутствие уродства, более или менее правильные черты, то есть нос посреди лица, не вздернутый и не крючком, глаза не красные, не выпученные и рот не до ушей — это еще не красота: тогда и я красавец, а мне на самом деле так же далеко до собственного идеала мужской красоты, как фигурке в башенных часах; я похож на этот идеал не больше, чем если бы за каждым плечом у меня красовалось по горбу, ноги были кривые, как у таксы, а физиономия — точь-в-точь как у мартышки. Нередко я целым часами с неописуемым упорством и тщанием вглядываюсь в зеркало, пытаюсь подметить какие-нибудь улучшения в своей внешности; я жду, что мои черты придут в движение, что их прямизне и округлости обозначится больше изящества, чистоты, что глаза мои заблестят более влажным и живым блеском, что впадина на переносице выровняется и профиль мой приобретет безмятежную простоту греческих профилей; и я всегда поражаюсь, что ничего этого не происходит. Я все время надеюсь, что как-нибудь весной сброшу свою оболочку подобно

змеям, сбрасывающим старую кожу. Подумать только: я никогда не буду красавцем, а мне для этого так немного надо! Сущие пустяки: на пол-линии, на одну сотую, одну тысячную линии больше или меньше здесь или там, чуть-чуть меньше плоти на одной кости, чуть-чуть больше на другой — художник или скульптор поправили бы это в полчаса. Что стоило атомам, из которых я состою, сложиться не так, а этак? И что стоило контуру закруглиться не здесь, а там, и почему я непременно должен быть таким, а не другим? Право, угоди судьба мне в руки, я, наверное, задушил бы ее. Подумать только, ничтожной частичке неизвестно какого вещества заблагорассудилось угодить Бог весть куда и сложиться в несуразную физиономию, доставшуюся мне, и вот теперь я обречен на вечные страдания! Что может быть глупее и плачевнее? Но почему моя душа, одержимая столь пылким желанием, не может покинуть свою жалкую юдоль, которая движется и живет благодаря ей, и переселиться в одну из тех статуй, чья безупречная красота преисполняет ее таким восхищением и такой печалью? Есть на свете два или три человека, которых я прикончил бы с огромным наслаждением, однако, если бы только я владел тайной переселения Душ из одного тела в другое, непременно позаботился бы о том, чтобы не изувечить и не изуродовать их. Мне всегда казалось: чтобы совершить то, чего я хочу (правда, я не знаю, чего хочу), мне необходима величайшая, безупречная красота, и мнится мне, что вся жизнь моя, такая запутанная и противоречивая, пошла бы тогда по своему истинному пути.

На картинах мы видим столько прекрасных лиц! Почему ни одно из них не мое? Сколько очаровательных голов исчезает под слоем вековой пыли и копоти в недрах старинных галерей! Не лучше ли было бы им покинуть свои рамы и переместиться мне на плечи? Неужто слава Рафаэля заметно пострадает, если один из тех ангелов, что тучами роятся на ультрамарине его холстов, уступит мне на три десятка лет свое обличье? На его фресках в стольких местах, иной раз самых прекрасных, осыпались или выцвели краски! Никто бы и внимания не обратил. Что делают там, по стенам, все эти молчаливые прелестные существа, по ликам которых едва скользнет рассеянным взглядом заурядный посетитель? И почему Господу или случаю не достало вдохновения сотворить то, чего достигает человек с помощью нескольких волосков, прикрепленных к рукоятке, и разноцветной пасты, размазанной по доске?

Первое ощущение, охватывающее меня перед одним из этих изумительных лиц, чей нарисованный взгляд словно проходит сквозь вас и продолжается в беспечности, — это трепет восхищения, к которому примешивается некоторый ужас: мои глаза увлажняются, сердце бьется; потом, когда я немного осваиваюсь с этим лицом и успеваю дальше проникнуть в секрет его красоты, я безмолвно провожу сравнение между ним и собою, ревность на дне моей души извивается замысловатыми кольцами, подобно гадюке, и я с невероятным трудом удерживаюсь от того, чтобы не накинуться на полотно и не разорвать его в клочья.

Быть красивым — значит владеть такими чарами, чтобы все вокруг улыбались и радовались вам, чтобы, прежде чем вы заговорите, все уже были расположены в вашу пользу и готовы присоединиться к вашему мнению; чтобы вам довольно было пройти по улице или появиться на балконе — и вот уже в толпе есть ваши друзья и влюбленные в вас женщины. Знать, что вам нет нужды быть любезным, вас будут любить и без того; знать, что нет нужды расточать сокровища ума и доброты, к которым обязывает безобразная внешность, и блистать нравственными добродетелями, которыми обычно возмещают недостаток благообразия, — какой могу' чий и великолепный дар!

А если в ком-нибудь непревзойденная красота соединилась с непревзойденной силой и под обличьем Антиноя таятся мышцы Геракла — чего еще может желать такой человек?

Я уверен: если к моей душе присоединить эти два дара, не пройдет и трех лет, как я стану властелином мира! И еще об одном я мечтал почти так же, как о красоте и о силе, — об умении со скоростью мысли переноситься с места на место. Дайте мне красоту ангела, силу тигра и крылья орла, и я, пожалуй, соглашусь, что мир устроен не так скверно, как я считал раньше. Прекрасная личина — чтобы обольстить и ослепить жертву, крылья — чтобы обрушиться с неба и похитить ее, когти — чтобы ее разорвать; пока я лишен всего этого, не видать мне счастья.

Все страсти и все склонности, которые мною завладевали, были всего лишь фальшивыми личинами этих трех желаний. Я любил оружие, лошадей и женщин: оружие — чтобы умножить силу мышц, которой у меня не было; лошадей — чтобы они заменили мне крылья; женщин — чтобы владеть хотя бы чужой красотой, коль скоро ее недостает мне самому. Из оружия я предпочитал и выискивал самое замысловатое и опасное, да еще то, раны от которого бывают неизлечимы. У меня никогда не было случая пустить в ход какой-нибудь из моих ятаганов или малайских кинжалов, и все же я люблю, чтобы они были под рукой; я извлекаю их из ножен с невыразимым ощущением безопасности и силы; я упражняюсь с ними так и этак, размахивая ими с самым решительным видом, и если случайно натыкаюсь взглядом на собственное отражение в зеркале, удивляюсь, какое у меня свирепое выражение лица. А лошадей я умудряюсь заездить до того, что им остается только издохнуть или запросить пощады. Если бы я не отказался от прогулок на Феррагусе, он бы уже давно испустил дух, и это было бы жаль: он славное животное. Но где сыскать арабского скакуна, который был бы столь же быстр и тонконог, как моя мечта? В женщинах я искал только красоты, и, поскольку те из них, кого я видел до сих пор, весьма далеки от моих представлений о ней, я предпочел им картины и статуи, — весьма убогая замена для такого пылкого и чувственного человека, как я. А все же есть своего рода величие и красота в том, чтобы любить статую: такая любовь идеально бескорыстна, и можно не опасаться ни пресыщенности, ни отвращения, приходящего вслед за победой; к тому же рассудительность не велит надеяться на повторение чуда, приключившегося с Пигмалионом.

Не странно ли? Я нахожусь еще в самом первом цвете юности, я отнюдь не все еще испытал, я не испробовал даже самых простых вещей, а дошел уже до такой степени разочарования, что только необычайное и труднодоступное меня влечет?

За наслаждением следует пресыщенность — это закон природы, это само собой разумеется. Если человек угостился всеми блюдами на пиру, да еще помногу, и, больше не чувствуя голода, пытается растормошить онемевшее нёбо жгучими пряностями и возбуждающими винами, это нетрудно понять; но если человека, который лишь присел к столу и отведал от самых первых яств, сразу охватывает непреодолимое отвращение, и он может проглотить только самые лакомые куски, а иначе его стошнит; и если человек этот любит только мясо с душиком, сыры, покрытые точечками плесени, трюфели и вина, пахнущие ружейным кремнем, — такое можно объяснить только особенностями его организма; это все равно как если бы полугодовалый ребенок счел молоко кормилицы слишком пресным и пожелал сосать только водку. Я так устал, словно предавался всем чудовищным излишествам Сарданпала, а ведь жизнь моя, на сторонний взгляд, текла безгрешно и спокойно: ошибкой было бы полагать, будто обладание — единственный путь, ведущий к пресыщенности. Ее можно достичь и путем воздержания, а воздержание изнуряет сильнее, чем излишества. Такое воздержание, как мое, утомляет по-другому, чем обладание. Его взгляд устремляется на предмет, которого оно домогается, пронизывает его, и этот предмет сияет ему в вышине ослепительней и ярче, чем если бы его можно было потрогать руками: и что нового узнало бы оно, попади желанный предмет ему в руки? Какой опыт равноценен этому упорному и страстному созерцанию?

Я скользнул по поверхности столько вещей, вникнув в очень немногие из них, что теперь меня влекут только самые крутые вершины. На меня напала хворь, которая подстерегает в старости могучих людей и могучие народы: имя ей — невозможность. Все, что в моих силах, не имеет для меня ни малейшей притягательности. О, Тиберий, Калигула, Нерон, великие римляне времен империи, о, вы, что были так ложно поняты, вы, которых донныне преследует лаем свора напыщенных говорунов, я скорблю о ваших страданиях и жалею вас, насколько у меня еще сохранилась способность к жалости! Я тоже хотел бы построить мост через море и замостить волны; я мечтал предавать огню города, чтобы освещать свои празднества, я желал быть женщиной, чтобы познать новые ухищрения сладострастия. Твой раззолоченный дом, Нерон, не более чем грязный хлев рядом с дворцом, который я себе возвел; мой гардероб богаче твоего, Гелиогабал, и несравнимо великолепнее. В моих цирках рычания и крови больше, чем в ваших, мои духи более приятные и пахучие, мои рабы многочисленнее и крепче; я даже впрягал в свою колесницу нагих куртизанок, я шагал по людям, попирая их так же презрительно, как вы. Гиганты Древнего мира, в моей хилой груди бьется такое же могучее сердце, как ваше, и, будь я на вашем месте, я свершил бы то же, что вы, а может быть, и больше. Сколько Вавилонских башен нагромоздил я одну на другую, чтобы достичь неба, надавать пощечин звездам и плюнуть сверху на мироздание! И почему только я не Бог — раз уж мне не дано быть мужчиной?

О, мне, пожалуй, понадобится сто тысяч веков небытия, чтобы отдохнуть от усталости, скопившейся за двадцать лет жизни. Силы небесные, какую скалу обрушите вы на меня? В какую тьму окунете? Из какой Леты напоите? Под какой горой погребете Титана? Не уготована ли мне участь задувать своим дыханием вулкан и, ворочаясь с боку на бок, производить землетрясения?

Когда я думаю о том, что родился от нежной, смиренной матери, чьи склонности и привычки были на редкость скромны, мне делается странно, как это я не разорвал ей чрева, покуда она меня носила. Как случилось, что ни одна из ее споенных и безгрешных мыслей не перетекла в мою плоть вме сте с кровью, которую она в меня влила? И как случилось, что я сын ей только по плоти, но не по духу? Голубка породила тигра, который жаждет терзать когтями все мироздание.

Я рос в самом спокойном и невинном окружении. Трудно вообразить себе более целомудренную обстановку, чем была у меня. Я прожил годы в тени материнского кресла, с младшими сестрами и домашним псом. Вокруг я видел только добродушие, кроткие и безмятежные лица старых слуг, поседевших у нас на службе и, так сказать, по наследству переходивших от поколения к поколению нашей семьи, да родных и друзей, важных и напыщенных, одетых в черное, входивших один за другим и складывавших свои перчатки на полях шляп, да нескольких пожилых тетушек, пухлых, чистеньких, чинных, в ослепительно белых кофточках, в серых юбках, в сетчатых митенках, со сложенными на животе руками, словно у монашек; видел строгую, чуть ли не унылую обстановку: панели из гладкого дуба, кожаные обои, исключительно строгие и приглушенные тона в убранстве комнат, напоминающие о полотнах некоторых фламандских мастеров. Сад был сырой и сумрачный; букс, деливший его на части, затянувший стену плющ да несколько елей с облезлыми ветвями исполняли в нем обязанности зелени — обязанности, с которыми они справлялись не слишком успешно; кирпичный дом с высокой крышей, но, впрочем, просторный и весьма прочный, казался мрачным и словно вросшим в землю.

Это жилище как нельзя более соответствовало уединенной, суровой и невеселой жизни. Казалось, каждый ребенок, возвращенный в таком доме, неизбежно станет священником или уйдет в монастырь; и надо же случиться, что в этой атмосфере чистоты и покоя, в этих сумрачных, задумчивых стенах в меня мало-помалу стала закрадываться невидимая глазу

порча, словно в обложенный соломой плод мушмулы. В лоне честной, набожной, благочестивой семьи я дошел до самой чудовищной развращенности. Виною тому не было ни влияние света — я с ним не соприкасался, ни пламя страстей — я коченел от холода в этих толстых стенах, источавших ледяную сырость. Червь не заполз в мое сердце из сердцевины другого плода. Он завелся сам собой прямо в моей мякоти, съев и избороздив ее вдоль и поперек, но снаружи ничего не было заметно, и я даже не догадывался, что во мне сидит порча. Снаружи не видеть было ни пятнышка, ни червоточинки, но внутри я был пуст; от меня осталась одна яркая оболочка, готовая лопнуть от малейшего щелчка. Это необъяснимо, не правда ли, как дитя, рожденное от добродетельных родителей, возвращенное вдали от всякого зла, само собой развратилось до такой степени и дошло до такого падения? Я убежден, что, если проследить до седьмого колена, среди моих предков ни у кого не сыщется ни одной из тех частиц, из которых я состою. Я чужой в своей семье; я не ветвь этого благородного ствола, но ядовитый гриб, выросший в душливую ненастную ночь между его замшелых корней; а между тем мне, как никому другому на свете, знакомы вдохновение и порывы к прекрасному: никто так упрямо, как я, не пытался взлететь над землей — но с каждой попыткой я падал все ниже, и погубило меня то, что должно было спасти.

Одиночество для меня хуже многолюдья, хотя я жажду первого и чураюсь второго. Для меня спасительно все, что помогает мне убежать от себя; общество навевает скуку, но оно насильно вырывает меня из пустой мечтательности, похожей на спираль, по которой я взлетаю и падаю вниз, потупив голову и скрестив руки на груди. Поэтому, как только прерывается мое уединение и вокруг появляются люди, при которых мне приходится держать себя в руках, я становлюсь менее податлив, и меня уже не так рвут на части все те безобразные вожделения, которые, подобно стае коршунов, терзают мне душу, когда я хоть на миг бываю предоставлен самому себе. Здесь есть несколько хорошеньких женщин и два-три весьма жизнерадостных и любезных молодых челочка; но среди всей этой провинциальной публики меня особенно очаровал один юный кавалер, приехавший два-три тому назад; он сразу мне приглянулся, и я проникся к нему симпатией, едва увидел, как он слезает с коня. Изящнее его нет на свете; он не очень высок, но строен и гибок; поступь и жесты необычайно приятные, исполнены какой-то смутной мягкости и плавности; рукам и ногам его позавидовали бы многие женщины. Единственный его изъян состоит в том, что для мужчины он слишком хорош собой и черты его лица чересчур тонки. Он обладатель самых черных, самых прекрасных глаз на свете; их выражение невозможно описать, а взгляд трудно выдержать; но так как он еще очень молод и у него и в помине нет бороды, то округлая безупречная линия подбородка несколько смягчает впечатление от его орлиного взора; темные блестящие волосы крупными кольцами ниспадают ему на шею и придают лицу особую выразительность. Вот наконец передо мной тот тип красоты, о котором я мечтал! Как жаль, что он воплощен в мужчине, и как жаль, что я не женщина! Вдобавок к прелестному лицу у этого Адониса еще и пронизательный обширный ум, а острые словечки и шутки его обладают тем преимуществом, что произносит он их звонким, серебристым голосом, который невозможно слышать без волнения. В самом деле — он совершенство. Сдается, что он разделяет мой вкус к красивым вещам, ибо одет очень богато и весьма изысканно, а конь у него резвый и самых лучших кровей; для полноты совершенства за ним на низкорослой лошадке прискакал паж лет четырнадцати или пятнадцати, белокурый, розовый, очаровательный, как серафим; мальчик засыпал на ходу и так устал от скачки, что господину пришлось снять его с седла и на руках отнести в спальню. Розетта приняла гостя с большим радушием, и я думаю, что она намерена с его помощью возбудить во мне ревность и немного раздуть уснувшее под слоем пепла пламя моей страсти. Однако, какую бы опасность ни представлял подобный соперник, мне ничуть не хочется к нему ревновать, и меня так влечет к нему, что я охотно отрекся бы от своей любви, чтобы завоевать его дружбу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На этом месте, с дозволения благосклонного читателя, мы на некоторое время предоставим нашего достойного героя его мечтаниям, благо до сих пор он один занимал подмостки, говоря только о себе самом, и вернемся к обычному повествованию, которое присуще роману, не воспрещая себе, впрочем, на будущее, если придет нужда, обратиться к драматической форме и сохраняя за собой право вновь прибегнуть к жанру эпистолярных признаний, которые вышеозначенный молодой человек предназначает своему другу, — ибо мы убеждены, что, несмотря на всю свою проницательность и избыток прозорливости, наверняка сумеем сообщить о нашем герое меньше, чем он сам.

Маленький паж до того измучился, что спал на руках у своего господина, и его голова со спутанными волосами болталась из стороны в сторону, как у мертвого. От крыльца до комнаты, которую отвели новому гостю, было довольно далеко, и слуга, шедший впереди, вызвался взять мальчика на руки, однако юный кавалер, который, впрочем, нес свою ношу, как перышко, поблагодарил, но отказался от помощи; он тихонько, чтобы не разбудить спящего, опустил его на кушетку с тысячей предосторожностей: мать — и та не сделала бы этого лучше. Когда слуга удалился и дверь за ним затворилась, юноша опустился перед мальчиком на колени и попытался стянуть с него полусапожки, но натруженные маленькие ступни так распухли, что разуть его было нелегко; во сне паж то и дело выпускал невнятные стоны и вздохи, словно был на грани пробуждения; тогда юный кавалер прекращал свои попытки и выжидал, пока тот снова погрузится в сон. Наконец полусапожки поддались — это было самое трудное; снять чулки оказалось уже совсем просто. Когда с этим делом было покончено, господин аккуратно уложил ноги мальчика на бархат кушетки. Воистину — это были две самые славные ножки на свете, совсем невелички, белые, как новенькая слоновая кость, и слегка порозовевшие от тесных сапог, сжимавших их тисками семнадцать часов кряду, ножки меньше женских и такие нежные, словно никогда не ступали по земле; икры там, где их не скрывала одежда, были округлые, полные, гладкие, прозрачные и в тонких прожилках; безупречно изящные, они были ничуть не менее хороши, чем ступни.

Не поднимаясь с колен, молодой человек созерцал эти миниатюрные ножки с влюбленным восторженным вниманием; наклонившись, он взял левую и поцеловал, потом правую — и тоже поцеловал; затем принялся покрывать поцелуями икры, поднимаясь все выше и выше до того места, где начиналась одежда. Паж слегка поднял удлиненные веки и бросил на господина дружелюбный сонный взгляд, в котором не мелькнуло ни тени удивления. «Мне мешает пояс», — проговорил он, просунув палец под кушак, и вновь заснул. Господин расстегнул пояс, подложил под голову пажа подушку и, дотронувшись до его ног, которые уже не горели огнем и даже слегка озябли, бережно укутал их своим плащом, а потом придвинул вплотную к кушетке кресло и сел. Так прошло два часа; молодой человек смотрел на спящего ребенка, ловя тени сновидений, скользившие по его челу. В комнате было слышно только ровное дыхание мальчика да тиканье стенных часов.

Картина была поистине чарующая. В сопоставлении этих двух типов красоты таился эффект, которым не преминул бы воспользоваться искусный живописец. Господин был хорош собой, как женщина, а паж — как юная девушка. Круглое, розовое лицо, прикрытое прядями волос, напоминало персик среди листвы; оно было такое же свежее и бархатистое, хотя природные краски его слегка потускнели от дорожной усталости; из-за неплотно сомкнутых губ виднелись зубы молочной белизны, а нежные ослепительно белые виски были покрыты сеточкой лазурных прожилок; его ресницы, похожие на те золотистые нити, что витают вокруг девичьих головок на картинах в молитвеннике,

доходили ему чуть не до середины щек; длинные шелковистые волосы отливали одновременно золотом и серебром: в тени — золотом, а на свету — серебром; шея у него была полная и вместе с тем хрупкая, она словно опровергала принадлежность его к тому полу, на который указывал его наряд; две-три пуговицы камзола, расстегнутые, чтобы облегчить дыхание, позволяли увидеть в распахнутом вороте сорочки тонкого голландского полотна кусочек нежной упругой кожи изумительной белизны и начало округлости, которую странно было обнаружить у мальчика; присмотревшись как следует, можно было бы заметить, что бедра у него тоже чересчур развиты. Читатель волен думать об этом, что ему заблагорассудится; мы предлагаем ему свои догадки — и только; нам известно не больше чем ему, но в скором времени мы надеемся узнать больше и обещаем честно делиться с ним нашими открытиями. Пускай читатель, коль скоро взгляд его бесцеремонней нашего устремит глаза под кружево этой сорочки и решит по совести, слишком или не слишком округлы эти выпуклости; но предупреждаем, что занавески задернуты и в комнате царит полумрак, не слишком располагающий к исследованиям такого рода.

Кавалер был бледен, но бледность его была золотистого оттенка и преисполнена силы и жизни; его зрачки были лазурного цвета и подернуты влагой; прямой тонкий нос придавал профилю гордое и энергичное выражение, а кожа лица была так нежна, что само лицо словно излучало свет; линию его рта в иные минуты смягчала необычайно ласковая улыбка, но уголки его губ были опущены, а сами губы плотно сжаты, как у персонажей на картинах старых итальянских мастеров; это сообщало лицу чарующе надменный вид, непередаваемо пикантную *smorfia* (гримаса - итал.), какое-то необычайное и прелестное выражение ребяческой капризности и недовольства.

Какие узы связывали господина с пажом и пажа с господином? Это явно было нечто большее, чем обоюдная приязнь хозяина и слуги. Кем они приходились друг другу друзьями, братьями? В таком случае к чему этот маскарад. Между тем наблюдательно сцены, которую мы только что описали, трудно было бы поверить, что это в самом деле просто господин и паж.

— Как он спит, мой ангелочек! — тихо промолвил молодой человек. — Думаю, он отродясь еще не проделывал столь долгого пути. Двадцать лье верхом, а он такой хрупкий! Боюсь, как бы он не заболел от усталости. Но нет, все обойдется: завтра он проснется как ни в чем не бывало; он снова зарумянится и будет свежее розы после дождя. Но до чего хорош! Я замучил бы его ласками, если бы не опасался разбудить. Какая у него чудная ямочка на подбородке! Какая нежная белая кожа! Спи, сокровище мое. Ах, как я завижду твоей матери, как бы мне хотелось, чтобы ты был моим ребенком! Он не захворал? Нет, дыхание ровное, и не мечется. Но, по-моему, к нам стучат...

В самом деле, кто-то стукнул два раза в дверь, так тихо, как только возможно.

Молодой человек встал и, боясь, что ему почудилось, стал выжидать, не возобновится ли стук. Но вот послышались ещё два удара, на сей раз более явственно, и нежный женский голос очень тихо произнес:

— Это я, Теодор.

Теодор отворил, но не столь поспешно, как можно было ожидать от молодого человека, отворяющего женщине с нежным голоском, которая украдкой скребется на склоне дня в дверь его комнаты. Створка приоткрылась, и угадайте, кого она пропустила? Подругу мятущегося д'Альбера, высокородную госпожу Розетту собственной персоной; она порозовела сильнее своего имени, и грудь ее вздымалась куда более бурно, чем это бывает у женщин, входящих ввечеру в пристанище очаровательного кавалера.

— Теодор! — повторила Розетта.

Теодор поднял палец и приложил его к губам на манер статуи, олицетворяющей молчание; указав гостье на спящего пажа, он провел ее в соседнюю комнату.

— Теодор, — вновь заговорила Розетта, которая, казалось, находила неизъяснимое удовольствие в повторении этого имени и в то же время пыталась собраться с мыслями — Теодор, — продолжала она, не выпуская руки, которую молодой человек предложил ей, ведя ее к креслу, — так вы к нам вернулись? Что вы делали все это время? Где вы были? Да знаете ли вы, что я полгода вас не видела? Ах, Теодор, это нехорошо; у нас есть долг по отношению к тем, кто нас любит: даже если мы их не любим, все равно следует хоть немного считаться с ними и жалеть их.

Теодор. Что я делал? Не знаю. Побывал в другом месте и приехал сюда, спал и бодрствовал, пел и плакал, чувство вал то голод, то жажду, изнемогал от жары и замерзал, скучал, прожил целых полгода, истратил и спустил кучу денег вот и все. А что делали вы?

Розетта. Любила вас.

Теодор. И больше ничего?

Розетта. Совершенно ничего. Зря потратила время, не правда ли?

Теодор. Вы могли провести его с большим толком, бедняжка Розетта, например, полюбить кого-нибудь другого кто бы отдал вам свое сердце.

Розетта. В любви я бескорыстна, как и во всем прочем. Я не ссужаю любовь под проценты, я ее дарю.

Теодор. Это редкостное достоинство, оно дано только избранным душам. Мне часто хотелось полюбить вас, хотя бы в той мере, в какой вы того желаете, но между нами стоит непреодолимое препятствие, рассказать о котором я не могу. Не обзавелись ли вы другим возлюбленным, когда я вас покинул?

Розетта. Да, он и поныне при мне.

Теодор. Что он за человек?

Розетта. Поэт.

Теодор. Черт побери! Что за поэт, что он написал?

Розетта. Не знаю толком, какую-то книжечку, которой никто не читал; однажды вечером я попыталась в нее заглянуть.

Теодор. Итак, ваш возлюбленный — неизвестный поэт. Любопытно, должно быть. У него прорехи на локтях, грязное белье и чулки винтом?

Розетта. Нет, он недурно одевается, моет руки и не пачкает себе нос чернилами. Это друг де С***; я повстречала его у госпожи де Темин, знаете, у этой долговязой дамы, что строит из себя воплощенную невинность и прикидывается маленькой девочкой.

Теодор. Нельзя ли узнать, как зовут вашего доблестного героя?

Розетта. Господи, да почему же нет! Его зовут шевалье д'Альбер.

Теодор. Шевалье д'Альбер? Сдается мне, это тот самый молодой человек, которого я видел на балконе, когда слезал с коня.

Розетта. Он самый.

Теодор. И который смерил меня весьма внимательным взглядом.

Розетта. Да, это он.

Теодор. Весьма недурен собой. И он не вытеснил меня из вашей памяти?

Розетта. Нет. К несчастью, вы не из тех, кого можно забыть.

Теодор. Он, конечно, от вас без ума?

Розетта. Как вам сказать. В иные минуты кажется, будто я ему очень дорога; но в глубине души он не любит меня, а подчас готов возненавидеть за то, что не в силах меня любить. Он похож на многих куда более искушенных людей: сильное увлечение он принял за страсть, а когда утолил свое вожделение, ощутил недоумение и разочарованность. Не следует думать, будто люди, которые спали вместе, должны обожать друг друга.

Теодор. И как вы намерены поступить с этим влюбленным, который на самом деле никакой не влюбленный?

Розетта. Как поступают с ущербной луной и модами прошлого сезона. Ему недостает силы бросить меня первым, и, хотя на самом деле он меня не любит, я для него — источник удовольствия, к которому он привык, а от такой привычки труднее всего отказаться. Если я ему не помогу, с него станется прилежно томиться рядом со мной вплоть до второго пришествия и даже еще дольше, потому что в сердце у него зреют семена всех добродетелей и душа его жаждет расцвести пышным цветом под солнцем нетленной любви. Право, мне досадно, что у меня нет для него ни лучика. Из всех моих любовников, которых я не любила, он мне милее всего, не будь я так добра, я ни за что не вернула бы ему свободы и оставила бы его при себе. Но я не сделаю этого: отныне я перестаю ему докучать.

Теодор. Сколько это продлится?

Розетта. Недели две, три, но уж наверняка меньше, чем продлилось бы, если бы вы не приехали. Я знаю, что никогда не буду вашей возлюбленной. Вы говорите, что на то есть неведомая причина, с которой бы я примирилась, если бы вам было позволено открыть ее мне. Итак, всякая надежда в этом смысле мне заказана, и все же я не могу решиться принадлежать другому, когда вы здесь: мне представляется, что это кощунство и что я лишаюсь права любить вас.

Теодор. Не прогоняйте его из любви ко мне.

Розетта. Ладно, если это доставит вам удовольствие. Ах, если бы вы могли принадлежать мне, как отличалась бы моя жизнь от того, чем она стала теперь! Люди составили обо мне совершенно ложное понятие, и я так и прожила бы весь век, и никто бы не заподозрил, какова я на самом деле; вы единственный, Теодор, кто понял меня, и вы обошлись со мной жестоко. Я никогда не желала иного возлюбленного, кроме вас, а вы меня отвергли. Ах, Теодор, если бы вы меня полюбили, я была бы целомудренна и благонравна, я была бы достойна вас; а вместо этого я оставляю по себе (если кто-нибудь обо мне вспомнит) славу светской любезницы, почти куртизанки, которая отличается от уличной феи только происхождением да богатством. От рождения у меня были самые благородные наклонности, но ничто не развращает сильнее, чем жизнь без любви. Меня презирают многие — те, кто не знает, сколько мне пришлось выстрадать, чтобы стать такой, как теперь. Я твердо знала, что никогда не буду принадлежать человеку, который

мне дороже всех на свете, вот я и поплыла по течению: я не дала себе труда поберечь плоть, которая все равно не принадлежала бы вам. А сердцем моим никто не владел и не будет владеть. Оно ваше, хоть вы и разлюбили его, и в отличие от большинства женщин, которые почитают себя порядочными потому, что не переходили из постели в постель, я, хоть и не блюла в неприкосновенности своего тела, душой и сердцем всегда была верна вашей памяти. Я, по крайней мере, сделала несколько человек счастливыми, над несколькими изголовьями благодаря мне кружили светлые иллюзии. Не одно благородное сердце я обманула, но то был невинный обман: когда вы меня оттолкнули, я хлебнула столько горя, что мне была ужасна самая мысль обречь другого человека на эту пытку. Вот единственная причина многих моих приключений, которые молва объясняла моим распутством. Я и распутство! О, люди! Если бы вы знали, Теодор, какая это безысходная боль — сознавать, что жизнь не удалась, что счастье прошло мимо, что все вокруг заблуждается на ваш счет и переменить людское мнение о себе невозможно, что самые прекрасные ваши качества обратились в пороки, самые чистые мечты — в черную отраву, что наружу вышло лишь то, что было в вас дурного, что двери, которые распахиваются настежь перед вашими пороками, затворяются перед вашими добродетелями, — сознавать это, и не уметь вырастить посреди зарослей цикуты и волчьего корня ни одной лилии, ни одной розы! Вам этого не понять, Теодор.

Теодор. Увы! Увы! Все, что вы говорите, Розетта, — это общий удел; лучшее в нас всегда остается в душе и не находит себе выхода. Таковы поэты. Лучшее их стихотворение — ненаписанное; они уносят с собой в фоб больше стихов, чем оставляют в книгах.

Розетта. Я унесу с собой свое стихотворение.

Теодор. А я свое. Кто не сочинил за всю жизнь хотя бы одного стихотворения? Кто был настолько счастлив или настолько несчастлив, что не сложил его в голове или в душе? Быть может, любой палач слагает про себя строки, напоенные слезами самой нежной чувствительности; и, быть может, любой поэт слагает в душе стихи столь зверские и кровавые, что они скорее приличествовали бы палачу.

Розетта. На моей могиле кстати прились бы белые розы. У меня было десять любовников, но я невинна и умру невинной. Немало девственниц, на чьи гробницы падает нескончаемый снегопад лепестков жасмина и апельсинового цвета, были сущими Мессалинами.

Теодор. Я, Розетта, воздаю вам должное.

Розетта. Вы единственный в мире, кто меня разглядел, потому что увидели меня во власти любви, воистину непритворной и глубокой, — ведь она была безнадежна; а кто не видел женщины, когда она любит, не может судить, какова она на самом деле; вот что утешает меня в горестях.

Теодор. А что думает о вас молодой человек, который в глазах света слывет нынче вашим любовником?

Розетта. Мысли любовника — это бездна глубже Португальского залива, и сказать, что таится на дне души человеческой, очень трудно; если привязать лот к веревке в сто тысяч туазов длиной и разматывать ее — она вся целиком уйдет под воду, а лот так и не достигнет дна. И все же в нескольких местах мне удалось коснуться дна этой души, и на грузило иной раз налипала грязь, иной раз — красивые раковины, но чаще — грязь вперемешку с осколками кораллов. Ну, а мнение его обо мне много раз менялось; он начал с того, чем другие кончали: проникся ко мне презрением; это свойственно молодым людям с бурной фантазией. Совершить первый шаг всегда значит для них пасть так низко,

что ниже некуда, и переход от грез к действительности неизбежно оборачивается для них потрясением. Он презирал меня, и я его развлекала; теперь он уважает меня, и я нагоняю на него скуку. В первые дни нашей связи он замечал во мне только банальное, и, сдаётся, решимость его только усугублялась тем, что он не ожидал сопротивления с моей стороны. Казалось, ему не терпится завести роман, и я сперва думала, что это у него от полноты чувств, как бывает в майскую пору молодости, когда, не найдя женщины, юнец готов обнимать стволы деревьев и целовать цветы и траву на лугу. Но нет, сквозь меня он шел прямо к другой цели. Я была для него дорогой, а не местом назначения. Под наружной свежестью двадцати лет, под первым пушком юности таилась глубокая испорченность. Сердце его было уязвлено; оно было словно плод, сгнивший изнутри. В этом молодом, сильном теле трепетала душа древняя, как Сатурн, — и свет не видывал другой такой непоправимо несчастной души. Признаться, Теодор, мне стало страшно, у меня чуть не закружилась голова, когда я склонилась над черными безднами этой души. Ваши и мои страдания ничто в сравнении с теми, что выпали ему. Если бы я любила его сильнее, я бы его убила. Его неодолимо влечет и манит нечто такое, что не от мира сего и чего не сыскать на этом свете, и нет ему покоя ни днем, ни ночью; как . гелиотроп в погребке, он извивается, пытаясь повернуться к солнцу, а солнца не видит. Он из тех людей, чью душу не омыли как следует в летейских водах, прежде чем вдохнуть ему в тело, вот она и сохранила смутную память о вечной небесной красе, и память эта глохнет ее и терзает, ибо она помнит, что была крылатой, хотя ныне привязана к земле. Будь я Богом, я сроком на две вечности отлучила бы от поэзии ангела, виновного в такой небрежности. Здесь мало было сложить карточный домик-дворец, чтобы приютить на вешние месяцы юную белокурую фантазию, — здесь надо было взгромоздить башню выше восьми Вавилонских, поставленных одна на другую. Это было не в моих силах, я притворилась, будто не понимаю этого, и предоставила ему карабкаться, обдирая себе крылья, в поисках вершины, с которой он мог бы воспарить в бескрайний поток. Он воображает, будто я ни о чем не догадалась, ибо я подчинила себя всем его прихотям, не подавая виду, что понимаю их цель. Раз уж я не могла его излечить, мне захотелось — и надеюсь, что когда-нибудь Господь мне это зачтет, — подарить ему хотя бы блаженную веру в то, что он страстно любим. Мне было так жаль его, и он сделался мне так безразличен, что мне не стоило большого труда всем тоном и манерой выказать ему достаточно нежности, чтобы внушить ему эту иллюзию-Я разыграла роль, как опытная актриса; я переходила от лукавства к меланхолии, от чувствительности к сладострастию, притворялась то беспокойной, то ревливой, проливая притворные слезы, и по лицу моему пробежали сонмы вымученных улыбок. Я рядила манекен любви в самые нарядные ткани, заставляла его прогуливаться по аллеям моих парков, Приказала всем моим птицам петь у него на пути, а всем моим далям и цветкам дурмана приветственно кивать ему головками; по моему велению он переплыл мое озеро, сидя на серебристой спине моего любимого лебедя; я сама спряталась внутри этого манекена, которому я одолжила свой голос, ум, красоту, молодость, и наделила его такой пленительной наружностью, что моя ложь затмила действительность. Когда придет пора вдребезги разбить эту полую статую, я сделаю это так, чтобы он решил, будто я сама во всем виновата, и уберегу его от угрызений совести. Я сама проколю булавкой этот воздушный шар, чтобы выпустить из него ветер, которым он наполнен. Это и есть священная проституция, это и есть возвышенный обман, не правда ли? В хрустальном сосуде я берегу несколько слезинок — я собрала их в тот миг, когда они готовы были пролиться. Это и есть мой ларчик с бриллиантами, и я протяну его ангелу, который придет за мной, чтобы отвести пред очи Всевышнего.

Теодор. Это самые прекрасные бриллианты, какие только могут блистать на женской шее. В сравнении с ними драгоценности королей — пустые побрякушки. Я-то думаю, что влага, которою Магдалина омыла стопы Христа, была не что иное, как слезы, пролитые некогда людьми, которых она утешила, а еще я думаю, что путь святого Иакова был усеян

именно такими слезами, а вовсе не каплями молока Юноны, как утверждают. Но кто же сделает для вас то, что вы сделали для него?

Розетта. Увы, никто! Ведь вам это не по силам.

Теодор. Ах, милая, добрая, если бы я мог! Но не теряйте надежды. Вы хороши собой и очень молоды. Еще много аллеи, обрамленных цветущими липами и акациями, суждено вам миновать прежде, чем вы ступите на ту пронизанную суровостью дорогу с буксом и голыми деревьями по обочинам, которая от порфирной гробницы, где упокоятся ваши юные годы, ведет к грубому замшелому камню над могилой, в которой поспешно похоронят останки того, что было некогда вами, и хилые, морщинистые призраки дней вашей старости. Вам предстоит еще долгое восхождение на кручу жизни, и не скоро еще доберетесь вы туда, где начинаются вечные снега. Там, где вы сейчас, благоухают травы, журчат прозрачные водопады, ирисы клонят свои трехцветные дуги, там растут прекрасные зеленые дубы и пахучие лиственницы. Поднимитесь еще немного, и вашему взору откроется более обширный вид; тогда-то, быть может, вы и заметите голубоватый дымок над крышей дома, где почивает тот, кто вас полюбит. Не следует с самого начала предаваться разочарованию в жизни: новые дали предстают нам, когда мы уже вовсе не ожидаем этого. Я часто думаю, что человек в жизни — пилигрим, восходящий по винтовой лестнице на готическую башню. Длинная гранитная змея кольцами извивается в темноте, и каждая ее чешуйка — это ступенька лестницы. Спусти несколько витков меркнет слабый свет, сочившийся из дверей. Тень близлежащих домов не пропускает солнца в узкие окна; стены черны и осклизлы; и вам чудится, будто вы не восходите на башню, которая снизу казалась такой стройной и легкой, вся в кружевах и вышивках, словно в бальном наряде, а спускаетесь в подземное узилище, откуда вам уже никогда не выбраться. И такой тяжестью гнетут вас эти сырые потемки, что вы сомневаетесь, стоит ли подниматься дальше. Еще несколько поворотов лестницы — и противоположную стену все чаще прорезывают золотые трилистники слуховых окошек. Вы уже завидели кружевные коньки крыш, статуи на карнизах, причудливые очертания труб; еще несколько шагов, и взор ваш воспаряет над целым городом: со всех сторон вздымается лес шпилей, колоколен и башен — кружевных, резных, ажурных, и сквозь тысячи проделанных в них просветов и проемов струятся дневные лучи-Купола круглятся, как груди великанши или головы титанов-Между островками домов и дворцов пролегли то полосы тьмы, то полосы света. Еще несколько ступеней, и вы доберетесь до площадки; и тут вы увидите, как по ту сторону городских стен зеленеют поля, синеют холмы и на муаровой ленте реки белеют паруса. Вас заливают ослепительным светом, и мимо вас с радостным криком носятся во все стороны ласточки. Далекий городской шум долетает до вас, как ласковый шепот или гудение пчелиного улья; все колокольни рассыпают по воздуху ожерелья своих звонких жемчугов; ветер приносит вам ароматы соседнего леса и горных цветов; все вокруг — свет, гармония и благоухание. Если бы ваши ноги устали, или вы, поддавшись унынию, остались сидеть на одной из нижних ступеней, или вовсе вернулись вниз, это зрелище было бы для вас потеряно. Однако бывают такие башни, в которых есть одно-единственное окно посередине или даже на самом верху. Так устроена башня вашей жизни; значит, нужно еще больше упорства и мужества, нужно еще упрямее цепляться ногтями во мраке за малейший выступ в стене, чтобы добраться до сияющего солнца, из которого открывается вид на всю округу; бывает и так, что бойницы оказываются заложены или их просто забыли пробить в стенах, и тогда нужно подняться до самого верха; но чем выше восходишь, ничего не видя, тем необъятнее потом кажется горизонт, тем огромное радость и удивление.

Розетта. Ах, Теодор, дай-то мне Бог поскорее добраться до окна! Я уже так давно бреду в непроглядном мраке по виткам спирали. Но боюсь, что окно забыли прорезать и что мне

придется карабкаться на самый верх; а что, если эта лестница с бесчисленными ступенями приведет меня к замурованной Двери или к своду, сложенному из тесаного камня?

Теодор. Не говорите так, Розетта, не думайте так. Какой архитектор выстроит лестницу, ведущую в никуда? Зачем предполагать, будто величавый зодчий мира сего окажется глупее и беспечнее обычных архитекторов? Господь не ошибается и не забывает. Невозможно поверить, будто он, чтобы вам насолить, для забавы засунул вас в длинную каменную трубу без входа и выхода. Неужели, по-вашему, он откажет нам, жалким муравьям, в ничтожном минутном счастье и в крохотном зернышке проса, причитающемся нам в безбрежном мироздании? Тогда он должен быть свиреп, как тигр или как судья; и если бы мы пришли к нему настолько не по вкусу, он мог бы просто повелеть одной из комет слегка отклониться с пути и удушить нас всех одним волоском своего хвоста. Неужели, черт побери, вы воображаете, что Всевышний забавляется, нанизывая нас, одного за другим, на золотую булавку, как поступал с мухами император Домициан? Всевышний — не привратник, не церковный сторож, он хоть и стар, но еще не впал в детство. Он выше всех этих мелких пакостей и не так глуп, чтобы щеголять перед нами остроумием и играть с нами шутки. Мужайтесь, Розетта, мужайтесь! Если вы запыхались, постойте минутку, отдышитесь, а потом продолжайте восхождение; может быть, вам осталось-то всего два десятка ступеней до амбразуры, в которую вы увидите ваше счастье.

Розетта. Никогда этому не бывать! Никогда! Если я и поднимусь на вершину башни, то лишь для того, чтобы броситься вниз.

Теодор. Бедная моя печальница, гони прочь эти зловещие мысли, что роятся над тобой, как летучие мыши, и своими крылами отбрасывают на твой ясный лоб густую тень. Если хочешь, чтобы я любил тебя, будь счастлива и не плачь. (Нежно привлекает ее к себе и целует в глаза.)

Розетта. Какое несчастье, что я узнала вас! А все же, если бы можно было вернуть годы вспять, я вновь хотела бы вас узнать. Ваша строгость кажется мне слаще, чем пылкая любовь других людей, и хотя вы причинили мне много страданий, все радости, которые у меня были, принесли мне тоже вы; от вас я узнала, чем я могла бы стать. Вы молнией сверкнули в моей ночи и озарили немало темных закоулков моей души; вы открыли совсем новые дали в моей жизни. Благодаря вам я узнала любовь — правда, неразделенную, но в безответной любви сокрыто печальное и глубокое очарование, и нам сладко вспоминать тех, кто нас забывает. Если можешь любить — это уже счастье, даже если любишь без отзыва, а ведь многие умирают, не изведав этого счастья, и зачастую более всего достойны сожаления совсем не те, кто любит.

Теодор. Те, кто любит, страдают и терпят боль, но они хотя бы живут. У них есть то, что им дорого, есть звезда, вокруг которой они вращаются, полюс, к которому они тянутся всеми силами души. Они знают, чего им желать; они могут казать себе: если я этого достигну, если я это заполучу, я буду счастлив. И когда они быются в ужасной агонии, они могут, по крайней мере, сказать на смертном одре: я умираю ради него или ради нее. Такая смерть все равно что возрождение. Воистину и непоправимо несчастны только те, кто сжимает в безумных объятиях все мироздание, кто хочет всего и не хочет ничего, и если бы ангел или фея, внезапно слетев к ним, сказали: «Назовите ваше желание, и оно исполнится!» — они бы смутились и онемели.

Розетта. Я знаю, чего бы я попросила у феи.

Теодор. Да, знаете, Розетта, вы счастливее меня, потому что я этого не знаю. Во мне копошится множество смутных желаний, которые переплетаются, и одни из них

порождают другие, а затем они пожирают друг друга. Мои желания — стая птиц, которая вьется вихрем и кружит без цели, меж тем как ваше — орел, чьи глаза устремлены к солнцу, и ему недостает лишь воздуха, чтобы, взмахнув крылами, взмыть в вышину. Ах, знать бы мне, чего я желаю; если бы та идея, что гложет меня, прояснилась, обрела очертания и выступила из окутывающего ее тумана; если бы в глубине моего небосвода возшла благосклонная или роковая звезда; если бы в ночи мне блеснул путеводный свет, коварный блуждающий огонек или гостеприимный маяк; если бы мой огненный столп шел впереди меня хоть через пустыню, где нет ни ручья, ни манны небесной; знать бы мне, куда я иду, пускай хоть в бездну! — по мне, уж лучше безумная скачка одержимых бесом охотников сквозь кустарники и бурелом, чем нынешнее мое бессмысленное однообразное топтание на месте. Такая жизнь — тяжелое ремесло, все равно что у лошади в шорах, которая вращает колодезный ворот и проходит тысячи лье, ничего не видя и не двигаясь с места. Я давно уже хожу по кругу, и пора бы уже ведру подняться на поверхность.

Розетта. У вас с д'Альбером много общего, и когда вы говорите, мне чудится, будто я слышу его. Не сомневаюсь, что, когда вы узнаете его лучше, вы очень к нему привяжетесь; не может быть, чтобы вы с ним неладили. Он так же, как вы, истерзан этими бесцельными порывами, он любит без удержу, а что — и сам не знает, он хотел бы воспарить к небу, потому что земля представляется ему скамеечкой, которой насилу хватит для одной его ноги, и гордыней он превосходит Люцифера до падения.

Теодор. Я сперва испугался, что это один из тех поэтов, которых развелось нынче так много и которые изгнали с земли поэзию; один из тех нанизывателей фальшивого жемчуга, которые замечают в мире только окончания слов и, срифмовав тень и сень, пламень и камень, небесный и чудесный, удовлетворенно скрещивают руки на груди, закидывают ногу на ногу и, так и быть, позволяют светилам небесным следовать по назначенным им орбитам.

Розетта. Он совсем не из таких. Он куда выше своих стихов, он попросту не вмещается в них. То, что он написал, создает о нем совершенно превратное мнение; настоящие его стихи — он сам, и не знаю, напишет ли он когда-нибудь другие. В глубине его души таится сераль прекрасных идей, окруженный тройною стеной, и он бережет их ревнивее, чем султан своих одалисок. В свои стихи он впускает лишь те из них, которые невзлюбил или разлюбил; стихи — это дверь, сквозь которую он их изгоняет, и мир узнает лишь то, в чем он больше не нуждается.

Теодор. Мне понятна эта ревность и эта стыдливость. Вот так многие люди признаются в минувшей любви не раньше, чем она проходит, и помнят лишь тех любовниц, которых уже нет на свете.

Розетта. В этом мире так трудно чем-нибудь владеть! Каждое пламя привлекает столько мотыльков, каждое сокровище — столько воров! Мне по сердцу те молчаливники, что уносят с собой в могилу свою идею и ни за что не хотят подвергать ее сальным поцелуям и бесстыдным прикосновениям толпы. Мне милы те влюбленные, что не выцарапывают ни на каких стволах имя своей любезной, не доверяют ее никакому уху и даже ночью трепещут от страха, как бы не произнести его вслух во сне. Я и сама такова: я своей мысли не высказала и о любви моей никто не проведаст... Но время к одиннадцати, мой милый Теодор, и я мешаю вам вкушать отдых, в котором вы, очевидно, нуждаетесь. Когда мне нужно от вас уходить, у меня всякий раз сжимается сердце и мне чудится, будто я вас вижу в последний раз. Я медлю изо всех сил, но, в конце концов, все равно наступает пора удалиться. Что ж, прощайте; боюсь, что меня уже ищет д'Альбер; прощайте, мой дорогой.

Теодор приобнял ее за талию и, не отнимая руки, проводил до дверей; там он остановился и долго провожал ее взглядом; по всей длине коридора были прорезаны маленькие узкие оконца, в которые светила луна, и перепады света и тьмы создавали впечатление какого-то волшебства. Перед каждым окном непорочно-белая фигура Розетты вспыхивала, как серебряный призрак; потом она гасла, чтобы, чуть погодя, озариться еще ярче; наконец она совсем исчезла.

Словно под бременем тяжелых раздумий Теодор несколько минут стоял неподвижно, скрестив руки на груди, потом провел по лбу ладонью, тряхнул головой, откидывая назад волосы, вернулся к себе в комнату и лег, но прежде поцеловал в лоб пажа, который спал, не просыпаясь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Едва в покоях Розетты рассвело, к ней явился д'Альбер, обнаружив поспешность, которая обыкновенно вовсе не была ему свойственна.

— Это вы? — ахнула Розетта. — Я сказала бы, что вы нынче пожаловали необычайно рано, если бы мне когда-нибудь могло показаться, что вы пришли рано. Итак, в награду за вашу галантность жалую вам руку для поцелуя.

И, высвободившись из-под отделанной кружевами простыни голландского полотна, она протянула ему самую славную ручку на свете, полную и округлую.

Д'Альбер сокрушенно приложился к ней губами:

— А другую, ее сестричку, неужто так и не дадут поцеловать?

— Да почему же, нет ничего проще. У меня сегодня воскресное настроение; вот вам. — И, выпростав вторую руку, она слегка хлопнула ею по губам молодого человека. — п правда ли, я самая покладистая женщина в мире?

— Вы само милосердие; следовало бы воздвигнуть вам белораморные храмы в миртовых рощах. Право, я не на шутку боюсь, как бы вас не постигла судьба Психеи и как бы сама Венера не вспылала к вам ревностью, — отозвало д'Альбер, сомкнув руки красавицы и поднося их обе к губам

— Вы так и выпалили мне все это без запинки! Можно по думать, что ваш урок затвержен наизусть, — с очаровательной гримаской заметила ему Розетта.

— Ничуть не бывало: вы заслуживаете фразы, придуманной нарочно для вас, и созданы для того, чтобы выслушивать самые девственные мадригалы, — возразил д'Альбер.

— Вот как? Право, какая муха нынче вас укусила? Откуда такая галантность, уж не больны ли вы? Боюсь, что вы при смерти. Знаете ли, что, когда у человека внезапно без видимых причин меняется нрав, это не предвещает ничего хорошего? Все женщины, которые давали себе труд вас любить, подтвердят, что обычно вы угрюмы до невозможности; однако нет никаких сомнений в том, что нынче вы донельзя милы и совершенно необъяснимо любезны. Глядите-ка, мне и впрямь сдается, что вы бледны, бедняжка д'Альбер: дайте-ка мне руку, я пощупаю ваш пульс. — И, засучив ему рукав, она с комической серьезностью принялась считать биение пульса. — Нет... Вы в отменном

здравии, я не нахожу ни малейшего симптома лихорадки. Тогда надо думать, что я нынче утром чертовски хорошо выгляжу! Ну-ка, принесите мне зеркало, поглядим, насколько оправданна ваша галантность.

Д'Альбер взял с туалета зеркальце и поставил его на постель.

— В самом деле, — изрекла Розетта, — пожалуй, вы не так уж заблуждаетесь. Почему бы вам не сложить сонет о моих глазах, господин стихотворец? У вас нет никаких оснований от этого отлынивать. Подумать только, до чего я несчастна - мне достались такие глаза и такой поэт, а сонета мне не пишут, словно я кривая, а возлюбленный у меня — водонос! Вы меня не любите, сударь! Вы не сочинили мне даже сонета-акростиха. А как вам нынче нравятся мои губы? Между про-я целовала вас этими самыми губами и, возможно, буду целовать еще, мой печальный красавчик, но на самом деле вы ничуть не достойны этой милости (я говорю не про сегодня, потому что сегодня вы достойны любой награды); однако что это мы все обо мне да обо мне... Вы и сами нынче утром несравненно свежи и хороши, вас можно принять за родного брата Авроры: едва рассвело, а вы уже и нарядились, и прихорошились, как на бал. Не питаете ли вы случаям намерений на мой счет? Не готовите ли предательского удара из-за угла моей добродетели? Не желаете ли меня покорить? Но я позабыла: это уже произошло и осталось в глубокой древности.

— Оставьте эти шутки, Розетта, вы же знаете, что я вас люблю.

— Да как вам сказать. Я вовсе в этом не уверена, а вы?

— Совершенно уверен, и вот подтверждение тому: потрудись вы поставить у дверей стражу, я попытался бы доказать вам свою любовь на деле и льщу себя надеждой, что не без успеха.

— Нет, только не это: как бы ни хотелось мне убедительных доказательств, двери мои останутся открыты. Я слишком хороша собой, чтобы сидеть взаперти; солнце светит для всех, и моя красота нынче последует его примеру, если вы не находите в этом ничего дурного.

— По чести сказать, я не нахожу в этом ничего хорошего, но прошу вас не считаться с моим мнением. Я ваш смиреннейший раб и слагаю свои желания к вашим стопам.

— Превосходно, питайте и впредь подобные чувства и оставьте нынче вечером ключ в дверях вашей спальни.

— Шевалье Теодор де Серанн желает засвидетельствовать вам свое почтение и покорнейше просит дозволения войти, — с улыбкой провозгласил толстощекий негр, просунув огромную голову между створками двери.

— Просите! — и Розетта натянула одеяло до самого подбородка.

Теодор сперва подошел к постели и отвесил Розетте самый изящный и почтительный поклон на свете, на который она ответила дружеским кивком головы, а затем обернулся к д'Альберу и приветствовал его с непринужденным и учтивым видом.

— На чем вы остановились? — осведомился он. — Я, кажется, прервал оживленный разговор; ради Бога, продолжайте, лишь объясните мне в двух словах, о чем идет речь

— Ах, нет, — с хитрой улыбкой возразила Розетта, — Мы| толковали о делах.

Теодор уселся в ногах постели, поскольку д'Альбер по праву первенства занял место в изголовье; некоторое время беседа, весьма остроумная, веселая и занимательная, порхала с предмета на предмет, а посему не станем ее воспроизводить из опасения, как бы она не проиграла в пересказе. Выражение, интонация, пыл, одушевляющий слова и жесты, множество оттенков в произнесении одного и того же слова, остроумие, которое, подобно пене шампанского, искрится и тут же улетучивается, — все это невозможно уловить и передать на бумаге. Заполнить лакуну мы предоставляем читателю; он управится с этим лучше нас; пускай вообразит себе следующие пять-шесть страниц, наполненных самыми изысканными, прихотливыми, причудливо-взбалмошными, изощренными и блистательными репликами.

Мы прекрасно сознаем, что прибегли к уловке, слегка напоминающей уловку Тиманфа, который, отчаявшись изобразить надлежащим образом лик Агамемнона, набросил ему на голову покрывало; но лучше мы проявим робость, нежели безрассудство. Пожалуй, здесь было бы уместно поискать объяснений, почему д'Альбер поднялся в такую рань и с какой стати взбрело ему в голову прибежать к Розетте с первыми лучами дня, словно он все еще был в нее влюблен; похоже было на то, что в нем шевельнулась глухая бессознательная ревность. Разумеется, он не слишком дорожил Розеттой и был бы даже рад от нее избавиться, но, во всяком случае, он хотел оставить ее сам, а не быть ею оставленным, что, кстати, всегда мучительно ранит гордость мужчины, как бы ни охладел в нем первоначальный любовный жар. Теодор был такой неотразимый кавалер, что при его появлении сцене можно было опасаться того, что и впрямь уже много раз случалось: то есть что все взоры, а затем и все сердца обратятся к нему; и странное дело, хоть он и похитил немало женщин у их поклонников, ни один влюбленный не мог долго на него злиться, как злятся обычно те, кто вытесняет нас из сердец наших друзей. Весь его облик был исполнен такого непобедимого очарования, такого природного великодушия и держался он так приветливо и вместе с тем так благородно что перед ним не могли устоять даже мужчины. Д'Альбер, который, идя к Розетте, намеревался при встрече обдать Теодора холодом, весьма удивился, когда понял, что нисколько на него не сердится, и необыкновенно легко пошел навстречу всем знакам приязни, которые тот ему выказал. Спустя полчаса они болтали, словно друзья детства, а между тем д'Альбер был в душе убежден, что, коль скоро Розетте суждено влюбиться, она полюбит именно этого юношу, и у него были все основания для ревности, по крайней мере на будущее, ибо относительно настоящего он еще не питал никаких подозрений; но что было бы, если бы он видел, как красавица в белом пеньюаре, подобно ночной бабочке, скользнула, озаренная лунным лучом, в комнату прелестного молодого человека и с таинственными предосторожностями покинула эту комнату лишь три-четыре часа спустя? Право, он счел бы себя более несчастным, чем это было на самом деле, потому что где это видано, чтобы хорошенькая влюбленная женщина выходила, ничем не поступившись, из комнаты кавалера, одаренного не менее приятной наружностью, чем она?

Розетта слушала Теодора очень внимательно и так, как слушают любимого человека; но рассказы его были столь заняты и разнообразны, что внимание ее было вполне естественно и легко объяснимо. Поэтому д'Альбер ничуть не встревожился. Теодор обращался к Розетте любезно, по-дружески, но не более того.

— Что будем нынче делать, Теодор? — спросила Розетта. — Не покататься ли нам на лодке? Как вы думаете? Или отправиться на охоту?

— Отправимся лучше на охоту — это не так тоскливо, как скользить по водной глади бок о бок с каким-нибудь скучающим лебедем и раздвигать носом лодки бутоны кувшинок, — вы согласны со мной, д'Альбер?

—Мне, пожалуй, все равно, покачиваться в челноке, плывя по течению реки, или в скачке самозабвенно преследовать бедную дичь, но я поеду туда же, куда и вы; итак, нам остается дать госпоже Розетте возможность встать с постели, а самим пойти и переодеться в подходящее платье.

Розетта кивнула в знак согласия и позвонила, чтобы пришли ее одевать. Молодые люди удалились рука об руку, и видя их вместе и в таких дружеских отношениях, легко бы догадаться, что один из них — общепризнанный любовник особы, которая любит другого.

Вскоре все были готовы. Д'Альбер и Теодор, оба верхом, уже ждали в первом дворе, когда Розетта, в амазонке, появилась на верхних ступенях крыльца. В этом платье она выглядела донельзя жизнерадостно и непринужденно, что было ей необыкновенно к лицу; с обычным своим проворством она вскочила в седло, хлестнула коня, и он помчался стрелой. Д'Альбер пришпорил своего и быстро с ней поравнялся. Теодор пропустил их немного вперед, уверенный, что догонит их, как только захочет. Казалось, он ждал чего-то и все время оглядывался в сторону замка.

— Теодор, Теодор, догоняйте! Вы что же, оседлали деревянную лошадку? — крикнула ему Розетта.

Теодор пустил коня в галоп и сократил расстояние, отделявшее его от Розетты, но все же не стал подъезжать вплотную.

Он еще раз оглянулся на замок, который был едва виден. В самом конце дороги взметнулось облачко пыли, посреди которого проворно перемещался какой-то пока еще неразличимый силуэт. Спустя несколько мгновений облачко поравнялось с Теодором и, слегка приоткрывшись, подобно классическим тучам из «Илиады», явило розовое и свежее личико таинственного паж.

— Поспешите же, Теодор! — второй раз воззвала Розетта. — Пришпорьте свою черепаху и скачите сюда.

Теодор отпустил поводья своего коня, который прилясывал и норовил стать на дыбы от нетерпения, и в считанные секунды обогнал д'Альбера и Розетту на несколько шагов.

— Кто меня любит, за мной! — промолвил Теодор, перемахивая через изгородь в четыре фута высотой. — Ну-ка, господин поэт, — осведомился он, оказавшись по ту сторону, попробуете прыгнуть? Ходят слухи, будто конь у вас с крыльями.

— Право, я лучше объеду кругом; жаль было бы сломать голову, она у меня одна; будь у меня еще несколько, я бы попробовал, — с улыбкой ответил д'Альбер.

— Раз никто за мной не спешит, значит, никто меня не любит, — заключил Теодор, и уголки его губ поползли еще больше вниз, чем обычно. Маленький паж с упреком поднял на него огромные синие глаза и стиснул шпорами брюхо своего коня.

Конь так и взвился в воздух.

— Нет, любит! — произнес паж по ту сторону изгороди.

Розетта бросила на мальчика красноречивый взгляд и залилась румянцем; затем, обрушив на шею своей кобылы безжалостный удар хлыста, она перемахнула через изгородь из нежно-зеленых веток, преграждавшую путь.

— А я, Теодор? Вы полагаете, что я вас не люблю?

Мальчик метнул на нее взгляд — снизу вверх и искоса — и подъехал ближе к Теодору.

Д'Альбер был уже посреди аллеи и ничего этого не видел, ибо отцам, мужьям и любовникам с незапамятных времен дарована привилегия ничего не видеть.

— Иснабель, — сказал Теодор, — вы сумасшедший, и вы, Розетта, сумасшедшая! Иснабель, вы взяли слишком малый разбег, а вы, Розетта, чуть не зацепились платьем за колья. Вы могли убиться.

— Не все ли равно? — возразила Розетта, и в голосе ее послышалась такая горестная тоска, что Иснабель простил ей прыжок через изгородь.

Проскакав еще некоторое время, выехали на круглую площадку, где должны были ждать свора и доезжачие. Шесть арок, прорезанных в гуще леса, окружали каменную шестигранную башенку; на каждой ее стене было высечено название дороги, упиравшейся в эту стену. Деревья уходили так высоко в небо, что, казалось, пытались расчесать комковатые, словно невыделанная шерсть, облака, которые скользили под довольно сильным ветерком, зацепившись за их макушки; в высокой траве, в непролазном кустарнике было множество укромных уголков и укрытий для дичи, и охота обещала быть удачной. Да, это был добрый старый лес, с древними дубами, насчитывавшими уже не одну сотню лет, — теперь таких уже не увидишь, ведь никто больше не сажает деревья, и ни у кого недостает терпения дожидаться, пока вырастут те, что были посажены прежде; это был лес из тех, что переходят от поколения к поколению, лес, посаженный прадедами для отцов, отцами для внуков, с необыкновенно широкими аллеями, с обелиском, над которым росла береза, с источником, вытекающим из ракушечного грота, с непременно прудом, со сторожами, обсыпанными белой пудрой, в желтых кожаных кюлотах и небесно-голубых камзолах; это был один из тех густых темных лесов, где на фоне чащи так изумительно выделяются атласные белые крупы здоровенных вувермановских коней и широкие раструбы поблескивающих за плечами у доезжачих рожков а-ля Дампьер, которые так любил изображать Парросель. Множество собачьих хвостов, напоминая собой серпы или кривые садовые ножи, вихрем крутились в облаке пыли. Прозвучал сигнал, спустили собак, рвавшихся со сворок, и охота началась. Не станем в подробностях описывать, как олень, петляя и бросаясь из стороны в сторону, мчался сквозь заросли; мы даже не вполне убеждены, что это был ветвисторогий олень, и, несмотря на все наши разъяснения, так и не сумели в этом удостовериться, о чем весьма сожалеем. Но все же, по нашим предположениям, в таком древнем, таком тенистом, таком сеньериальном лесу должны водиться исключительно ветвисторогие олени, и мы не видим причин, почему бы за одним из них не гнаться галопом верхом на разномастных скакун и *non passibus aqueis* четверем главным действующим лицам нашего достославного романа.

Олень бежал с быстротой оленя, как, собственно, ему и полагалось, и пять десятков собак, гнавшихся за ним по пятам, изрядно подхлестывали его природную резвость. Погоня летела с такой скоростью, что до охотников лишь изредка доносился собачий лай.

Теодор, обладатель самого быстрого коня и самый ловкий наездник, с необычайным пылом унесся вслед своре. За ним мчался д'Альбер. Далее скакали Розетта и маленький паж Иснабель, с каждой минутой они все больше отставали от остальных.

Вскоре разрыв увеличился настолько, что исчезла всякая надежда наверстать упущенное.

— Может быть, остановимся ненадолго и дадим передышку лошадям? — предложила Розетта. — Охота умчалась в сторону пруда, а я знаю проселок, который приведет нас туда одновременно с остальными.

Иснабель натянул поводья своей горной лошадки; она опустила голову, и на глаза ей упали прядки, отделившиеся от гривы; копытами она рыла песок.

Лошадка эта являла собой разительный контраст с лошастью Розетты: одно животное было черно, как ночь, другое — атласно-белое; одно косматое, с растрепанной гривой, у другого грива была заплетена голубыми ленточками, а хвост расчесан и завит. Второе было похоже на единорога, а первое на спаниеля.

Наездники различались между собою точно так же, как их скакуны. Насколько черны были волосы у Розетты, настолько белокуры у Иснабеля; брови у нее были очень четко очерчены и весьма заметны, а брови пажа совсем не выделялись на фоне кожи и смахивали на пушок персика. Лицо у Розетты было румяное и яркое, как полуденное солнце, а у пажа прозрачностью и нежными красками напоминало о первых лучах рассвета.

— Давайте попытаемся догнать охоту! — обратился Иснабель к Розетте. — Лошади уже отдышались.

— Поехали! — отозвалась прелестная амазонка, и они пустили лошадей вскачь по боковой аллее, которая вела к пруду; лошади бежали бок о бок, почти во всю ширину аллеи.

Со стороны Иснабеля у обочины росло раскидистое узловатое дерево, выставлявшее вперед толстую ветку, словно руку, которая грозила наездникам кулаком. Ребенок не заметил ее.

— Берегитесь! — воскликнула Розетта. — Пригнитесь пониже, не то вас выбросит из седла!

Совет запоздал; ветка со всего маху ударила Иснабеля в грудь. Удар был так силен, что мальчик не удержался в стременах; лошадь ускакала вперед, а ветка была такая толстая, что не прыгнула в сторону, и паж вылетел из седла, скатился назад и грохнулся оземь.

Он тут же лишился сознания. Розетта в сильном испуге соскочила с лошади и бросилась к Иснабелю, не подававшему признаков жизни.

С головы у него слетела шапочка, и прекрасные белокурые волосы пышно рассыпались по песку. Его маленькие ладони разжались и побелели так, что стали похожи на восковые. Розетта опустилась перед ним на колени и попыталась привести его в чувство. У нее не было при себе ни солей, ни склянки, и она совсем растерялась. Вдруг она заметила, что в дорожной рытвине скопилось немного чистой и прозрачной дождевой воды; к величайшему ужасу крошечной лягушки, наяды этого водоема, Розетта омочила в нем пальцы и брызнула несколько капель на голубоватые виски юного пажа. Казалось, он не почувствовал этого, и жемчужные брызги скатились по его белым щекам, как слезы сильфиды по лепестку лилии. Розетта подумывала, что его дыхание, быть может, стесняет одежда; она распустила ему пояс, растегнула пуговицы камзола и распахнула ворот сорочки, чтобы грудь дышала свободнее. Тут Розетта обнаружила нечто такое, что было бы самой приятной на свете неожиданностью для мужчины, но ее, судя по всему, отнюдь не обрадовало: ее брови сомкнулись, а верхняя губа слегка задрожала; ее взгляду явилась белоснежная девичья грудь, еще не вполне округлившаяся, но подающая самые лучезарные надежды, надежды, которые уже отчасти начинали исполняться; упругая, нежная, цвета слоновой кости, как сказали бы подражатели Ронсара, грудь, которую сладко было созерцать и еще слаще было бы целовать.

— Это женщина! — вымолвила Розетта. — Женщина! Ах, Теодор!

Иснабель — сохраним за пажом это имя, хотя оно и вымышленное, — тихонько вздохнул и томно поднял удлиненные веки; он был ничуть не ранен, а только оглушен ударом. Вскоре он сел на траву, а затем с помощью Розетты сумел встать на ноги и взобраться на коня, который встал на месте, как только лишился седока.

Тихим шагом поехали они в сторону пруда, а там оба всадника — или, вернее, обе всадницы — еще застали конец охоты. Розетта в немногих словах поведала Теодору, что произошло. Теодор во время ее рассказа то бледнел, то краснел и на обратном пути все время ехал бок о бок с Иснабелем.

В замок вернулись совсем рано! И день, начинавшийся так весело, завершился весьма уныло.

Розетта была задумчива, д'Альбер тоже, казалось, глубоко ушел в себя. Вскоре читатель узнает, что было тому причиной.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нет, любезный мой Сильвио, нет, я тебя не забыл; я не из тех, кто шагает по жизни, ни разу не оглянувшись; мое прошлое следует за мной по пятам и вторгается в настоящее, а то и в грядущее; твоя дружба для меня — одна из тех залитых солнцем лужаек, которые лучше всего видны на горизонте моих последних лет, уже затянутом синей дымкой; и я часто оглядываюсь на нее с вершины, на которую теперь взобрался, и люблюсь ею с чувством неизбывной печали. О, какое прекрасное было время! Как ангельски чисты \1ь, были! Наши ноги едва касались земли, у нас словно крылья росли за плечами, наши желания подхватывали и уносили нас ввысь, и золотой ореол отрочества трепетал над нашими головами на весеннем ветерке.

Помнишь остров, поросший тополями, в том месте, где река разделяется надвое? Туда можно было добраться по очень длинной и совсем узкой доске, которая опасно прогибалась посередине. Козам этот мостик был в самый раз, и, по правде сказать, только козы им и пользовались: в этом была главная прелесть. Короткая густая трава, из которой, помаргивая, выглядывали очаровательные голубые глаза незабудок, желтая, словно нанковая, тропинка, опоясывавшая зеленый наряд островка, вечно зыблющиеся тени осин и тополей были также не последними украшениями этого рая; женщины приносили сюда куски полотна и расстилали на траве, чтобы роса их отбелила; они казались квадратными снежными сугробами; а эта девочка, вся смуглая, загорелая до черноты; ее темные дикарские глаза так лукаво сверкали из-под длинных прядей волос; она бегала за козами и грозно помахивала ивовым прутиком, когда ей казалось, что они вот-вот потопчут холсты, которые она сторожила, — ты помнишь ее? А бабочки цвета серы, мечущиеся и ныряющие в воздухе, а зимородок — мы столько раз пытались его изловить, он свил себе гнездо в зарослях ольшаника... А эти спуски к реке по грубо вырубленным ступеням и столбы, и сваи, снизу совсем позеленевшие и почти всегда скрытые за частоколом деревьев и кустарников? Какая прозрачная и сверкающая была вода! Как просвечивало дно, усыпанное золотистым гравием! И до чего приятно было, сидя на бережку, окунать ноги в речную струю! Стебли кувшинок, усеянные золотыми цветами, переплетались затейливыми узорами и походили на зеленые волосы, ниспадающие на агатовую спину купающейся нимфы. Небо с лазурной улыбкой смотрелось в это прозрачное, как чистейший жемчуг, зеркало и в разные часы дня с неистощимым разнообразием отливало то бирюзой, то золотыми блестками, заволакивалось то ватой, то муаром. Как я любил эти

эскадры уток с изумрудными шейками, которые без конца сновали от берега к берегу, оставляя борозды на зеркальной глади воды!

Как хорошо мы вписывались в этот пейзаж! Как гармонично сочетались с этой тихой и безмятежной природой, как легко находили с ней общий язык! Кругом царит весна, в груди торжествует юность, трава залита солнцем, губы озарены улыбкой, все кусты усыпаны снегом цветов, в душе у нас цветут белоснежные иллюзии, стыдливый румянец сияет на наших лицах и на цветах шиповника, в сердце звенит поэзия, в деревьях прячутся щебечущие птицы, свет, воркование, ароматы, тысячи смутных шумов, и сердце бьется, и вода журчит по гальке, стебельки травы и наши помыслы тянутся ввысь, капля росы скользит по чашечке цветка, слезинка срывается с ресниц и бежит по щеке, влюбленный вздох, шелест листы... Какие вечера нам выдавались, когда мы гуляли неспешным шагом у самой реки, так близко, что подчас одна нога ступала по воде, а другая по суше.

Увы, это продолжалось недолго, во всяком случае, для меня, потому что ты, хоть и приобрел опыт мужчины, сумел сохранить детское чистосердечие. Семя испорченности, зароненное в меня, быстро проросло, и все, что было во мне чистого и здорового, безжалостно извела гангрена. Из всех невинных радостей мне осталась лишь твоя дружба.

Я привык ничего от тебя не скрывать — ни поступков, ни помыслов. Я обнажал перед тобой самые сокровенные уголки моего сердца; я обязался описывать тебе самые странные, несуразные и смешные побуждения своей души, но, по правде сказать, с недавних пор меня захватили столь ни с чем не сообразные переживания, что я не смею признаться в них и самому себе. Я уже писал тебе прежде, что в поисках прекрасного, упорных и беспокойных, боюсь рано или поздно столкнуться с невозможным или скатиться до противоестественного. Мои опасения почти сбылись. Когда же я избавлюсь от всех этих разнородных течений, которые тянут меня в разные стороны и заносят то вправо, то влево? Когда же палуба моего корабля перестанет ходить ходуном у меня под ногами, доколе через нее будут перекатываться валы, поднятые всеми этими бурями? Где обрету я пристань, у которой мог бы бросить якорь, и незыблемую скалу, недосыгаемую для волн, где мог бы обсушиться и отжать морскую пену из волос?

Тебе ведомо, как пылко я взыскую телесной красоты, какое значение придаю внешней форме и какую любовью проникнут к зримому миру: я, должно быть, слишком развращен и пресыщен, чтобы верить в духовную красоту и мало-мальски настойчиво ее домогаться. Я почти утратил понятие о доброте и зле и в силу своей испорченности почти дошел до дикарского или ребяческого неведения. В самом деле, по мне, ничто не стоит ни хулы, ни хвалы, и я весьма слабо удивлюсь даже самым странным поступкам. Моя совесть глуха и нема. Адюльтер представляется мне самым невинным занятием на свете, я не вижу ничего особенного в том, что девушка выходит на панель; полагаю, что без малейших угрызений совести предам друзей и, ничуть не раскаиваясь, пинком ноги столкну в пропасть мешающих мне людей, если окажусь вместе с ними на ее краю. Я хладнокровно буду любоваться самыми жестокими зрелищами, и в страданиях и горестях человечества таится для меня нечто приятное. Видя, как на мир обрушивается очередное бедствие, я испытываю такое острое и горькое упоение, как будто отомстил наконец за давнишнюю обиду.

О, мир, за что я так тебя ненавижу? Кто разжег во мне такую злобу против тебя? Чего я от тебя ожидал, если затаил на тебя такую досаду за то, что ты обманул мои ожидания? Какие высокие надежды ты развеял? Какие орлиные крылья обрубил? Какие двери ты должен был мне отворить, но оставил на запоре, и кто из нас оказался не на высоте — ты или я?

Ничто не трогает меня, ничто не волнует; слушая повесть о героических деяниях, я уже более не ощущаю того священного трепета, который когда-то охватывал меня с головы до ног. Все это, отчасти, даже кажется мне глупо. Ни один голос не имеет надо мною такой силы, чтобы проникнуть в недра моего дряблого сердца и вызвать в нем дрожь; на слезы ближних я взираю так же, как на обыкновенный дождик, — разве что это будут очень уж крупные и прозрачные слезы, и блики света заиграют на них живописнее обычного, или они заструятся по хорошенькому личику. И только к животным я еще питаю малую толику жалости. По мне, пускай хоть до полусмерти изобьют крестьянина или слугу, но я не потерплю, чтобы в моем присутствии то же самое проделали с лошадей или с собакой; а между тем я никогда не отличался жестокостью, никогда и никому не причинил зла и, вероятно, никогда не причиню; дело тут скорее в моем равнодушии и царственном презрении, чувствах, которые я питаю ко всем, кто не пришелся мне по вкусу, и которые мешают мне приблизиться к людям даже затем, чтобы им повредить. Все человечество скопом внушает мне омерзение, и лишь одного-двоих во всей этой куче народу я признаю достойными особой ненависти. Ненавидеть кого-либо значит беспокоиться о нем не меньше, чем если бы он был любим; это значит отличать его, выделять из толпы, пылать к нему яростью; это значит думать о нем днем, а ночью видеть его во сне; кусать подушку и скрежетать зубами при мысли о том, что он живет на свете; разве мы способны сделать больше для тех, кого любим? Разве ради того, чтобы угодить любовнице, мы согласимся на все те муки и те усилия, на которые идем, чтобы погубить врага? Сомневаюсь! Чтобы кого-нибудь как следует ненавидеть, нужно любить кого-то другого. Великая ненависть всегда служит противовесом великой любви: но я-то никого не люблю — кого же мне ненавидеть?

Ненависть моя сродни моей любви: это неясное, всеобъемлющее чувство, ищущее, но не находящее себе выхода: я ношу в себе сокровища ненависти и любви, но не знаю, что с ними делать, и они чудовищно меня тяготят. Если я не найду, на что истратить то, или другое, или оба — я лопну, я разорвусь, как слишком туго набитый кошелек, прохудившийся и продравшийся по швам. О, если бы я мог вспылать к кому-нибудь злобой, если бы один из тех глупцов, с которыми я живу, мог оскорбить меня настолько, чтобы в ледяных моих жилах вскипела змеиная кровь, и вырвать меня из утробного сонного забытия; если бы ты, старая колдунья с трясущейся головой, укусила меня в щеку своими крысиными зубами и влила в меня свой яд и свою злобу, если бы жизнь для меня свелась к смерти врага; если бы последнее сердцебиение врага, извивающегося под моей пятой, могло исторгнуть у меня сладостный холодок, бегущий по корням волос и если бы запах его крови был для моих жаждущих ноздрей приятнее аромата цветов, — о, с каким бы удовольствием тогда я отказался от любви и каким счастливец считал бы себя!

Смертельное объятие, укус тигра, кольцо удава, нога слона, наступившая на грудь, которая хрустит и сплющивается под ее тяжестью, острый хвост скорпиона, сок молочая, зазубренный яванский кинжал — лезвие, сверкающее в ночи и гаснущее в крови врага, — заменили бы вы мне осыпавшиеся розы, влажные поцелуи и любовные ласки!

Я сказал, что не могу полюбить — увы! Теперь я боюсь, что любовь пришла ко мне. Уж лучше сто тысяч раз проникнуться ненавистью, чем испытать такую любовь! Я встретил тот тип красоты, о котором мечтал так долго. Я нашел живое воплощение моего призрака; я видел его, он со мною говорил, я касался его рукой, он существует, это не химера. Я давно уже знал, что не мог обмануться, и предчувствия мне не лгали. Да, Сильвио, рядом со мной — идеал моей жизни; вот моя комната, а там — его; отсюда мне видно, как трепещет занавеска у него на окне и колеблется пламя его лампы. Его тень мелькает на занавеске: через час мы вместе сядем за ужин.

Этот прекрасный разрез глаз, напоминающий о Турции, ясный глубокий взор, теплый, бледно-янтарный цвет лица, длинные черные блестящие волосы, нос, очерченный тонко и гордо, изящные, гибкие члены и суставы, как на картинах Пармиджанино, нежные изгибы, чистый овал лица, такой изысканный, такой аристократический, — словом, все, о чем я мечтал, что рад был бы обрести, хотя бы по частям в пол дюжины разных людей, все это вместе я обрел в одном-единственном человеке!

Более всего на свете меня восхищают красивые руки. Видел бы ты его руку! Совершенство! Какая живая белизна! Ка-трогательная нежность! Как изумительно заострены кончики пальцев! Как четко очерчены лунки ногтей! Какие они гладкие и блестящие, точь-в-точь внутренние лепестки розы! Хваленые и прославленные руки Анны Австрийской по сравнению с этими руками все равно что лапищи птичницы или посудодомойки. И потом, сколько грации, сколько изыска в малейшем движении его руки! Как грациозно изгибается мизинец, держась слегка на отлете от своих старших братьев! Мысль об этой руке сводит меня с ума, томит мои губы дрожью и палит огнем. Я закрываю глаза, чтобы не видеть ее, но она кончиками точеных пальцев ухватывает меня за ресницы и насильно поднимает веки, и перед моим взором проходят тысячи видений, изваянных из снега и слоновой кости.

Ах, нет сомнений, что этой атласной кожей обтянуты когти Сатаны; какой-то насмешливый бес надо мной глумится; это сущее колдовство. Это слишком чудовищно, такого быть не может.

Эта рука... Уеду в Италию, буду смотреть картины великих мастеров, изучать, сравнивать, срисовывать, сам в конце концов сделаюсь художником, чтобы мне стало по силам запечатлеть эту руку во всей красе, как я ее вижу, как я ее чувствую; быть может, вот оно, единственное средство избавиться от наваждения.

Я жаждал красоты, но сам не знал, о чем прошу. Это все равно что пожелать глядеть на солнце глазами, лишенными век; это все равно что пожелать прикоснуться к огню. Мои терзания невыносимы. Почему мне не дано уподобиться этому совершенству, переселиться в него и вобрать его в себя, почему я бессилён передать его и воспроизвести его всемогущество! Когда я вижу нечто прекрасное, мне хочется прикоснуться к нему всем своим существом, осязать его целиком и одновременно. Мне хочется воспеть его и запечатлеть в камне, изваять, описать и внушить ему такую же любовь, какую питаю к нему я сам; мне хочется того, что невозможно и когда не станет возможно.

Твое письмо причинило мне боль, сильную боль — прости, что я тебе об этом пишу. Твое невинное безмятежное счастье, прогулки в лесах, одетых багрянцем, долгие беседы такие нежные и душевные, с неизменным чистым поцелуем в лоб на прощание; спокойная уединенная жизнь; дни, мелькающие так быстро, что кажется, будто ночи наступают чересчур поспешно, — все это еще острее напоминает мне о том бурном внутреннем смятении, в котором живу я сам. Итак, через два месяца вы поженитесь; все препятствия устранены, и вы уверены, что вечно будете принадлежать друг другу. Грядущее ваше блаженство множит ваши нынешние радости. Вы счастливы и твердо верите, что скоро станете еще счастливее. Какая судьба вам досталась! Твоя подруга хороша собой, но ты любишь в ней не мертвую осязаемую красоту тела, а невидимую и непреходящую, не стареющую с годами красоту души. Она благородна и простодушна; она любит тебя, как умеют любить такие создания. Ты не доискивался, совпадают ли оттенком ее золотистые волосы с кудрями на полотнах Рубенса и Джорджоне; они нравятся тебе, потому что это ее волосы. Бьюсь об заклад, влюбленный счастливчик, ты даже понятия не имеешь, к какому типу отнести наружность твоей возлюбленной — к греческому или азиатскому, английскому или итальянскому. О, Сильвио! Как редки сердца, довольствующиеся чистой

и простой любовью и не мечтающие ни о хижине отшельника в лесу, ни о садах на острове посреди Лаго-Маджоре!

Если бы мне достало мужества вырваться отсюда, я бы погостил у вас месяц; может быть, я стал бы чище, дыша одним воздухом с вами, может быть, сень ваших аллей овевала бы прохладой мой пылающий лоб; но нет, я не должен ступать в ваш рай ни ногой. Мне дозволено разве что издали, из-за стен ограды, смотреть, как гуляют по саду рука об руку, не сводя друг с друга глаз, два прекрасных ангела. Дьявол может проникнуть в Эдем не иначе как в обличье змея, а я, дорогой мой Адам, ни за какие блага небесные не хотел бы оказаться змеем для твоей Евы.

Какие же чудовищные превращения свершились за последнее время в моей душе? Кто же выкачал из меня кровь и пустил в мои жилы отраву? О, чудовищная мысль, раскинувшая свои бледно-зеленые ветви и, как цикута, тянущая ввысь свои зонтики в ледяной тьме моего сердца, какой ядовитый ветер занес в мою грудь семя, из которого ты возшла! Так вот что было мне уготовано, так вот куда вели все дороги. по которым я так отчаянно устремлялся вперед! О, судьба, как ты играешь с нами! Все эти орлиные порывы к солнцу, чистое пламя, взметнувшееся к небесам, божественная меланхолия, глубокая, постоянная любовь, поклонение красоте, изысканная и затейливая фантазия, неиссякаемый и все прибывающий поток, льющийся из сокровенного источника, экстаз с вечно распростертыми крыльями, мечта, цветущая пышней, чем боярышник в мае, — вся эта поэзия моей юности, все эти дары, такие прекрасные, такие редкостные, послужили мне лишь для того, чтобы я пал ниже последнего из людей!

Я хотел любить. Я звал и заклинал любовь, как одержимый; я извивался от ярости в сознании своего бессилия; горячил себе кровь; загонял себя в трясины наслаждений; душил в объятиях, прижимая к своему бесплодному сердцу молодую, красивую, любившую меня женщину; гонялся за страстью, ускользавшей от меня. Я предавался блуду, поступал подобно девственнице, которая в надежде найти себе друга пошла бы в гнусный притон вместе с теми, кого толкнул туда разврат, а между тем мне должно было набраться терпения и ждать в укромном и тихом уединении, пока в полумраке передо мной не воссияет ниспосланный мне Богом ангел с небесным цветком в руке. Все эти годы, растраченные в мальчишеских метаниях, в бестолковой беготне, в попытках силой покорить природу и время, мне следовало провести в уединенных размышлениях, пытаюсь сделаться достойным любви; это было бы самое благоразумное; но пелена закидала мне глаза, и я шагал прямо к пропасти. И вот я уже занес одну ногу над пустотой, а другая, кажется, вот-вот оторвется от земли. Сопротивление бесполезно: чувствую, что должен скатиться на самое дно новой бездны, разверзшейся передо мной.

Да, я так и представлял себе любовь. Я питаю теперь именно те чувства, о которых мечтал. Вот, вот она, упоительная и жестокая бессонница, когда розы превращаются в чертополох, а чертополох — в розы; вот она, сладкая мука, вот оно, болезненное счастье, и та неодолимая тревога, что окутывает вас золотым облаком и, подобно опьянению, колеблет перед вами все, что вы видите; и гул в ушах, всегда отдающийся последним слогом возлюбленного имени, и бледность, и румянец, и внезапная дрожь, и обжигающий и ледяной пот: да, все это так и есть, поэты не лгут.

Перед тем как я вхожу в гостиную, где мы обычно сидим, сердце мое колотится так неистово, что его биение можно разглядеть сквозь одежду, и я вынужден прижать к нему обе руки из опасения, как бы оно не выскочило из груди. Стоит моей любви мелькнуть в конце аллеи в парке, расстояние тут же истаивает, и я не чую земли под ногами: не то дорога проваливается сквозь землю, не то у меня отрастают крылья. Ничто не может отвлечь меня от моей любви; я читаю — и обожаемый образ встает между книгой и моими глазами; сажусь на коня, скачу во весь опор — и все время чувствую во встречном

ветре прикосновение этих черных длинных волос, смешивающихся с моими, и слышу это прерывистое теплое дыхание, льнущее к моей щеке. Этот образ преследует меня как наваждение, он повсюду со мной, и я вижу его особенно ясно в те минуты, когда я не вижу его.

Ты жалел меня за то, что я никого не люблю, — теперь пожалей за то, что люблю, и в особенности за то, кого я люблю. Какое страшное несчастье, какой удар топором по моей и без того уж надломленной жизни! Какая безумная страсть, преступная и гнусная, овладела мною! Краска стыда никогда не поблекнет у меня на челе. Это самое прискорбное из всех моих заблуждений, я ничего не могу в нем понять, не могу осознать, все во мне смешалось и перевернулось; не знаю больше ни кто я, ни кто другие люди, не понимаю, мужчина я или женщина, я гадок сам себе, мною владеют странные и необъяснимые побуждения, и в иные минуты мне кажется, что рассудок покидает меня, а порой чудится, что жизнь от меня отлетает. Долго я не мог поверить в то, что со мной творится; я внимательно вслушивался в себя и наблюдал над собой. Я пытался распутать непостижимый клубок, свившийся у меня в душе. И вот наконец я обнаружил ужасную истину под всеми окутывавшими ее покровами... Сильвио, я люблю. Ох, нет, никогда не посмею тебе сказать... я люблю мужчину!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Это так. Я люблю мужчину, Сильвио. Я долго пытался строить иллюзии; я дал другое имя чувству, которое питал, я обрядил его в одежды чистой и бескорыстной дружбы; я думал, это всего лишь восхищение, с каким я всегда гляжу на прекрасное лицо и красивую вещь; много дней бродил я коварными, лукавыми тропами, которые кружат возле всякой зарождающейся страсти, но теперь спохватился и понял, на какой ложный и гибельный путь вступил. Нельзя более обманывать себя самого: я пристальнее взгляделся в себя, хладнокровно взвесил все обстоятельства, осознал все до мельчайших подробностей; я обшарил собственную душу, каждый ее закоулок, с тою твердостью, какая достигается привычкой к изучению своей натуры; когда я помышляю и пишу об этом, я краснею, но, увы, дело яснее ясного: я люблю этого юношу, я питаю к нему не дружбу, а любовь, да, любовь.

Ты, Сильвио, ты, что был мне так дорог, мой добрый, единственный мой товарищ, ты никогда не внушал мне подобных чувств, а между тем, если была когда-нибудь на земле дружба тесная и горячая, если когда-нибудь две разных души понимали друг друга безраздельно, — то была наша дружба, то были наши души. Какие окрыленные часы проводили мы вместе! Что за нескончаемые разговоры, обрывавшиеся всегда слишком рано! Сколько мы высказали друг другу такого, о чем никогда не говорят. В сердцах наших были окошки, открытые друг для друга, — те самые окошки, вторые Мом хотел бы проделать в груди у каждого человека.

Как я гордился твоей дружбой: ведь я был моложе, и притом такой простак, а ты такой умница!

Чувства, которые я питаю к этому юноше, в самом деле невероятны; никогда ни одна женщина не повергала меня в такое необычайное смущение. Звук его голоса, такой серебристый, такой звонкий, будоражит меня и заражает каким-то странным беспокойством; душа моя припадает к его губам, как пчела к цветку, и пьет мед его речей. Стоит мне коснуться его мимоходом, как меня с головы до пят бросает в дрожь, а

вечером, когда, покидая нас, он протягивает мне свою прелестную, нежную, атласную руку, вся жизнь моя притекает к месту, до которого он дотронулся, и спустя часы я все еще чувствую пожатие его пальцев.

Нынче утром я долго смотрел на него украдкой. Он сидел у своего окна — оно расположено как раз напротив моего. Эта часть замка была построена под конец царствования Генриха IV, наполовину из кирпича, наполовину из песчаника по обыкновению того времени; окно высокое, узкое, с перемычкой вверху и каменным балконом. Теодор — ведь ты наверняка уже догадался, что речь о нем, — печально облокотился на перила и, казалось, погрузился в мечты. Приспущенная драпировка из алого штофа, затканного крупными цветами, ниспадала позади него широкими складками, служа ему фоном. До чего он был хорош, до чего чарующе выглядело его бледное и смуглое лицо на этом пурпурном фоне! Две пышных волны волос, черных, блестящих, напоминающих виноградные гроздья античной Эригоны, небрежно ниспадали вдоль его щек и так прелестно обрамляли изящный и правильный овал его красивого лица! Его округлая полная шея была совершенно обнажена, он был в халате с широкими рукавами, отчасти напоминавшем женское платье. В руке он держал желтый тюльпан и, уйдя в свои мысли, безжалостно ощипывал его, пуская обрывки лепестков по ветру.

В окно уперся сияющий солнечный луч, падавший из-угла стены, и картина окрасилась теплой прозрачной позлотой, которой позавидовало бы и самое красочное из полотен Джорджоне.

Эти длинные волосы, слегка колыхавшиеся под ветерком эта мраморная обнаженная шея, этот просторный халат, стянутый в талии, эти прекрасные кисти рук, выглядывавшие из манжет, как пестики из цветочных венчиков, делали его похожим не столько на прекраснейшего в мире мужчину сколько на прекраснейшую из женщин; и я вымолвил в сердце своем: «Это женщина! Право, это женщина!» Потом я внезапно припомнил глупости, которые написал тебе давным-давно, — ну, помнишь, о моем идеале и о неперменных условиях, при каких должна произойти наша встреча, прекрасная дама в парке эпохи Людовика XIII, красно-белый замок, обширная терраса, аллеи со старыми каштанами и взгляд, брошенный мельком в окно; когда-то я расписал тебе все это в подробностях. Теперь все так и было: картина, открывшаяся моему взору, в точности воспроизводила мою мечту. Тот же архитектурный стиль, то же освещение, тот же тип красоты, те же краски, то же настроение, о каких я мечтал, — и ни одного изъяна, только дама оказалась мужчиной, но признаюсь тебе, что в тот миг я совершенно забыл об этом.

Наверное, Теодор — переодетая женщина, иначе и быть не может. Эта щедрая красота, чрезмерная даже для женщины, — не та красота, что присуща мужчине, будь то хоть Антиной, друг Адриана, хоть Алексис, друг Вергилия. Это женщина, черт побери, и я был сущим болваном, что так себя терзал. Значит, все объясняется самым естественным образом, и я не такое чудовище, как вообразил.

Разве Бог оттенил бы такой длинной и темной шелковистой бахромой гадкие мужские веки? Разве Он окрасил бы таким ярким и нежным кармином наши гадкие рты, губастые и обросшие щетиной? Наши кости, сработанные топором и грубо сочлененные между собою, вовсе не заслуживают, что бы их облекала такая белая и нежная плоть; наши шишковатые черепа недостойны того, чтобы их омывали волны такие прелестных волос.

— О, красота! Мы созданы лишь для того, чтобы любить тебя и поклоняться тебе, становясь пред тобой на колени повсюду, где бы тебя ни нашли, а если это счастье не дается нам, то вечно искать тебя по свету, но обладать тобой, воплощать тебя — такое дано только ангелам и женщинам. Любовники, поэты, живописцы, ваятели — все мы стремимся воздвигнуть тебе алтарь: любовник в своей возлюбленной, поэт в гимне,

живописец на холсте, ваятель в мраморе, но все мы обречены на отчаяние, ибо не в силах придать осязаемость той красоте, которую ощущаем, и вот мы таскаем по миру свои тела, не воплощающие наших собственных понятий о том, каким должно быть тело.

Однажды я видел юношу, похитившего у меня внешность, которая должна была быть моей. Этот негодяй был точь-в-точь таков, каким хотел быть я. Каждое мое уродство было в нем прекрасно, и рядом с ним я казался его эскизом. Он был моего роста, но стройнее и крепче; его осанка напоминала мою, но отличалась изяществом и благородством, которых я был лишен. Его глаза были того же цвета, что мои, но только моим никогда не бывать столь выразительными и блестящими. Его нос был вылеплен по тому же образцу, что мой, но затем его словно подправил резец искусного скульптора; ноздри его были как-то значительнее, глубже вырезаны, форма рельефнее, и вообще от него веяло чем-то героическим, тогда как у меня эта столь выдающаяся часть нашего «я» начисто лишена подобного выражения; казалось, природа произвела на мне пробу, прежде чем сотворить мое улучшенное «я». Я словно был перемаранным неразборчивым черновиком, а он — изложением той же мысли, переписанным набело красивым почерком. Когда я смотрел, как он ходит, останавливается, кланяется дамам, садится, ложится с этим безупречным изяществом, рождающимся из совершенна пропорций, меня охватывали уныние и жестокая заесть, какую, должно быть, испытывает глиняный болван, что сохнет и трескается, заброшенный в уголке мастерской, покуда горделивая мраморная статуя, которая не появилась без этого болвана, надменно красуется на своем резном цоколе и привлекает внимание и похвалу посетителей. Ведь в конце концов, этот плут — это я, только лучше удавшийся отлитый в более послушной бронзе и с большей точностью заполнивший все углубления литейной формы. По-моему с его стороны большая дерзость разгуливать как ни в чем не бывало, щеголяя моим обличьем и нахально притворяясь оригиналом: ведь, в сущности, он — плагиат, списанный с меня, потому что я родился раньше его, и не будь меня, природа не додумалась бы создать его таким, каков он есть. Когда женщины принимались хвалить его приятные манеры и обаяние, меня разбирало нестерпимое желание сказать им-«Дурочки, хвалите лучше прямо меня, потому что этот господин — я, и адресовать ему то, что положено мне, значит метить пальцем в небо». А подчас на меня накатывало неодолимое искушение задушить его, вышвырнуть его душу за порог тела, по праву принадлежащего мне, и я бродил вокруг него, плотно стискивая губы и сжимая кулаки, подобно сеньору, что кружит около своего дворца и не знает, как выставить оттуда семью голодранцев, обосновавшихся там в его отсутствие. В довершение всего этот молодой человек глуп, и глупость способствует его успехам. И порой я завидую не столько его красоте, сколько его глупости. В Евангелии не все сказано о нищих духом: дескать, их есть царствие небесное; об этом я ничего не знаю, и это мне безразлично, но верно другое: царствие земное принадлежит им. Им достаются деньги и красивые женщины — две вещи, которых стоит желать в нашем мире. Знаешь ли ты умного человека, который был бы богат, или пылкого, достойного юношу, у которого была бы мало-мальски сносная возлюбленная. А Теодор очень хорош собой, но я не зарюсь на его красоту-по мне, пускай лучше красавцем будет он, а не я.

Так, значит, эта странная любовь, которой переполнены элегии старинных поэтов, любовь, которая нас поражает и которой мы не в силах постичь, оказывается и правдоподобна, и возможна. В наших переводах мы подставляли женские имена вместо тех, что стояли в оригинале. Ювентий превращался в Ювентию, Алексис в Ианту. Прекрасные мальчики становились прекрасными девами — так переустраивали мы чудовищные серали Катулла, Тибулла, Марциала и сладкозвучного Вергилия. Весьма галантное занятие, доказывавшее лишь, как мало поняли мы античный гений.

Я человек гомеровских времен; я живу в мире, который У! не чужд, и ничего не понимаю в окружающем меня обществе. Для меня Христос еще не приходил в мир; я такой же

язычник, как Алкивиад и Фидий. Я никогда не обрывал на Голгофе цветы страстей Господних, и могучий поток, что берет свое начало из прободенного бока распятого и алой волной опоясывает весь мир, не омыл меня своей влагой; мое мятежное тело не желает признавать главенство души, а плоть моя отвергает умерщвление. По мне, земля так же прекрасна, как небо, и я считаю, что всякое усовершенствование формы есть благо. Духовное начало — это не по мне: я люблю статую больше призрака и яркий полдень больше сумерек. Мне нравятся на свете три вещи: золото, мрамор и пурпур — блеск, прочность и цвет. Из этого сотканы мои грезы, и все дворцы, которые я возвел в мечтах, построены из этого материала. Иногда меня посещают другие видения: длинные кавалькады белоснежных коней, свободных от упряжки и от поводьев, и восседающие на них прекрасные нагие юноши на фоне темно-синей ленты, наподобие той, что тянется по фризам Парфенона, или толпы девушек, увенчанных легкими повязками, в туниках, падающих прямыми складками, и с сестрами из слоновой кости — они словно водят хоровод вокруг огромной вазы. Но никакого тумана, никаких испарений, ничего смутного или зыбкого. На моем небосводе нет ни облачка, а если есть, то это весьма твердые облака, вырезанные резцом из осколков мрамора, отпавших от статуи Юпитера. Горы окаймляют этот небосвод со всех сторон своими острыми торчащими зубцами, а солнце, облокотясь на одну из самых высоких вершин, широко распаивает свой желтый львиный глаз с золотистыми веками. Стрекошет цикада, потрескивает колос; побежденная тень и Нетерпимая, невыносимая жара клубятся у подножия деревьев: все сияет, все блистает, все сверкает. Малейшая деталь обретает твердость и отважно выставляется напоказ; каждый предмет облекается в четкую форму и яркие краски. Здесь нет места дряблости и грезам христианского искусства. Этот мир мой. Ручьи на моих пейзажах изливаются мраморными потоками из мраморных урн. Между гигантскими тростниками, зелеными и звонкими, как на берегах Эврата блистает порой округлое и серебристое бедро какой-нибудь наяды с волосами цвета морской воды. В этой темной дубраве проносится Диана с колчаном за спиной, в развевающейся перевязи и в сандалиях, подвязанных лентами. За ней поспешает свора, и мчатся нимфы со сладкозвучными именами. Мои картины написаны в четыре краски, как картины древних художников, а подчас это просто раскрашенные барельефы, ибо я люблю потрогать пальцем то, что увидел, и проследить округлость контуров вплоть до самых незаметных изгибов; я на все смотрю под различными углами зрения и брожу вокруг с фонарем в руке. Я рассматриваю любовь в свете древности, словно часть более или менее совершенной скульптуры. Какова у нее рука? Недурна. Кисти рук, пожалуй, довольно нежные. А как вам кажется эта нога? По мне, лодыжке недостает благородства, а пятка выглядит как-то пошло. Зато грудь высокая и хорошей формы, контур фигуры достаточно волнистый, плечи полные и весьма выразительные. Эта женщина могла бы служить моделью скульптору, а отдельные части ее тела вполне подходят для того, чтобы ваять с них копии. Полюбим ее.

Таков я был всегда. На женщин я смотрю взглядом ваятеля, а не любовника. Я всю жизнь заботился о форме сосуда и никогда — о качестве содержимого. Попади мне в руки ларей Пандоры, думаю, что я не открыл бы его. Только что я сказал, что для меня Христос не приходил в мир; Мария, звезда обновленных Небес, кроткая мать преславного малыша, тоже еще не ступала на землю.

Часто я подолгу простаиваю под каменной листвой соборов, под дрожащими, проникающими сквозь витражи лучами в час, когда орган постанывал сам собой, когда невидимый палец касался клавиш и ветер свистел в органных трубах, — и погружал взгляд в самую глубину бледной лазури удлинённых глаз Мадонны. С благочестивым вниманием я обводил взглядом овал ее осунувшегося лица, еле намеченные дуги бровей, восхищался ее гладким и сияющим лбом, ее чистыми и прозрачными висками, скулами, слегка тронутыми скромным девическим румянцем, более нежным, чем цветок персика; я мысленно перебирал одну за другой ее прекрасные золотистые ресницы, отбрасывавшие

на щеки трепетную тень; я угадывал в омывавшей их полутени ускользающие линии хрупкой, смиренно склоненной шеи; я даже приподнял дерзновенной рукой складки ее туники и взглянул на лишенную покровов девственную, налитую молоком грудь, которой никогда не касались ничьи губы, кроме божественных; я проследил за тоненькими голубыми венами вплоть до их мельчайших ответвлений, я нажал пальцем на эту грудь, чтобы оттуда белыми струйками брызнул небесный напиток; я приложился губами к бутону мистической розы.

И что же! Признаюсь, что вся эта нематериальная красота — такая летучая, такая невесомая, что кажется, вот-вот взлетит, — оставила меня почти равнодушным. Я больше, в тысячу раз больше люблю Венеру Анадиомену. Эти древние глаза, слегка раскосые, эти губы, такие чистые и так твердо очерченные, полные такой любви и так внятно зовущие к поцелую, низкий выпуклый лоб, волосы, волнистые, как море, и небрежно завязанные узлом на затылке, сильные и лоснящиеся плечи, спина с тысячей очаровательных изгибов, маленькая, тугая грудь, все эти округлые и удлиненные формы, широкие бедра, нежная сила, ощущение сверхчеловеческой мощи в столь восхитительно женственном теле пленяют и чаруют меня так сильно, что тебе, христианину и мудрецу, меня не понять.

Мария, несмотря на свой преувеличенно смиренный вид, для меня чересчур горда; кончиками ступней, обутой в белоснежные сандалии, она едва касается тающей в синеве земной тверди, где извивается древний дракон. У нее прекраснейшие в мире глаза, но они вечно обращены к небу или потуплены; они никогда не смотрят вперед — и ни один человек никогда в них не отражался. И потом, не люблю я этих нимбов из улыбающихся херувимов, которые клубятся вокруг ее головы в белесом тумане. Я ревную к этим рослым ангелам-эфебам с развевающимися волосами и одеждами, которые так влюбленно толпятся вокруг нее на всех этих «Успениях»; эти руки, которые сплетаются, чтобы ее поддержать, эти крылья, что колышутся, чтобы ее обмахнуть, раздражают и стесняют меня. Эти небесные хлыщи, такие кокетливые и торжествующие в пронизанных светом туниках в париках из золотых нитей, с голубыми и зелеными перьями в крыльях, кажутся мне что-то чересчур галантными, и, если бы я был Богом, я поостерегся бы приставлять к своей возлюбленной таких пажей.

Венера выходит из моря, чтобы явиться в мир, как подобает божеству, которое любит людей, — полностью обнаженной и в полном одиночестве. Олимпу она предпочитает землю и чаще берет себе в любовники людей, чем богов; она не окутана томными покровами мистицизма; вот она стоит на своей перламутровой раковине, позади — ее дельфин; лучи солнца падают на ее гладкий живот, а белой своей рукой она поддерживает волну прекрасных волос, которые отец Океан усеял самыми безупречными жемчужинами. Ее можно видеть: она ничего не прячет, ибо стыдливость предназначена только для дурнушек; изобретенная не так давно, стыдливость — дочь христианского презрения к форме и к материи.

О, старый мир! Все, что ты почитал, ныне предается презрению; твои идолы повержены во прах; тощие отшельники в дырявых рубищах да истекающие кровью мученики, чьи плечи исполосованы тиграми на твоих аренах, пристроились на пьедесталах твоих богов, таких прекрасных, таких пленительных: Христос окутал весь мир своим саваном. Красоте ничего не остается, как побагроветь от стыда и прикрыться погребальным покрывалом. Прекрасные юноши с умашенными маслом телами, вы, что бьетесь в ликее или в гимнасии под сверкающим небом, под ярким аттическим солнцем, перед восхищенной толпой, прикройтесь туниками, вы, спартанские девы, что пляшете и обнаженные бежите до самой вершины Тайгета, накиньте свои хламиды: ваше господство кончилось. А вы, месители глины, резчики мрамора, Промели бронзы, разбейте ваши резцы: ваятелей больше не будет. Осязаемый мир умер. Одна мысль, сумрачная и скорбная, заполняет

собою необъятную пустоту. Клеомен идет к ткачам — поглядеть, как ложатся складки на холсте или сукне.

Девственность, горькое растение, возросшее на политой кровью почве, — твой поблекший и чахлый цветок с трудом распускается в сырой тени монастырей, под холодным очистительным дождем покаяния; ты — роза без запаха, вся ошетилившаяся шипами; ты заменила нам прелестные ликующие розы, омытые нардом, и фалерно танцовщиц из Сибариса!

Античный мир не знал тебя, бесплодный цветок, ты никогда не красовался в его упоительно благоуханных венках; в этом пышущем силой и здоровьем обществе тебя попрали бы ногами. Девственность, мистицизм, меланхолия — вот три незнакомых слова, три новых недуга, принесенных Христом. Бледные призраки, затопляющие наш мир своими ледяными слезами, вы, что одной рукой облокотясь на облако, а другую — прижав к груди, знай себе твердите: «О, смерть! О, смерть!» — вы бы ни ногой не могли ступить на землю, покуда ее сплошь населяли снисходительные, беспечные боги!

Я смотрю на женщину по античному, как на прекрасную Рабыню, созданную для наших утех. Христианство не вернуло ей прав в моих глазах. Для меня она остается отличным от нас низшим существом, предметом обожания и забавы, игрушкой, у которой разума побольше, чем у тех, что сделаны из золота и слоновой кости, и которая сама встает, если уронить ее на пол. По поводу этих моих мыслей мне говорили, что я думаю о женщинах дурно, но я-то, напротив, полагаю, что думаю о них очень хорошо.

На самом деле я понятия не имею, зачем женщины добиваются, чтобы к ним относились, как к мужчинам. Я представляю себе, что кто-нибудь, пожалуй, хочет быть удавом, львом или слоном, но пониманию моему совершенно недоступно, как можно хотеть быть мужчиной. Если бы я присутствовал на Тридентском соборе, когда там решали важнейший вопрос, можно ли считать женщину человеком, я бы наверняка высказался на этот счет отрицательно.

Я набросал в своей жизни несколько любовных стихотвореньиц — по крайней мере, они притязали на то, чтобы сойти за любовные. Только что я перечел их, правда, не все - в них нет и следа любовного чувства, такого, каким оно бывает в наше время. Будь они написаны на латыни, а не по-французски, и дистихами, а не в рифму, их можно было бы принять за сочинения плохого поэта времен Августа. И я удивляюсь, почему женщины, для которых я их писал, не рассердились на меня как следует, вместо того чтобы ими восхищаться. Правда, женщины разбираются в поэзии не лучше, чем какая-нибудь капуста или роза, что вполне естественно и понятно, поскольку они сами — поэзия, вернее, поэтический инструмент: флейта же не слышит и не понимает мелодии, которую на ней играют.

В этих стихах толкуется лишь о волосах, золотых да эбеновых, о сказочно нежной коже, об округлости рук, о крошечных ножках и точеных запястьях, а довершает дело обращенная к божеству смиренная мольба о даровании автору права как можно скорее попользоваться всеми этими красотами. В смысле ликования там сплошные гирлянды, вывешенные у входа, проливни цветов, возжигаемые благовония, катулловские подсчеты поцелуев, бессонные волшебные ночи, размолвки на заре и обращенные к означенной Авроре увещевания воротиться восвояси и спрятаться за шафранными занавесями древнего Тифона; это блеск, но без жара, звучность, но без вибрации. Много точности, гладкости, и каждая вещь по-своему любопытна, но сквозь все ухищрения и покровы выразительности угадывается отрывистый грубый голос хозяина, старающийся звучать помягче в разговоре с рабыней. В отличие от эротической поэзии, создававшейся после воцарения христианства, здесь не встретишь души, умоляющей другую душу о любви,

поскольку-де она её любит; здесь не найдешь лазурного приветливого озерца, которое приглашает ручей прильнуть к его груди, дабы вместе отражать звезды небесные; здесь не обнаружишь четы голубей, одновременно расправляющих крылышки перед тем, как лететь в общее гнездо.

Цинтия, вы прекрасны; поспешите же! Кто знает, будете ли вы живы завтра? Ваши кудри чернее блестящей кожи эфиопской девы. Поспешите — немного лет пройдет, и тонкие серебряные нити покажутся в этих густых прядях; нынче эти розы благоухают, завтра они запахнут смертью, станут всего-навсего трупами роз. Будем же нюхать ваши розы, пока они схожи с вашими щеками; будем же целовать ваши щеки, пока они схожи с вашими розами. Когда вы состаритесь, Цинтия, никто вас больше не пожелает, даже слуги ликтора, если вы предложите им плату, и тогда вы будете бегать за мной, которого нынче отвергаете. Погодите, пока нготь Сатурна не избороздит вам чистого, блистающего чела, и вы увидите, как ваш порог, который нынче так осаждают и одолевают мольбами, омывают слезами и осыпают цветами, все станут обходить стороной и осыпать... насмешками, сорной травой и волчцами. Поспешите, Цинтия: мельчайшая морщинка может стать могилой величайшей любви.

В этой жестокой и властной формуле — суть любой античной элегии, которая всегда сводится к этому; в этом ее величайший смысл, главная сила, это все равно что Ахилл среди всех ее доводов. Кроме этого, ей остается сказать совсем немного, и, посулив платье из дважды окрашенного виссона и убор из жемчужин равной величины, она достигает предела своих возможностей. Я и сам считаю, что в подобных обстоятельствах ничего не может быть убедительнее. Тем не менее я не всегда придерживаюсь этой несколько скудной программы и расшиваю свою убогую канву разноцветными шелковыми нитками, надерганными тут и там. Но эти обрывки — коротенькие и с кучей узелков; они не очень-то годятся для вышивки. Я толкую о любви весьма элегически, потому что прочел о ней много хорошего. Здесь нужен лишь актерский талант. Большинству женщин достаточно легкого правдоподобия, а я благодаря привычке писать и воображать превосходно с этим справляюсь, и каждый, кто наделен сколько-нибудь развитым умом, может, если постарается достичь такого же результата; но я не чувствую ни слова из того, что говорю, и, подобно античному поэту, чуть слышно повторяю: «Цинтия, поспешите».

Меня часто обвиняли в плутовстве и притворстве. Я более всех на свете хотел бы говорить откровенно, от чистого сердца! — но ни в единой мысли своей, ни в одном чувстве я не похож на людей, которые меня окружают; первым же искренним словом, которое у меня вырвется, будет всеобъемлющее «ура» или такое же «долой»; поэтому я предпочел хранить молчание, а если открою рот, то изрыгаю глупости подхваченные у обывателей и подтверждающие мою к ним причастность. Уж то-то бы ласково меня принимали, выскажи я дамам то, что пишу тебе теперь! Не думаю, что им пришлось бы по вкусу мои взгляды и рассуждения касательно любви. Мужчинам я тоже не могу сказать в лицо, что лучше бы им ходить на четвереньках, причем, в сущности, это еще самые дружелюбные мои мысли на их счет. У меня нет желания учинять ссоры на каждом шагу. Не все ли равно в конце концов, что я думаю и чего не думаю; что за беда, если я кажусь веселым, а сам печалюсь, или радуюсь, а сам напускаю на себя меланхолический вид? Никто не осудит меня за то, что я не расхаживаю голым; так почему бы мне не скрыть лица точно так же, как я прикрываю тело? Почему маска считается предосудительней штанов, а ложь — предосудительней корсета?

Увы! Земля вращается вокруг Солнца, с одной стороны поджариваясь, а с другой — леденея. Шестьсот тысяч мужчин рвут друг друга на куски на поле боя; погода хороша до того, что лучше не бывает; цветы кокетничают своей красотой и упрямо выставляют напоказ свои пышные прелести чуть не под самым копытом лошади. Сегодня свершилось

баснословное число добрых поступков; хлещет ливень, идет снег, гремит гром, сверкает молния, стучит град; кажется, будто близок конец света. Благодетели человечества увязают в грязи по самое брюхо и забрызганы всякой дрянью, как собаки, если только не располагают каретой. Творец безжалостно измывается над своим творением и поминутно отпускает по его адресу убийственные сарказмы. Все всем безразлично, все живет и произрастает по своим собственным законам. Делаю я то или это, жив или умер, страдаю или наслаждаюсь, притворяюсь или открываю душу — какое до этого дело солнцу и свекле, и даже людям? Соломинка упала на муравья и сломала ему третью лапку во втором суставе; скала обрушилась на селение и погребла его; не думаю, чтобы одно из этих бедствий исторгло у звезд небесных, из их золотых глаз, больше слез, чем другое. Ты мой лучший друг — если только это слово не такой же пустой звук, как бряцание погремушки; а умри я, и, вне всякого сомнения, как бы ты ни горевал, но ты и двух дней не обойдешься без обеда и, несмотря на эту чудовищную катастрофу, по-прежнему будешь с удовольствием играть в триктрак. Кто из моих друзей и подруг вспомнит мое имя и фамилию через двадцать лет и кто из них узнает меня на улице, если я пройду мимо в сюртуке с драными локтями? Забвение и ничтожество — вот что такое человек.

Я чувствую себя таким безгранично одиноким, что дальше некуда, и все нити, связывавшие меня с миром, а мир — со мной, постепенно оборвались. Немного найдется людей, которые, вполне сознавая происходящие в них перемены, ухитрились дойти до такой степени оупения. Я похож на бутылку с ликером, которую оставили незакупоренной и из нее выдохся весь спирт. Вид и цвет напитка остались прежними, но попробуйте его, и он окажется безвкусным, как водичка.

Когда я об этом думаю, меня пугает, с какой быстротой происходит распад; если так пойдет и дальше, мне придется себя засолить — иначе я неизбежно протухну и зачервивею, Потому что во мне больше нет души, а ведь это единственное, что отличает живого человека от трупа. Еще год назад, не больше, во мне оставалось что-то живое — я метался, я искал. Была у меня самая любимая мысль, нечто вроде цели, некий идеал; я хотел, чтобы меня любили, я мечтал о том, о чем мечтают в моем возрасте, и пускай мечты мои были не столь туманны, не столь невинны, сколь обычно бывают у юношей, но все же они оставались в разумных пределах. Мало-помалу все, что было во мне бестелесного, испарилось, рассеялось, и в самой глубине остался лишь толстый слой вязкой тины. Мечта превратилась в кошмар, а химера в суккуба; мир души закрыл предо мною свои врата из слоновой кости; ныне я понимаю только то, что могу потрогать руками; мечты мои из камня; вокруг меня все сгустилось и затвердело, никакого парения, никакого трепета, ни воздуха ни дуновения ветерка; материя давит на меня, подчиняет себе, погребает под собой; я словно пилигрим, который уснул летним днем, опустив ноги в ручей, и проснулся зимой, чувствуя, что ноги вмерзли в твердый, крепкий лед. Я не желаю больше ничьей любви, ничьей дружбы; даже слава, блистательный ореол, которым мне так хотелось увенчаться, не внушает мне больше ни малейшего желания. Увы, во мне трепыхается только одно чувство — это чудовищное вожделение, влекущее меня к Теодору. Вот к чему свелись все мои нравственные представления: хорошо все то, что внешне прекрасно, дурно то, что безобразно. Увидь я красивую женщину, про которую известно, что она исчадие ада, распутница и отравительница, эти сведения, признаюсь, не произведут на меня ни малейшего впечатления и совершенно не помешают за ней приударить, коль скоро форма ее носа покажется мне приемлемой.

Вот как я представляю себе наивысшее счастье: это большое квадратное здание без единого наружного окна; просторный двор, окруженный беломраморной колоннадой, посредине хрустальный бассейн с фонтаном в арабском стиле, бьющим серебряными струями, корзины, полные то апельсинов, то гранатов; надо всем этим очень синее небо и очень желтое солнце; тут и там дремлют огромные борзые с щучьими мордами; время от

времени босые негры с золотыми браслетами на ногах и прелестные белокожие прислужницы стройные и гибкие, проходят в богатых и причудливых одеяниях под аркадами, прорезанными в стенах, кто с корзиной в руках, кто с амфорой на голове. А я, молчаливый, неподвижный, восседаю под великолепным балдахином на горе подушек, опершись локтем на ручного льва, положив ноги, как на скамеечку, на голую грудь юной рабыни, и куря массивную нефритовую трубку с опиумом,

Другого рая я себе не мыслю, и если Богу будет угодно отправить меня туда после смерти, пускай выстроит для меня на какой-нибудь звезде, в уголке, павильон по этому плану. Хоть рай, какой обычно описывают, представляется мне чересчур музыкальным, а я со всем смирением признаюсь, что совершенно не способен вытерпеть сонату, исполнение которой длится всего-навсего десять тысяч лет.

Теперь ты видишь, каково мое Эльдorado, какова моя земля обетованная; эта моя мечта не хуже любой другой; у ней только та особенность, что я не ввожу туда ни одного знакомого лица, что ни один из моих друзей не переступал порога моего воображаемого дворца, что ни одна из моих женщин не восседала рядом со мной на бархате подушек; я там один, и все, что меня окружает, иллюзорно. Мне никогда и в голову не приходило любить все эти женские лица, все эти грациозные тени юных девушек, которыми я населяю свой мир; я никогда не воображал себе, будто какая-нибудь из них в меня влюблена. В свой фантастический сераль я не поместил любимой султанши. Там есть негритянки, мулатки, еврейки с голубоватой кожей и рыжими волосами, гречанки и черкешенки, испанки и англичанки, но все они для меня только символы, воплощенные в красках и в линиях: я держу их, как держат всевозможные вина в погребах или собрание разноцветных колибри в вольере. Это машины, производящие удовольствие, картины, не требующие рам, статуи, оживающие, когда вам приходит охота поглядеть на них пониже и вы их подзываете. У женщин перед статуей есть то спорное преимущество, что она поворачивается к вам тем боком, каким вам угодно, а вокруг статуи надо ходить само-если желаешь взглянуть на нее под тем или иным углом — и это утомительно.

Как видишь, с такими взглядами мне нечего делать ни в нашем веке, ни в нашем мире; ведь нельзя же прожить жизнь где-то по соседству с временем и пространством. Надобно мне подыскать что-нибудь другое.

Эти рассуждения просто и естественно приводят нас к такому выводу. Если ищешь только отрады для глаз, безупречности формы и чистоты линий, ты приемлешь их везде, где бы они тебе ни встретились. Этим и объясняются странные отклонения от нормы, присущие античной любви.

С тех пор как Христос пришел в мир, не было создано ни одной мужской статуи, в которой бы отроческая красота идеализировалась и воспевалась с тем тщанием, какое было присуще древним ваятелям. Символом нравственной и телесной красоты стала женщина; воистину в тот день, когда в Вифлееме родился младенец, мужчина пал. Женщина — царица творения; звезды соединились в венец у нее над головой, серп луны почитает за честь скруглиться у нее под ногами, солнце предлагает самое свое чистое золото ей на украшения, живописцы, желающие польстить ангелам, изображают их с женскими лицами, и, разумеется, не мне их осуждать. До кроткого и галантного любителя рассказывать притчи все было наоборот: стремясь придать богам и героям побольше обаяния, им не придавали женских черт; для них существовал особый тип — мощный и в то же время изящный, но непременно мужественный, как бы ни были нежны их формы, которым рука мастера придавала сладкость, лишая их божественные руки и ноги мускулов и жил. Художники охотнее сближали тип женской красоты с этим канонem. Женщин изображали с широкими плечами, с узкими бедрами, с маленькой грудью, с мускулистыми руками и ляжками. Между Парисом и Еленой почти нет разницы. В

античном мире, где царило идолопоклонство, самой обожаемой фантастической мечтой был гермафродит.

И впрямь, этот сын Гермеса и Афродиты — одно из самых сладостных порождений языческого гения. Что можно придумать обворожительнее, чем эти два безупречных тела, гармонично слитые воедино, чем эти две красоты, такие совершенные и такие разные, превратившиеся в одну, затмившую обе изначальные, поскольку обе они оттеняют и подчеркивает одна другую: для человека, преклоняющегося исключительно перед формой, нет большего наслаждения, чем неуверенность, в которую повергает нас вид этой спины, этих подозрительных бедер и этих ног, таких изящных и таких сильных, что не знаешь, кому они скорее под стать — Меркурию, который вот-вот улетит прочь, или Диане, выходящей из воды после купания. Торс являет собой сочетание самых очаровательных несообразностей: пухлую, полную грудь эфеба венчают две непостижимо изящные девичьи округлости. На плотной, женственно мягкой спине заметны зубчатые мышцы и ребра, как на спине юноши; живот чересчур плоский для женщины, чересчур округлый для мужчины, и во всей осанке чувствуется что-то неясное, зыбкое, непередаваемое словами и совершенно по-особому притягательное. Теодор, несомненно, был бы превосходным образцом этого рода красоты; однако мне сдается, что он тяготеет скорее к женскому началу и что в нем больше осталось от Салмакиды, чем от Гермафродита из «Метаморфоз».

Странно, что я почти уже не думаю о том, какого он пола, и люблю его, совершенно не испытывая опасений. Порой я пытаюсь убедить себя, что такая любовь отвратительна, и внушаю это себе самым суровым образом; но слова остаются у меня на устах, рассуждения не претворяются в чувства; на самом деле мне кажется, что любовь моя совершенно естественна и что всякий на моем месте испытывал бы то же.

Я вижу его, слышу, как он говорит и поет — а поет он изумительно, — и получаю от этого неизъяснимое наслаждение. Я с таким упорством вижу в нем женщину, что однажды в пылу беседы с языка у меня сорвалось обращение «сударыня» и он в ответ рассмеялся несколько, как мне показалось, принужденным смехом.

Но если это все-таки женщина, какие причины могут быть у нее для подобного маскарада? Этого мне никак не постичь. Когда совсем юный, отменно красивый и идеально безбородый молодой человек переодевается женщиной, это еще можно понять: перед ним тогда отворяются такие двери, которые иначе навсегда остались бы для него закрыты, и переодевание может увлечь его в запутанный лабиринт приятнейших приключений. Таким способом он может проникнуть к женщине, которая томится под неусыпным надзором или попытаться счастья, застав желанное существо врасплох. Но я не слишком представляю себе, какие преимущества получает молодая и красивая женщина от того, что разъезжает по белу свету в мужском платье: от этого она может только проиграть. Не годится женщине вот так брать да и отвергать радость, которую приносят ухаживания, мадригалы, поклонение; обычная женщина скорее расстанется с жизнью, чем со своими преимуществами, и будет права: что такое ее жизнь без всего этого? — какая там жизнь, это хуже смерти. Я всегда удивляюсь, почему женщины, которым уже стукнуло тридцать или которые перенесли оспу, не бросаются с колокольни вниз головой.

Но вопреки всем рассуждениям, нечто более сильное, чем эти доводы, кричит мне в полный голос, что Теодор — женщина, что именно о ней я мечтал, ее одну обречен любить, и она одна меня полюбит: да, это она, богиня с орлиным взором, с прекрасными, царственными руками, благосклонно улыбалась мне с высоты своего заоблачного трона. Она явилась мне переодетая, чтобы меня испытать, проверить, узнаю ли я ее, проникнет ли мой влюбленный взгляд сквозь окутывающие ее покровы, как в волшебных сказках,

где феи являются вначале под видом нищенок, а потом вдруг предстают, блистая золотом и драгоценностями.

Я тебя узнал, любовь моя! При виде тебя сердце повернулось в моей груди, как святой Иоанн во чреве у святой Анны, когда ее посетила Богородица; ослепительный свет разлился в воздухе; я словно почуял аромат божественной амброзии; У ног твоих я разглядел огненный след и сразу же понял, что ты не простая смертная.

Мелодичные звуки виолы, на которой играет святая Цецилия для восхищенных ангелов, кажутся хрипылыми и нестройными по сравнению с жемчужными переливами, слетающими с твоих рубиновых губ; юные и радостные грации кружат над тобой в нескончаемом хороводе; когда ты едешь по лесу, птицы со щебетом клонят хохлатые головки, чтобы лучше видеть тебя, и насвистывают тебе свои самые прекрасные песенки; влюбленная луна восходит пораньше, чтобы поцеловать тебя бледными серебряными губами, ибо ради тебя она покинула своего пастуха; ветер боится замести на песке легкие следы твоей обожаемой ножки; когда ты склоняешься над источником, вода в нем делается недвижна, как хрусталь, из страха, как бы не сморщить и не исказить отражение твоего неземного лика; даже застенчивые фиалки открывают тебе свои сердечки и пускаются ради тебя на всяческое кокетство; завистливая земляника упрямо соперничает с тобой, желая сравняться с божественным румянцем твоих губ; невидимая мушка весело жужжит и аплодирует тебе, хлопая крылышками, — вся природа любит тебя и восхищается тобой, о прекраснейшее из созданий!

О, теперь-то я вижу: до сих пор я был мертвецом — и вот высвобождаюсь из савана и простираю из могилы исхудалые руки к солнцу, и призрачная бледность покидает меня. Кровь побежала быстрее у меня в жилах. Наконец-то нарушилась царившая вокруг меня гробовая тишина. Непроницаемый черный свод, давивший мне на лоб, озарился светом. Тысячи таинственных голосов что-то шепчут мне на ухо; надо мной мерцают чарующие звезды и золотыми своими блестками усыпают все повороты моей дороги; маргаритки нежно мне усмеваются, а колокольчики бормочут мое имя своими крохотными скрученными язычками; я понимаю множество вещей, которых прежде не понимал, то и дело обнаруживаю новое восхитительное совпадение или сродство; я понимаю язык роз и соловьев и бегло читаю книгу, которую раньше не мог разбирать даже по складам. Мне открылось, что этот старый почтенный дуб, весь покрытый омелой и оплетенный вьющимися растениями, — мой друг, а тот барвинок, такой томный и хрупкий, чей большущий голубой глаз вечно полнится слезами, давно питает ко мне робкую и тайную страсть; Любовь, любовь открыла мне глаза и подсказала разгадку секрета. Любовь низошла в глубокое подземелье, где, скорчившись, погруженная в дрему, цепенела моя душа; любовь взяла ее за руку и по крутой узкой лестнице вывела наружу. Все ворота тюрьмы отворились, и бедняжка Психея впервые вырвалась из моего «я», в котором томилась взаперти.

Жизнь другого человека сделалась моей жизнью. Я дышу чужой грудью, и удар, который ранит другого, станет для меня смертельным. До этого счастливого дня я был похож на угрюмых японских божков, которые вечно созерцают свой живот. Я был сам себе зритель, я был партер, смотревший комедию, которую сам же и разыгрывал; я смотрел, как я живу, и слушал стук собственного сердца, словно бой стенных часов. Вот и все. Перед моим рассеянным взглядом роились образы, мой невнимательный слух терзали звуки, но ничто из внешнего мира не достигало моей души. Ничье существование не было для меня необходимо; я даже сомневался, существует ли на свете кто-нибудь, кроме меня, да и в своем собственном существовании не был как следует уверен. Мне казалось, что я один посреди вселенной, а все прочее — дым, призраки, тщетные иллюзии, мимолетные видения, предназначенные для того, чтобы заполнить эту пустоту. Как все изменилось!

И все-таки вдруг предчувствие меня обмануло, вдруг Теодор и в самом деле мужчина, как это кажется всем вокруг? Мало ли какие бывают красавцы; а цветущая юность довершает иллюзию. Эта мысль для меня нестерпима, я схожу от нее с ума; семя, вчера упавшее на бесплодный утес моего сердца, уже пустило в нем тысячи корешков, крепко-накрепко вросло в камень, и вырвать его невозможно. Оно превратилось в цветущее, зеленое дерево с могучими переплетенными корнями. А если я узнаю наверняка, что Теодор вовсе не женщина, — сам не знаю, возможно, я все равно буду его любить.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Милая моя подруга, как ты была права, когда отговаривала меня от плана, который я придумала, чтобы повидать мужчин и изучить их поосновательней, прежде чем отдать сердце какому-нибудь из них. Я навсегда погасила в себе любовь и едва ли сумею полюбить.

Бедные мы, девушки: нас так старательно воспитывают, невинность нашу обносят тайной стеной предосторожностей и умолчаний, нам ничего не позволяют услышать, ни о чем догадаться; полное неведение — вот главное, что нам преподают, и в каких же странных заблуждениях мы живем, и какие же коварные химеры баюкают нас в своих объятиях!

Ах, Грациоза, трижды проклята будь та минута, когда меня осенила мысль об этом переодевании; сколько ужасов, гадостей и глупостей пришлось мне увидеть и выслушать! Какое сокровище чистого и драгоценного неведения утратила я в столь краткий срок!

Ты помнишь? Мы вдвоем гуляли при свете луны в самой гуще сада, по печальной безлюдной аллее, упиравшейся одним концом в изваяние играющего на флейте фавна с отбитым носом, испещренного язвами бурого мха, а другим — в мнимую перспективу, намалеванную на садовой стене и наполовину смытую дождем. Сквозь еще редкую листву грабов местами проглядывали звезды и круглился серебряный серп. Запах молодой поросли и свежих трав долетал до нас с клумбы вместе с томными дуновениями легкого ветерка; какая-то птица, спрятавшись от нас, насвистывала нежный и странный мотив, а мы, как положено девицам, болтали о любви, о поклонниках, о замужестве, о красивом кавалере, которого видели у мессы, делились друг с другом теми скудными понятиями о мире и вещах, какими обладали; мы на тысячу ладов твердили какую-то услышанную случайно фразу, значение которой представлялось нам темным и странным; мы бились над множеством таких нелепых вопросов, которые может породить лишь самое совершенное невежество. Сколько первобытной поэзии, сколько очаровательных глупостей таят в себе мимолетные разговоры двух дурочек, вчера только вышедших из пансиона!

Ты хотела завоевать сердце отважного и гордого юноши, черноусого и черноволосого, с огромными шпорами, с огромным плюмажем, с огромной шпагой, такого влюбленного Матамора, и с головой ушла в стихию торжествующие героики; ты грезилась только о дуэлях да штурмах, о небывалой преданности, и с восторгом кинула бы перчатку в ров со львами, чтобы твой Эспландиан добыл ее оттуда; как забавно было видеть, как ты, совсем еще девчушка, вся такая белокурая, то и дело заливающаяся румянцем, трепещущая от малейшего ветерка, с самым что ни на есть воинственным видом выпаливаешь на одном дыхании тирады, полные такого неукротимого мужества.

Я была всего на шесть месяцев старше тебя, зато на шесть лет менее романтична. Меня главным образом беспокоило одно: как бы разузнать, о чем толкуют мужчины между

собой и чем они занимаются, покинув гостиные и театры; я догадывалась, что в их жизни есть много тайных порочных подробностей, тщательно укрытых от наших взоров, и что нам было бы очень важно об этом знать; порой, спрятавшись за шторой, я издали подглядывала за кавалерами, подходившими к нашему дому, и мне казалось, что в их повадке я замечаю что-то низкое и циничное, какую-то грубоватую беспечность или свирепую настороженность, исчезавшую, едва они входили: казалось, гости сбрасывали их как по волшебству, переступая порог комнаты. Мне представлялось, что все они, и старики, и молодые, присвоили себе совершенно одинаковые условные маски, условные чувства и условные разговоры, которые и пускают в ход при женщинах. Сидя в углу гостиной, прямая, как кукла, не касаясь спинки кресла, теребя в руках букет, я слушала и наблюдала; мой взгляд был потуплен, тем не менее я видела все, что творилось справа, слева, спереди, сзади; подобно глазам рыси, которые славятся зоркостью, мои глаза пронзали стены, и я могла бы рассказать, что происходит в соседней комнате.

Еще я обнаружила значительные отличия в манере говорить с замужними женщинами: тут звучали уже не те сдержанные и учтивые, ребячески витиеватые фразы, с которыми все обращались ко мне и моим подругам, — разговор более вольный, игривый, выражения проскальзывали не столь сдержанные, более непринужденные, а прозрачные недомолвки и намеки явно свидетельствовали о взаимопонимании двух развращенных душ: я прекрасно чувствовала, что между этими собеседниками есть нечто общее, чего нет у нас, и я отдала бы все на свете, лишь бы узнать, в чем тут дело.

С какой тревогой, с каким яростным любопытством присматривалась и прислушивалась я к говору и смеху в толпе молодых людей, когда они, оживленно покрутившись вокруг некоторых центров притяжения, вновь принимались прохаживаться, болтая и обмениваясь на ходу двусмысленными взглядами. На их презрительно надутых губах трепетали недоверчивые усмешки; казалось, они потешаются над тем, что сами же только что сказали, и отрекаются от комплиментов и знаков поклонения, которыми нас осыпали. Я не слышала их слов, но по движению губ понимала, что они говорят на чужом для меня языке, которым при мне никто не пользуется. Даже самые смиренные, самые робкие вскидывали головы, и на их лицах явственно читалось бунтовское, скучающее выражение; из груди у них вырывался вздох облегчения, подобный вздоху артиста, допевшего до конца длинный куплет, и, отходя от нас, они поспешно и энергично поворачивались на каблуках, испытывая, очевидно, тайное облегчение от того, что избавились от несносной и тяжелой обязанности быть порядочными и галантными.

Я отдала бы год жизни, чтобы, оставаясь невидимой, часок послушать их беседу. Частенько по кивкам, иносказательным жестам, косым мимолетным взглядам я понимала, что речь идет обо мне и что говорят либо о моем возрасте, либо о моем лице. Я словно корчилась на горящих углях: несколько приглушенных слов, обрывки фраз, долетавшие до меня время от времени, как нельзя более подхлестывали мое любопытство, но не утоляли его, и мною овладевали странное сомнение и беспокойство.

Чаще всего обо мне говорили вроде бы благосклонно, и волновало меня не это: я не слишком-то заботилась о том, считают ли меня красавицей, но краткие замечания, достигавшие моего слуха, за которыми обычно следовали бесконечные ухмылки и необъяснимые подмигивания, — вот что мне хотелось понять, и ради того, чтобы подслушать одну из этих фраз, негромко звучащих за шторой или в дверном проеме, я без сожаления прервала бы самую цветистую и благоуханную беседу на свете.

Если бы у меня был любовник, мне бы очень хотелось узнать, как он говорит обо мне с другим мужчиной и в каких выражениях похвалится своей удачей перед товарищами по кутежу, когда голова у него уже затуманена вином, а оба локтя упираются в стол.

Теперь я это знаю, и, в сущности, мне досадно, что я это знаю. Так оно всегда и бывает.

Это была безумная мысль, но что сделано, то сделано, и мы бессильны забыть то, чему научились. Я не послушала тебя, милая Грациоза, и раскаиваюсь в этом, но мы никогда не внимаем разумным доводам, тем более если они срываются с таких прелестных губ, как твои, ибо — не знаю уж почему — все полагают, что мудрый совет может зародиться лишь в дряхлой голове, убеленной сединой, словно шестьдесят лет, прожитых глупцом, прибавляют ему ума.

Но все это слишком меня терзало, и я не могла больше терпеть: я сгорала в собственной коже, как каштан на жаровне. Роковое яблоко круглилось в листе у меня над головой, и пора было положить этому конец и надкусить его — а там хоть бросить, если вкус покажется мне горек. Я поступила, как белокурая Ева, моя обожаемая прабабка: я запустила в него зубы.

Получив свободу по смерти дядюшки, единственного моего родственника, я исполнила то, о чем так давно мечтала. С величайшим тщанием я приняла все меры предосторожности, дабы никто не заподозрил, к какому полу я принадлежу: я в совершенстве овладела искусством верховой езды и гарцевала с такой отчаянностью, на какую способны немногие наездники; я превосходно изучила манеру носить плащ и со свистом рассекать воздух хлыстом, и за несколько месяцев мне удалось девицу, слывшую более или менее хорошенькой, превратить в кавалера, который был отменно хорош собой и которому недоставало разве что усов. Я обратила все свое имущество в наличные и покинула город с намерением вернуться не прежде, чем приобрету самый обширный опыт.

То было единственное средство внести ясность в мои сомнения: заведи я себе любовников, это бы меня ничему не научило или, во всяком случае, просветило бы меня лишь отчасти, а я хотела изучить мужчину до глубины, анатомизировать его, отделяя неумолимым скальпелем жилку за жилкой, и живого, трепещущего поместить на прозекторский стол. Для этого следовало видеть его в уединении у него дома, полуодетым, следовать за ним на гуляние в таверны и прочие места. В мужском платье я могла расхаживать повсюду, оставаясь незамеченной; от меня не таились, при мне отбрасывали всякую сдержанность и все условности; я выслушивала признания и сама пускалась в притворные откровенности, дабы в ответ услышать непритворные. Увы! Женщины читали только роман о мужчине, а истинную его историю — никогда.

Страшно подумать, да мы обычно и не думаем, как глубоко мы невежественны в том, что касается жизни и поведения людей, которые на первый взгляд нас любят и за которых нам предстоит выйти замуж. Истинное их существование нам совершенно неизвестно, как если бы они были обитателями Сатурна или иной планеты, удаленной от нашего подлунного шара на сто миллионов лье: они словно принадлежат к другой породе, и в умственном отношении оба пола не соприкасаются; то, что для одного добродетель, для другого порок, а что восхищает в мужчине, то позорит женщину.

Наша-то жизнь ясна, как на ладони: в нее можно проникнуть с первого взгляда. За нами легко проследовать из дома в пансион, из пансиона в дом, наши занятия ни для кого не секрет: любой может видеть наши неудачные рисунки для эстампов, наши букеты, выполненные акварелью: они составлены из каких-нибудь анютиных глазок и огромной, как капуста, розы, а на конце изящно перевязаны ленточкой Нежного цвета; в домашних туфлях, которые мы вышиваем отцу или деду ко дню рождения, нет ничего загадочного, ничего настораживающего. Наши сонаты, наши романсы бывают исполнены с самой безукоризненной холодностью. Мы надлежащим образом пришиты к юбкам наших маменек и в девять, самое позднее в десять вечера укладываемся в свои белые кровати в

тиши чистеньких, укромных тюремных камер, которые надежно закрываются на засовы и замки до самого утра. Самая чуткая и пристрастная щепетильность не усмотрела бы в этом ровным счетом ничего достойного внимания.

Самый чистый хрусталь — и тот не более прозрачен, чем подобная жизнь.

Человек, который нас возьмет, знает, что мы делали с той минуты, как нас отняли от груди, и даже раньше, если ему вздумается углубиться в исследования. Мы как цветы или мох, не живем, а произрастаем; ледяная тень материнского стебля витает вокруг нас, бедных розовых бутонов, лишенных воздуха и не смеющих расцвести. Основное наше дело — держаться прямо, быть хорошо затянутыми, прогибать спину, потуплять глаза, как полагается, а неподвижностью и прямизною превосходить манекены и заводных кукол.

Нам запрещено рассуждать, вмешиваться в беседу иначе как произнося «да» и «нет», если к нам обратятся с вопросом. Как только собираются сказать что-то интересное, нас отсылают к нашей арфе или клавесину, а учителям, что обучают нас музыке, непременно лет шестьдесят, не меньше, и все они имеют отвратительную привычку нюхать табак. Слепки, что висят в наших комнатах, обладают самой смутной и приблизительной анатомией. Прежде чем явиться в пансион для девиц, греческие боги обязаны обзавестись у старьевщика просторнейшими пальто с множеством пелеринок и покрыться множеством черных точек, что придает им сходство с привратниками или кучерами фиакров и почти напрочь лишает возможности воспламенить наше воображение.

Чтобы выбить из нас романтику, нас превращают в дурочек. Пока нас воспитывают, все время уходит не на то, чтобы научить нас чему-нибудь, а на то, чтобы помешать нам чему-нибудь научиться.

Телом и духом мы самые настоящие пленницы; меж тем молодой человек, располагающий собой по своему усмотрению, который уходит из дому утром, чтобы вернуться лишь к следующему утру, у которого есть деньги, который может их добыть и распорядиться ими, как ему заблагорассудится, — способен ли он, не краснея, отчитаться в своем времяпрепровождении? Кто из мужчин захочет рассказать любимому существу, что он делал днем и чем занимался ночью? Никто, даже те, что известны своей порядочностью.

Своего коня и платье я отправила загодя в принадлежащее мне маленькое имение неподалеку от города. Там я переоделась, вскочила в седло и пустилась в путь, но сердце мое все-таки сжалось Бог весть отчего. Я не жалела ни о чем, я ничего не оставила позади — ни родных, ни друзей, ни собаки, ни кошки, а все же мне было невесело, и на глаза мне едва ли не навернулись слезы; эта ферма, где я и была-то раз пять или шесть, ничего особенного для меня не значила и была мне не так уж и дорога; не скажу, что привязалась к ней, как привязываешься к некоторым местам, откуда потом невозможно уехать без волнения, и все же два-три раза я обернулась, чтобы еще раз увидеть, как вьется вьюнком меж деревьев голубоватая струйка дыма.

Тем временем с платьями и юбками оставила я свое женское естество; в комнате, где я переодевалась, остались взаперти двадцать лет моей жизни — они более не шли в счет, не имели ко мне отношения. Можно было бы написать на двери: здесь покоится Мадлена де Мопен — ибо на самом деле я уже была вовсе не Мадлена де Мопен, а Теодор де Серанн, и отныне никто больше не назовет меня нежным именем Мадлена.

Шкаф, в котором были заперты мои уже ненужные платья, показался мне похожим на гроб, где почили мои светлые иллюзии; я стала мужчиной, во всяком случае с виду; юная девушка умерла.

Когда я окончательно потеряла из виду верхушки каштанов, окружавших ферму, мне показалось, что я уже не я, а кто-то другой, и прежние мои поступки вспомнились мне как поступки чужого человека, на которые я смотрела со стороны, или как начало романа, не дочитанного мною до конца.

Я с удовольствием припомнила тысячу мелких подробностей; от их ребяческой наивности на губах у меня заиграла снисходительная, подчас немного насмешливая улыбка; так улыбался бы юный повеса, выслушивая невинные пасторальные признания школьника третьего класса; и в тот миг, когда я с ними расставалась, все мои девчоночьи и девичьи ребячества высыпали на обочину дороги, посылая мне воздушные поцелуи кончиками своих белых точеных пальчиков.

Я пришпорила коня, чтобы убежать от этих надрывающих душу переживаний; справа и слева от меня быстро летели назад деревья, но шальная толпа, гудевшая громче пчелиного роя, побежала по боковым аллеям, взывая ко мне: «Мадлена! Мадлена!»

Я сильно стегнула хлыстом по шее моего коня, и он поскакал с удвоенной быстротой. Волосы мои взметнулись, плащ стелился по воздуху почти горизонтально, и складки его были словно изваяны из камня, так быстро я неслась; один раз я оглянулась назад и увидела какое-то белое облачко на горизонте: то была пыль, поднятая копытами моего коня.

На мгновение я остановилась.

Я заметила на обочине куст шиповника, на нем трепетало что-то белое, и тоненький голос, чистый и нежный, как серебро, пронзил мне слух: «Мадлена, Мадлена, зачем вы заехали так далеко? Я ваша девственность, дорогое мое дитя, вот почему у меня белое платье, белая корона и белая кожа. Но почему на вас сапоги, Мадлена? Мне казалось, у вас прелестные ножки. Сапоги и широкие штаны до колен, и большая шляпа с пером, как на всаднике, который спешает на войну! Зачем эта длинная шпага, которая до синяков бьет вас по бедру? Странно вы нарядились, Мадлена, и я не знаю, следует ли мне вас сопровождать».

— Если ты боишься, дорогая, вернись домой, поливай мои цветы и ухаживай за моими голубками. Но на самом деле ты не права, ты будешь в большей безопасности здесь, под этим нарядом из грубого сукна, чем в твоих газовых да льняных одеждах. Сапоги не дают разглядеть, стройны ли у меня ноги; шпага нужна мне для защиты, а перо, что колыхнется над моей шляпой, — чтобы отпугивать всех соловьев, которые того и жди слетятся и начнут напевать мне на ухо лживые любовные песни.

Я пустилась дальше: мне показалось, что во вздохах ветра я узнала последнюю фразу из той сонаты, что разучила ко дню рождения дяди, а в пышной розе, вздымавшей свою цветущую головку близ невысокой ограды, — тот огромный слепок розы, с которого я сделала столько акварелей; проезжая мимо какого-то дома, я увидела, как в окне колыхнутся призраки моих занавесок. Казалось, все мое прошлое цепляется за меня, чтобы удержаться на пути вперед, к новому будущему.

Два-три раза я дрогнула и повернула было голову коня в другую сторону.

Но маленький голубой ужик любопытства чуть слышно прошипел мне коварные слова; он твердил: «Вперед, вперед, Теодор, вот тебе случай многому научиться; чего ты не узнаешь сегодня, того не узнаешь никогда. И неужели ты подаришь свое благородное сердце наугад, первому, кто притворится честным и влюбленным? Мужчины скрывают от нас воистину поразительные тайны, Теодор!»

И я пустила коня в галоп.

Кюлоты ловко сидели на мне, но мне в них было неловко; когда я въехала в темные лесные заросли, мне стало не по себе, и я слегка задрожала от страха, если уж называть вещи своими именами; от выстрела какого-то браконьера со мной чуть не приключился обморок. Попадись мне на пути грабитель, ни пистолеты, лежавшие в кобурах, ни моя великолепная шпага не принесли бы мне большой пользы. Но мало-помалу я укрепилась духом и перестала об этом думать.

Солнце уходило за горизонт медленно, как театральная люстра, которую опускают, когда спектакль окончен. Время от времени через дорогу перебежали кролики и перелетали фазаны; тени удлинялись, дали окрашивались в красноватые тона. Отдельные кусочки неба подернулись очень нежным густо-лиловым цветом, другие приобрели апельсиновый и лимонный оттенок; запели ночные птицы, из леса доносилось множество непонятных звуков и шорохов; последние крохи света поблекли, и воцарилась полная тьма, которую еще углубляли тени деревьев. Это я-то, никогда не выходившая ночью одна из дому, — и вдруг в восемь вечера очутилась в лесной чаше! Ты только подумай, Грациоза, — это я-то, умиравшая со страху в отдаленной аллее сада! Меня охватил самый неподдельный ужас, сердце мое бешено билось, и признаюсь тебе, что я с величайшей радостью увидела, как по другую сторону холма забрезжили и замерцали огни города, в который я направлялась. Едва я заметила эти сверкающие точки, похожие на земные звезды, страх мой испарился. Мне казалось, что эти равнодушные огоньки — открытые глаза друзей, которые следят, чтобы со мной не приключилось ничего дурного.

Конь мой обрадовался не меньше, чем я, и, чуя сладкий запах конюшни, более приятный для него, чем все лесные ароматы маргариток и земляники, помчался напрямик в гостиницу «Красный лев».

Сквозь свинцовые стекла постоянного двора сочился золотистый свет; жестяная вывеска покачивалась из стороны в сторону, по-старушечьи постанывая под холодным ветром, дувшим все сильнее. Я вверила коня рукам конюха и вошла в кухню.

В глубине ее, то и дело пожирая вязанки дров, разверз свою красно-черную пасть огромный очаг, а по обе стороны от очажной решетки два пса, ростом чуть не с человека, сидя на полу, преспокойно поджаривались у самого огня, лишь иногда слегка отдергивая лапу или выпуская вздох, если жар делался нестерпимым; но они явно готовы были скорее обратиться в угли, чем отодвинуться хотя бы на шаг.

Мое появление, судя по всему, их не обрадовало; проходя мимо, я для первого знакомства погладила обоих по голове но напрасно: они бросили на меня исподлобья взгляд, не предвещавший ничего хорошего. Это меня удивило: животные всегда охотно ко мне идут.

Подошел хозяин и осведомился, чего я желаю на ужин.

То был пузатый человечек с красным носом, разными глазами и улыбкой от уха до уха. При каждом слове он являл взору два ряда острых и редких, точно у людоеда, зубов. Большой кухонный нож, висевший рядом с ним, выглядел подозрительно: похоже было, что он служит для самых разных надобностей. Когда я сказала, чего мне угодно, хозяин подошел к одному из псов и дал ему пинка. Пес встал, поплелся к подобию колеса, водруженному тут же, и с жалобным и угрюмым видом забрался в него, глянув на меня с упреком. Наконец, видя, что пощады ждать не приходится, он принялся вращать колесо, а тем самым и вертел с надетым на него цыпленком, которым мне предстояло поужинать. Я дала себе слово бросить псу обедки в награду за его муки и в ожидании ужина принялась разглядывать кухню.

Под потолком тянулись толстые дубовые балки, почерневшие и закопченные дымом очага и свечей. На полках поблескивали в полумраке латунные блюда, начищенные так, что горели ярче серебра, и посуда из белого фаянса с узором из синих цветов. До блеска отполированные кастрюли, рядами развешанные по стенам, поразительно напоминали античные щиты, укрепленные в ряд вдоль бортов греческих или римских трирем (прости мне, Грациоза, эпический размах этого сравнения). Две-три толстухи-служанки сновали вокруг большого стола, расставляя посуду и раскладывая вилки — нет музыки слаще для тех, кто голоден, ибо живот у них становится более чуток к звукам, чем уши. В конечном счете, несмотря на то, что у хозяина рот был как прорезь в копилке, а зубы как у пилы, постоянный двор в целом выглядел пристойно и жизнерадостно. Но даже будь хозяйская улыбка еще на туаз шире, а зубы еще острее и белей — по стеклам уже стучали капли дождя, а ветер выл так, что пропадала всякая охота выйти за порог, ибо я не знаю ничего более зловещего, чем эти завывания темной и дождливой ночью.

Я улыбнулась мысли, которая пришла мне в голову: я подумала, что очутилась в таком месте, где никто не станет меня искать. В самом деле, кто бы мог подумать, что малютка Мадлена, вместо того чтобы лежать в теплой постельке — рядом алебастровая лампада, под подушкой роман, в соседней комнате горничная, готовая примчаться на первый зов, если ты испугаешься во сне, — развалилась на соломенном стуле, на деревенском постоялом дворе за два десятка лье от дома, раскачиваясь и задрав ноги, обутые в сапоги, на очажную решетку, а маленькие ручки надменно засунув в карманы?

Да, крошка Мадлена не посиживает, как ее подруги, у окна, между вьюнком и жасмином, лениво облокотясь на оконные перила и вглядываясь в фиолетовую кромку горизонта на краю равнины или какое-нибудь розовое облачко, округлившееся на майском ветру. Она не увешивала перламутрового дворца коврами из лепестков лилий, дабы поселить там свои грезы; в отличие от вас, прекрасные мечтательницы, она не наделяла пустой призраком всеми возможными воображаемыми достоинствами: прежде чем вверить себя мужчине, она захотела изучить мужчин; она бросила все — красивые яркие платья из шелка и бархата, ожерелья, браслеты, птиц и цветы; она по доброй воле отказалась от поклонения, от почтительнейших любезностей, от букетов и мадригалов, от радости сознавать себя красивее и лучше одетой, чем вы, от нежного женского имени, от всего, чем была, и совсем одна отважно пустилась в странствия по свету ради великой науки жизни.

Если бы люди об этом знали, они объявили бы, что Мадлена сошла с ума. Ты и сама так сказала, милая Грациоза, но по-настоящему безумны те, кто пускает свою душу по ветру и безрассудно сеет семена своей любви на камне и скалах, не зная, взойдет ли хоть одно зернышко.

О, Грациоза, я никогда не могла подумать без ужаса, каково это — полюбить недостойного, обнажать свою душу под чьим-то развратным взглядом и ввести непосвященного в святилище своего сердца! Слить, пускай на время, свои чистые волны с каким-нибудь мутным потоком! Ведь даже после того, как ручей разделится на два рукава, в воде все равно остается немного тины, и струе никогда уже не обрести изначальной прозрачности.

Подумать только, что мужчина целовал тебя и притрагивался к тебе, что он видел твое тело, что он может сказать: «Она такая и этакая, у нее в таком-то месте такая-то родинка; в душе у нее есть вот такой уголок; над тем она смеется, над этим плачет; вот как выглядит ее мечта; а вот у меня в бумажнике перышко от крыла ее грезы; это кольцо сплетено из ее волос; в это письмо вложена частичка ее сердца; она ласкала меня вот так, а эти слова она произносит в минуты нежности!»

Ах, Клеопатра, теперь я понимаю, почему наутро ты приказывала казнить любовника, с которым проводила ночь. Как возвышенна эта жестокость, для которой я когда-то не жалела гневных слов! Великая сладострастница, как знала ты человеческую природу и сколько мудрости в твоём варварстве! Ты желала, чтобы ни один смертный не мог разгласить тайны твоего ложа; никто не должен был повторять слова любви, слетавшие с твоих губ. Так ты блюла чистоту своей иллюзии. Опыту не суждено было сорвать покров за покровом с очаровательного призрака, который ты баюкала в своих объятиях. Тебе больше нравилось, чтобы вас разлучал резкий удар топора, чем долгое отвращение. Какая пытка, в самом деле, видеть, как человек, избранный вами, на каждом шагу изменяет представлению, которое вы о нем составили, обнаруживать в его характере множество слабостей, о коих вы не подозревали, замечать, что черты, которые мнились вам столь прекрасными, пока вы разглядывали их сквозь призму любви, оказываются на самом деле вполне безобразны, и что тот, кого вы принимали за истинного героя романа, в итоге просто-напросто прозаичный буржуа в халате и домашних туфлях!

Я не располагаю властью Клеопатры, и даже будь у меня ее могущество, мне не достало бы духу к нему прибегнуть.

Итак, раз уж я не могу и не хочу прямо из собственной постели слать любовников на казнь и не имею охоты терпеть то, что терпят другие женщины, мне следует дважды поразмыслить, прежде чем выбрать себе друга, а еще лучше не дважды, а трижды, если появится у меня такое желание, в чем я сильно сомневаюсь после всего, что видела и слышала; разве что все-таки встретится мне в каких-нибудь неведомых блаженных краях сердце, подобное моему, как говорится в романах, невинное и чистое сердце, которое никогда еще не любило, но способно к любви в истинном смысле слова; а это, прямо скажем, не так-то просто.

В гостиницу вошли несколько дворян; их путешествие было прервано грозой и темнотой. Все они были молоды, самому старшему явно не стукнуло и тридцати; наряд их свидетельствовал о принадлежности к высшему обществу, но помимо наряда о том же весьма красноречиво твердила дерзкая непринужденность их манер. У одного или двух из них были достойные внимания лица; на прочих в большей или меньшей степени заметно было то выражение грубой жизнерадостности и беспечного добродушия, что напускают на себя мужчины в своей компании и от чего они совершенно избавляются в нашем присутствии.

Если бы они могли заподозрить, что этот хрупкий молодой человек, задремывающий на стуле в уголке у очага, — совсем не тот, кем кажется, а молодая девица, лакомый кусочек, по их выражению, — они наверняка живо сменили бы тон: воображаю, как бы они сразу напыжились, как распустили бы хвосты. Они бы приблизились с множеством поклонов, выворачивая носки, округляя локти, с улыбкой в глазах, на устах, на носу, в волосах, во всей осанке; они бы придирчиво обдумали каждое слово, прежде чем его произнести, и заговорили бы сплошь бархатными и атласными голосами; а шевельнись я хоть немного — они бы сделали вид, что готовы распластаться передо мной подобием ковра из опасения, как бы мои нежные ножки не пострадали от шероховатостей Пола; все руки протянулись бы, чтобы меня поддержать; самое мягкое кресло водрузили бы в самом удобном месте; но — я была похожа не на хорошенькую девушку, а на хорошенького юношу.

Признаюсь, я была близка к тому, чтобы пожалеть о своих юбках, когда увидела, как мало внимания обратили на меня эти молодые люди. Несколько минут я чувствовала себя глубоко оскорбленной: дело в том, что я то и дело забывала о своем мужском платье, и, чтобы не расстраиваться, мне приходилось напоминать себе об этом.

Я сидела, скрестив руки, и с преувеличенным вниманием смотрела на цыпленка, приобретавшего все более багряный цвет, и на несчастного пса, которого невольно обрекла на такие муки и который теперь маялся с колесом, как клубок чертей в кропильнице со святой водой.

Младший из путешественников подошел ко мне, хлопнул по плечу, что, право же, показалось мне очень больно, так что я невольно вскрикнула, и спросил, не предпочту ли я одинокому ужину их общество, поскольку в компании, дескать, и пьется лучше. Я отвечала, что не смела даже надеяться на такое удовольствие и что с великой охотой к ним присоединюсь. Нам накрыли рядом, и мы сели за стол.

Пес, еле дыша, поскольку успел в три глотка выхлебать огромную миску воды, вернулся на свое прежнее место напротив другого пса, который за все время не шелохнулся, словно фарфоровый, благо вновь пришедшие не спросили цыпленка, что было для этого пса воистину милостью небес.

По нескольким фразам, вырвавшимся у моих сотрапезников, я поняла, что они едут ко двору, который тогда пребывал в ***, и что там они должны повстречаться с остальными своими друзьями. Я сказала им, что я, мол, дворянский отпрыск, еду из университета к родным, живущим в провинции, и следую обычной дорогой всех школяров, то есть самую длинную, какую только можно найти. Это вызвало у них смех, и, перебросившись несколькими словами касательно моего невинного и чистосердечного облика, они спросили, имеется ли у меня любовница. Я отвечала, что мне-де об этом ничего не известно, и они захохотали еще пуще. Бутылки сменяли одна другую; я, конечно, заботилась о том, чтобы мой стакан все время оставался полон, но в голове у меня слегка зашумело, и, не забывая о своем замысле, я незаметно перевела разговор на женщин. Это было нетрудно: охотнее всего, после эстетики и теологии, мужчины под хмельком рассуждают именно на эту тему.

Молодые люди не были, собственно, пьяны, для этого они слишком хорошо умели пить, но они уже начинали ввязываться в бесконечные споры о нравственности и бесцеремонно ставить локти на стол. Кто-то из них даже обнял могучую талию одной из служанок и принялся с весьма влюбленным видом покачивать головою; другой поклялся, что лопнет на месте, как жаба, которой дали понюхать табаку, если Жаннетта не подставит ему для поцелуя оба толстых красных яблока, что служат ей щеками. А Жаннетта, не желая, чтобы он лопнул, как жаба, весьма благосклонно подставила ему щеки и даже не остановила руки, которая отважно проникла между складок ее косынки во влажный дол груди, находившейся под охраной — весьма, впрочем, ненадежной — маленького золотого крестика; лишь после короткой беседы вполголоса молодой человек вернул служанке свободу и дал унести блюда.

А ведь это были придворные, обладатели отменных манер, и если бы я сама того не видела, мне бы и в голову не пришло заподозрить их в такой фамильярности с трактирными служанками. Весьма возможно, что они недавно расстались с очаровательными любовницами, которым принесли красноречивейшие в мире клятвы; право, мне бы никогда не додуматься до того, чтобы просить моего друга не марать о щеки какой-нибудь Мариторнес губ, которых касались мои губы.

Казалось, негодник получил от этого поцелуя огромное удовольствие, словно целовался с Филидой или Орианой: то был смачный поцелуй, основательный и откровенный, оставивший на пылающей щеке распутной девахи два белых пятнышка, след от которых она утерла тыльной стороной ладони, еще недавно полоскавшей посуду. Не думаю, чтобы этот человек когда-нибудь отпускал такие непритворно нежные поцелуи непорочной

богине своего сердца. По-видимому он и сам подумал о том же, потому что пробормотал вполго! лоса, презрительно передернув плечом:

— К черту тощих женщин и великие чувства!

Похоже, что это мнение разделяли все собравшиеся, все головы кивнули в знак согласия.

— Право слово, — подхватил другой, развивая его мысль, — мне кругом не везет. Господа, я должен под строжайшим секретом признаться вам, что я, ваш товарищ, охвачен страстью.

— Ого! — воскликнули остальные. — Охвачен страстью! До чего зловещее признание! Что еще за страсть?

— К порядочной женщине, господа; не надо, господа, смеяться; в конце концов, почему я не могу связаться с порядочной женщиной? Разве я сказал что-то смешное? Эй, ты, потише там, перестань, или сейчас у тебя искры из глаз посыплются.

— Ладно! Дальше!

— Она от меня без ума; это прекраснейшая душа в мире; право, в душах-то я разбираюсь уж, по крайней мере, не хуже, чем в лошадях, и ручаюсь вам, что душа у нее — лучше некуда. Тут тебе и воспарение, и самозабвение, и преданность, и жертвы, и утонченная неясность — словом, все самое возвышенное, что только можно вообразить; но грудь у ней почти незаметна; в сущности, вообще нет груди, как у пятнадцатилетней девочки. В остальном она недурна; рука изящная, нога маленькая, но ума с избытком, а плоти недостает, и меня разбирает охота удрать от нее подальше. Какого черта мы не ложимся в постель с умом? Я в большом горе, пожалейте обо мне, милые друзья. — И, размягчившись от выпитого, он заплакал навзрыд.

— Если ты горюешь оттого, что спишь с сильфидами, Жаннетта утешит тебя, — сказал сосед, наливая ему стакан до краев. — У нее душа такая толстая, что хватило бы матерьяла на несколько тел, а уж плоти в ней столько, что найдется, чем облечь кости трех слонов.

О невинная и благородная женщина! Знала бы ты, что говорит о тебе ни с того ни с сего в кабаке случайным знакомым человек, которого ты любишь больше всего на свете и ради которого пожертвовала всем! Как бесстыдно он тебя раздевает и как нагло выставляет тебя, обнаженную, напоказ перед затуманенными вином взглядами собутыльников, а ты в это время грустишь, подперев рукой подбородок, и не сводишь глаз с дороги, по которой он должен вернуться!

Приди к тебе кто-нибудь и скажи, что твой любовник через какие-нибудь сутки после расставания с тобой приударяет за грязной служанкой и сговорился провести с ней ночь, ты бы объявила, что это невозможно, и не пожелала в это поверить; ты даже решила бы, что глаза и уши тебя обманывают, а между тем это правда.

Еще некоторое время продолжался самый что ни на есть сумасбродный и бесстыдный разговор; но сквозь шутовские преувеличения, сквозь остроты, подчас зловонные, просвечивало искреннее и исключительно глубокое чувство презрения к женщине, и я за один вечер узнала об этом более, чем если бы прочла целый воз сочинений моралистов.

Чудовищные и немыслимые речи, кои я слышала, омрачили мое лицо тенью суровости и печали, что не укрылось от моих собеседников, которым захотелось во что бы то ни стало меня развеселить; но хорошее настроение не возвращалось ко мне. Я и прежде подозревала, что мужчины не таковы, какими предстают перед нами, но не думала, что

они настолько отличаются от масок, которые носят, и мое изумление было сравнимо лишь с моим отвращением.

Чтобы полностью исправить чересчур романтическую девицу, я желаю ей провести всего полчаса, слушая подобные разговоры; это поможет ей больше, чем все материнские выговоры.

Одни хвастались, что у них столько женщин, сколько они пожелают, — стоит лишь слово сказать; другие обменивались рецептами завоевания женских сердец или рассуждали о тактике улавливания добродетели в западню; некоторые высмеивали своих любовниц и называли себя величайшими дураками на земле, коль скоро дали обвести себя вокруг пальца подобным грязнухам. Любовь все ценили весьма дешево.

Итак, вот мысль, которую они прячут от нас под множеством очаровательных уловок! Кто бы мог подумать, видя какие они смиренные, как пресмыкаются, как готовы на что угодно! Ах, стоит им одержать победу, и до чего же надменно они вскидывают голову, как дерзко опускают каблук сапога прямо на тот самый лоб, которому недавно поклонялись коленопреклоненно, издали! Как мстят они за свое мимолетное унижение! Как дорого приходится расплачиваться за их учтивость! И сколькими оскорблениями вознаграждают они себя за прежние мадригалы! Какая оголтелая грубость и в языке, и в мыслях! Какая разнузданность манер и поведения! Во всем полная перемена — причем не к их выгоде! Многого я предвидела, но предчувствиям моим было весьма далеко до того, что оказалось на самом деле.

Идеал, голубой цветок с золотой сердцевинкой, ты, что расцветаешь, осыпанный жемчугами росы под весенним небосводом, под благоуханным дыханием зыбких грез, ты, чьи волокнистые корни в тысячу раз нежнее и тоньше, чем шелковые косы фей, погружаются в глубь нашей души тысячью своих ворсистых головок, чтобы напиться чистейшего эликсира; цветок столь нежный и столь горький, что если тебя сорвать, все закоулки сердца начинают кровоточить, а сломанный стебель покроется алыми каплями, которые, падая одна за другой в озеро наших слез, помогают нам измерить еле плетущиеся часы последнего бдения у постели агонизирующей Любви!

Ах, проклятый цветок, как ухитрился ты прорасти в моей душе! Твои побеги расплодись там пуще, чем крапива среди развалин. Юные соловьи прилетали попить из твоего венчика и попеть в твоей тени; бриллиантовые бабочки с изумрудными крылышками и рубиновыми глазами порхали и плясали вокруг твоих хрупких пестиков, покрытых золотой пудрой; рои золотистых пчел доверчиво сосали твой отравленный мед; химеры расправляли свои лебединые крылья и скрещивали на прекрасной груди свои львиные когти, чтобы передохнуть близ тебя. Дерево Гесперид — и то не охранялось бдительней; сифиды собирали слезы звезд в урны-лилии и каждую ночь поливали тебя из этих волшебных сосудов. Идеальное растение, более ядовитое, чем мансенилла и анчар, — во что бы то ни стало, несмотря на твои обманчивые цветы и отраву, источаемую твоим ароматом, я вырву тебя из своей души! Ни ливанский кедр, ни исполинский баобаб, ни пальма высотой в сотню локтей — даже все они вместе не в силах заполнить место, которое занимал ты один маленький голубой цветок с золотой сердцевинкой!

Наконец ужин окончился и наступило время сна, но постояльцев оказалось вдвое больше, чем постелей, из чего следовала необходимость либо спать по очереди, либо улечься по двое на каждую кровать. Для всех прочих это было самое обычное дело, но только не для меня, если помнить о некоторых выпуклостях, кои вполне скрывались под камзолом и курткой, но простая сорочка обнаружила бы их во всей их треклятой округлости; и я, разумеется, вовсе не была расположена раскрыть свое инкогнито на радость кому-нибудь

из этих господ, которые представлялись мне самыми истинными и непритворными чудовищами; позже многие из них оказались славными малыми, ничуть не худшими, чем все прочие люди такого склада.

Тот, с кем предстояло разделить ложе, был в достаточной мере пьян. Он свалился на тюфяк, свесив одну ногу и одну руку до самой земли, и тут же заснул не сном праведника, а сном таким крепким, что приди архангел звать его на Страшный суд и протруби ему в самое ухо — он и то не проснулся бы. Такой сон весьма упрощал мою задачу; я сняла лишь куртку и сапоги, перебралась через спящего и растянулась на простынях ближе к стенке.

Итак, я спала с мужчиной! Недурное начало, нечего сказать! Признаюсь, что я хоть и чувствовала себя в полной безопасности, но ощутила какое-то странное волнение и смущение. Все это было так необыкновенно и так ново — я на силу могла поверить, что это не сон. Сосед мой сладко спал, а я всю ночь не сомкнула глаз.

Мой сосед был молодой человек лет двадцати четырех, с весьма недурной физиономией, черными ресницами и почти белокурыми усами; его длинные волосы разметались подобно потоку, изливавшемуся из урны источника, сквозь бледность его щек брезжил легкий румянец, как облачко сквозь толщу дождя, губы его были полураскрыты и улыбались смутной и тонкой улыбкой.

Я приподнялась на локте и долго смотрела на него в колеблющемся свете оплившей свечи, утопавшей в пухлых лепешках растопленного сала, с фитилем, покрытым черным нагаром.

Между нами оставалось изрядное расстояние. Он занимал самый край кровати, я в избытке осторожности сдвинулась как можно ближе к другому краю.

Разумеется, услышанное мною не слишком-то способствовало тому, чтобы расположить меня к неге и сладострастию: мужчины внушали мне ужас. Однако я чувствовала себя более взволнованной и возбужденной, чем следовало: тело мое не разделяло в должной мере отвращения, коим был охвачен ум. Сердце мое сильно билось, мне было жарко, я ворочалась с боку на бок, но никак не могла обрести покой.

На постоялом дворе царила полная тишина; лишь изредка слышался глухой стук: то одна из лошадей била копытом в пол конюшни, а иногда капля воды падала в пепел очага из трубы. Свеча догорела до самого конца фитиля, задымилась и угасла.

Между мною и моим соседом, подобно занавеси, простерлась густая тьма. Ты не можешь себе вообразить, какое впечатление произвел на меня погасший огонь. Мне почудилось, что все кончено и я более не увижу света до конца дней своих. На мгновение мне захотелось встать, но что бы я стала делать? Было только два часа ночи, все огни погашены, и не могла же я блуждать, как привидение, по незнакомому дому. Мне оставалось только лежать на месте и ждать рассвета.

Я растянулась на спине, скрестив на груди руки, и попыталась сосредоточиться на какой-нибудь мысли, но в голову мне лезло одно и то же: я сплю с мужчиной, мне чуть ли не хотелось, чтобы он проснулся и заметил, что я женщина. Этой необычной мысли наверняка весьма способствовало выпитое мною — хоть и в умеренных количествах — вино но, как бы то ни было, она возвращалась ко мне снова и снова. Я готова уже была протянуть к спящему руку, разбудить его и сказать, кто я такая. Но тут рука моя запуталась в складках одеяла, и это помешало мне довести затею до конца: у меня оказалось время подумать, и пока я высвобождала руку, рассудительность отчасти вернулась ко мне, и до меня дошло, что я гублю себя безвозвратно.

Не правда ли, весьма любопытно, что я — та прекрасная недотрога, которая была намерена лет десять изучать мужчину, прежде чем протянуть ему руку для поцелуя, — я чуть было не отдалась на постоялом дворе, на скверной постели, первому встречному! И право же, я была на волосок от этого.

Неужели внезапная лихорадка, кипение в крови может до такой степени опрокинуть самые возвышенные намерения? Неужели голос плоти звучит громче, чем голос духа? Всякий раз, когда моя гордыня заносится слишком уж высоко, я, чтобы спустить ее на землю, утыкаю ее носом в воспоминания о той ночи. Я начинаю соглашаться с мужчинами: как жалка и ничтожна женская добродетель! И, Боже ты мой, от чего только она зависит!

Ах, напрасно мы мечтаем расправить крылья, слишком много тины на них налипло; тело — это якорь, который гнетет душу к земле: напрасно она разворачивает паруса по ветру самых возвышенных идей — корабль остается недвижим, словно его киль упирается во все помехи, какие есть в океане. Природа любит подстраивать нам такие каверзы. Чуть за видит она некую мысль, взгромоздившуюся на высокую колонну собственной гордыни и почти касающуюся головой небес, — тут-то она и приказывает потихоньку красной жидкости ускорить свой ток и прихлынуть к вратам артерии, велит ей стучать в висках, гудеть в ушах, и вот уже вы мерную мысль охватывает головокружение; перед глазами у нее все сливается и путается, земля под ногами ходит ходуном, как палуба барки в бурю, небо кружится, как юла, а звезды танцуют сарабанду; и вот уже губы, изрекавшие прежде лишь строгие истины, складываются и вытягиваются трубочкой, словно для поцелуя, а руки, умевшие отталкивать с такой силой, теряют упругость и делаются мягкими и цепкими, как две половинки шарфа. Добавьте к этому соприкосновение с кожей другого человека, шорох чужого дыхания в ваших волосах, и вы пропали. Часто столь многого даже не требуется: аромат лугов, проникающий к вам сквозь полуоткрытое окно, вид двух пташек, целующихся клювами, распутившаяся маргаритка, старинная песня о любви, преследующая вас помимо вашей воли, так что вы напеваете ее, не вдумываясь в смысл, теплый ветер, который опьяняет и смущает вас, мягкость вашей кровати или кушетки — достаточно одного из этих условий; само уединение вашей спальни твердит вам, что хорошо было бы очутиться здесь вдвоем и что это, в сущности, самое очаровательное гнездышко для целого выводка наслаждений. Задернутые шторы, полумрак, тишина — все наводит на роковую мысль, которая легко задевает вас своими соблазнительными голубиными крылами и тихонько воркует вокруг вас. Ткани, касаясь вашей кожи, словно ласкают вас и любовно льнут всеми своими складками к вашему телу. И девушка открывает объятия первому же лакею, с которым осталась наедине; философ оставляет страницу недописанной и, укутав лицо плащом, летит во всю прыть к той куртизанке, которая живет ближе других.

Разумеется, я не любила этого человека, причинившего мне такие странные волнения. Единственное его очарование заключалось в том, что он не был женщиной, а мне в моем состоянии было этого достаточно. Мужчина! Тайнственное существо, которое так прилежно от нас прячут, диковинный зверь, чья история так мало нам известна, бес или бог, единенный, кто может воплотить непонятные сладострастные Мечты, которыми убаюкивает нас весна, единственная мысль, что владеет нами, едва нам стукнет пятнадцать лет!

Мужчина! Смутные мысли о наслаждении теснились в моей одуревшей голове. То немного, что я знала, еще сильнее распаляло мои желания. Жгучее любопытство подстрекало меня раз и навсегда рассеять сомнения, которые смущали меня и непрестанно сверлили мой мозг. Решение задачи было написано на обороте страницы, стоило лишь перевернуть ее, а книга лежала рядом со мной. Кавалер был достаточно

хорош собой, кровать достаточно узка, ночь достаточно темна! — а тут еще девушка, у которой шумит в голове после нескольких бокалов шампанского! Какое опасное сочетание! Так вот — из всего этого не вышло ровным счетом ничего.

В стене, на которую были устремлены мои глаза, я начала сквозь редевшую тьму различать место, где находилось окно; стекла делались уже не столь непроницаемы, и серый утренний свет, сочившийся снаружи, вернул им прозрачность; небо понемногу прояснилось; стало светло. Ты не представляешь себе, какую радость принес мне этот бледный луч на зеленых обоях из омальской саржи, окружавших славное поле сражения, где добродетель моя восторжествовала над моими желаниями! Этот луч был для меня короной, венчавшей мою победу.

Что до моего соседа, то он окончательно свалился на пол.

Я встала, поскорей привела себя в порядок и бросилась к окну; я распахнула его, и утренний ветерок меня освежил.

Я подошла к зеркалу, чтобы причесаться, и удивилась собственной бледности: мне-то казалось, что я вся горю.

Тут вошли остальные, желая знать, проснулись ли мы, и пинками разбудили своего приятеля, который, казалось, не слишком удивился, обнаружив, что лежит на полу.

Оседлали коней, и мы пустились в путь. Но хватит на сегодня: перо мое затупилось, а чинить его мне неохота; в другой раз я доскажу тебе остальные мои приключения; а покуда люби меня, как я тебя, грациозная моя Грациоза, и после всего, что я тебе поведала, не суди слишком строго о моей добродетели.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Много есть скучного на свете: скучно отдавать деньги, которые вы взяли взаймы и уже привыкли считать своими; скучно ласкать сегодня женщину, которую любили вчера; скучно приезжать в гости в обеденное время и узнавать, что хозяева месяц тому назад отбыли в деревню; скучно писать роман, а еще скучнее его читать; скучно обнаруживать прыщ на носу и трещинку на губе в день, когда собрался нанести визит кумиру своего сердца; скучно быть обутом в сапоги, позабывшие о всякой сдержанности и ухмыляющиеся булыжнику всеми своими швами, а еще скучнее тщетно шарить по пустому пространству собственных карманов; скучно быть привратником, скучно быть императором; скучно быть самим собой и даже кем-нибудь другим; пешком передвигаться скучно, потому что натираешь мозоли, верхом — потому что отбиваешь себе место, противоположное голове, в карете — потому что какой-нибудь толстяк непременно превратит ваше плечо в подушку, на пакетботе — потому что страдаешь морской болезнью и испытываешь такую тошноту, что впору наизнанку вывернуться; скучно зимой, потому что от холода пробирает дрожь, а летом — потому что обливаешься потом; и все-таки на земле, в преисподней и в небесах нет ничего скучнее трагедии, разве что комедия или драма.

Меня от этого в буквальном смысле слова мутит. Что может быть глупее и бессмысленнее? Эти жирные, втиснутые в трико телесного цвета тираны с зычными голосами, мыкающиеся по сцене от кулисы к кулисе и размахивающие волосатыми руками, как мельничными крыльями, — ну чем не убогие подделки под Синюю Бороду

или буку? От их бахвальства надорвется со смеху каждый, кто сумеет не уснуть. Несчастные влюбленные дамы бывают не менее смехотворны. Занятно все-таки видеть, как они входят, одетые в черное или в белое, и плакучие волосы струятся им на плечи, и плакучие рукава хлопают вокруг запястий, и тела вот-вот выскочат из корсета, как мякоть из плода, если сдавить его пальцами; подошвы их атласных туфелек на каждом шагу словно прилипают к полу, а в бурном порыве страсти они отпихивают шлейф назад незаметным ударом каблучка. Диалог, состоящий исключительно из ахов и охов, из кудахтанья, которое они выпускают, выгибаясь колесом, проглатывается с удовольствием и вполне удобоварим. Их прекрасные принцы также очаровательны, разве только чересчур угрюмы и меланхоличны, что не мешает им быть самыми желанными воздыхателями во всем мире и за его пределами.

Что до комедии, каковая призвана исправлять нравы, но, по счастью, весьма скверно выполняет свои обязанности, то, на мой взгляд, клятвы отцов и нудность дядюшек на театре не менее убийственны, чем в жизни. Я не считаю, что следует удваивать число дураков, выводя их на сцену; и так уже, благодарение Богу, их вполне достаточно и роду их не грозит оскудение. Что за нужда изображать портрет человека со свиным рылом или воловьей мордой и коллекционировать глупости деревенщины, которого вышвырнули бы в окно, вздумай он явиться к вам домой? Изображение педанта ничуть не занимательнее, чем сам педант, и даже если мы видим его лицо в зеркале, он от этого не перестает быть педантом. Актер, которому в совершенстве удалось скопировать позы и манеры какого-нибудь тупицы, позабавит нас не больше, чем настоящий тупица.

Но есть театр, который мне по душе: это фантастический, ошеломляющий, небывалый театр, и почтенная публика освистала бы в нем первую же сцену, не поняв в ней ни слова.

Это очень странный театр. Вместо кинкетов в нем светлячки; у пюпитра жук-скарабей отбивает такт своими усиками. Свою партию ведет сверчок, первая флейта — соловей; крошечные силфы, выпорхнувшие из душистого горошка, держат между хорошеньких, белых, как слоновою костью, ножек контрабасы из лимонной кожуры и вовсю водят смычками, изготовленными из ресниц Титании, по струнам-паутинкам; паричок с тремя рядами буклей на голове у жука-дирижера трепещет от удовольствия и рассыпает вокруг светоносную пыльцу — до того сладостны созвучия и до того безупречно звучит увертюра!

После трех положенных ударов гонга медленно поднимается занавес, сшитый из крылышек бабочек, более тонкий, чем пленка внутри яичной скорлупы. Залу заполнили души поэтов, восседающие на жемчужно-перламутровых креслах; они смотрят представление сквозь капельки росы, укрепленные на золотых пестиках лилий, — это их лорнеты.

Декорации не похожи ни на какие известные доньше декорации; страна, которую они изображают, известна менее, чем Америка до ее открытия. Самая богатая палитра художника не содержит и половины тех тонов, которые их испещряют: они расписаны причудливыми, небывалыми красками; здесь явно не пожалели медной зелени, медной же лазури, ультрамарина, желтого и красного лака.

Небо бирюзовой синевы исполосовано широкими лентами то белесого, то ржавого цвета; на втором плане тоненькие и хрупкие деревца качают кружевной листвой цвета увядшей розы; даль, вместо того чтобы утопать в лазурном тумане, окрашена в нежно-зеленые тона, тут и там прорезанные струйками золотистого дыма. Случайный луч скользит по фронтому полуразвалившегося храма или тянется к шпилью башни. Города, полные колоколенок, пирамид, соборов, аркад и лестниц, расположились на холмах и отражаются в хрустальных озерах. Рослые деревья с широкими листьями, которым ножницы фей

придали затейливую форму, переплетаются узловатыми стволами и ветвями, образуя кулисы. Тучки в небе собираются над их головами, как снежные хлопья, и в их просветах поблескивают глаза карликов и гномов, а извилистые корни уходят в землю, подобно исполинским пальцам. Зеленый дятел мерно стучит по стволу крючковатым клювом, а изумрудные ящерицы греются на солнышке у подножия.

Гриб смотрит комедию, не снимая шляпки, такой нахал! — а крошечная фиалка привстает на цыпочки между двух былинки и таращит синие глазки, чтобы увидеть героев, Расхаживающих по сцене.

Снегирь и коноплянка свешиваются с ветвей, суфлируя актерам.

В густой траве, среди зарослей багровеющего чертополоха и бархатных листьев лопуха, серебряными ужами выются ручейки слез, пролитых затравленными оленями; вдали там и тут сверкают на лугу анемоны, похожие на капельки крови, и важничают маргаритки, увенчанные жемчужными коронами, как настоящие герцогини.

Действующие лица не принадлежат никакой эпохе, никакой стране; они приходят и уходят неведь почему и неведь зачем; они не едят и не пьют, нигде не живут и не занимаются никаким ремеслом; нет у них ни земли, ни ренты, ни дома, только иногда они носят под мышкой ларчик, полный бриллиантов величиной с голубиное яйцо; проходя, они не стряхнут и капли дождя из цветочной чашечки и не взметнут ни единой пылинки на дороге.

Одевание на них самое экстравагантное и самое фантастическое на свете. Шляпы, островерхие, как колокольни, с широченными, как китайские зонтики, полями и перьями небывалой величины, выданными из хвоста райской птицы или феникса; яркие полосатые плащи, бархатные и велюровые камзолы, сквозь прорези которых, отделанные галуном, видна подкладка из атласа или серебряной парчи; короткие штаны, пышные и раздувающиеся, как воздушные шары; алые чулки с вышивкой по краям, башмаки с высокими каблуками и пышными бантами, хрупкие шпажонки, болтающиеся острием вверх и рукоятью вниз, все в ленточках и бантиках, — это у мужчин. Женщины разряжены не менее занятым образом.

Об их экипировке можно получить представление по рисункам делла Белла и Ромейна де Хоха; это богато отделанные платья, струящиеся пышными складками; они переливаются, как голубиные горлышки, и играют всеми мимолетными цветами радуги; тут и широкие рукава, из-под которых выглядывают другие рукава, и гофрированные воротники из ажурных кружев, вздымающиеся выше головы, коей они служат рамой, и корсажи, перегруженные бантами и вышивкой, шнуровки, причудливые драгоценности, эгретки из перьев цапли, ожерелья из крупного жемчуга, веера из павлиньих хвостов с зеркальцами посередине, туфельки без задников и башмачки на толстенной подошве, гирлянды искусственных цветов, блески, газ, расшитый серебряной и золотой канителью, румяна, мушки и все, что сообщает пряный и пикантный оттенок театральным костюмам.

Эти наряды, собственно, не в английском духе и не в немецком, не во французском, не в турецком, не в испанском и не в татарском, хотя понемногу напоминают обо всех этих странах и в каждой позаимствовали самое изящное и самое характерное. Одетые таким образом актеры могут произносить все, что угодно, не нарушая правдоподобия. Фантазия вольна устремляться в любую сторону, стиль может всласть разворачивать свои пестрые кольца подобно ужу, греющемуся на солнышке; самые что ни на есть экзотические изыски ума вольны без опаски распускать свои причудливые лепестки и распространять вокруг аромат амбры и мускуса. Ничто этому не препятствует, ни место действия, ни имена, ни костюмы.

Как занятно и как очаровательно то, что они декламируют! Уж эти-то прекрасные актеры не станут, как драматические крикуны, кривить рот в гримасе и таращить глаза, чтобы поэффектнее выпалить тираду; равно не напускают они на себя и вид изнуренных работяг, волов, которые впряглись в действие и поскорее влекут его к концу; они не перемазаны слоем мела и румян толщиной в полдюйма; они не носят жестяных кинжалов и не прячут на всякий случай под накидками свиных пузырей, полных куриной кровью; они не потрясают все теми же засаленными лохмотьями на протяжении целых пяти актов.

Говорят они не спеша, без крику, как люди из хорошего общества, не придающие большого значения тому, что делают; влюбленный объясняется своему кумиру в любви с самым что ни на есть беспечным видом; в разгар болтовни он хлопает себя по ляжке кончиком перчатки или поправляет себе кружево коленом. Дама рассеянно стряхивает росу со своего букета или вместе с горничной занимается рукоделием; влюбленный весьма мало заботится о том, чтобы растрогать жестокую; главная его цель — сорвать с ее уст россыпи жемчужин и охапки роз и с истинной расточительностью разбросать кругом сокровища поэзии; часто он даже совсем уходит на задний план и предоставляет автору ухаживать за своей возлюбленной вместо себя. Ревность не входит в число его недостатков, и нрав у него самый покладистый. Воздев глаза к парящим в воздухе полотнищам и театральным фризам, он любезно ждет, покуда поэт выскажет то, что промелькнуло в его воображении, а потом уж вновь подхватывает свою роль и опускается на колени.

Все завязывается и развязывается с восхитительной безалаберностью: следствия совершенно беспричинны, а причины не приводят к следствиям; самое остроумное действующее лицо изрекает более всего глупостей; самое глупое высказывается остроумнее всех; юные девушки ведут речи, от которых покраснелись бы куртизанки; куртизанки изрекают высоконравственные сентенции. Самые неслыханные приключения следуют одно за другим, не получая никакого истолкования; благородный отец мчится из Китая в бамбуковой джонке только затем, чтобы признать свою похищенную дочку; боги и феи только и делают, что снуют вверх и вниз в колесницах. Действие погружается в море под топазовый купол волн и блуждает по океанскому дну в коралловых и мадрепоровых лесах или взвивается к небу на крыльях жаворонка и грифона. Диалог носит самый общий характер; в нем участвует лев, испуская мощные ахи и охи; стена говорит своими расщелинами, и кто угодно имеет право прервать самую интересную сцену, лишь бы у него были припасены для этого подходящая острота, ребус или каламбур: ослиную голову Основы ждет такой же благосклонный прием, как белокурую голову Ариэля; остроумие автора обнаруживается в какой угодно форме; и все эти противоречия подобны граням, отражающим разные стороны его таланта, добавляя им все цвета, играющие в призме.

Эти явные беспорядок и неразбериха в конечном счете ухитряются передать реальную жизнь в ее фантастической ипостаси точнее, чем добротнейшая нравоописательная драма. Каждый человек заключает в себе все человечество, и если он пишет все, что приходит ему в голову, то добивается большего успеха, чем копируя под лупой предметы, существующие вне его.

О прекрасное семейство! Юные романтические воздыхатели, барышни-путешественницы, услужливые субретки, язвительные шуты, простоватые лакеи и поселяне, добродушные короли, чьи имена неведомы историку, а королевства — географу, буффоны в пестрых трико, клоуны с метким ответом и с головокружительным прыжком наготове, все вы, чьими улыбочивыми устами вещает свободный каприз, — люблю вас, обожаю вас больше всех и превыше всех: Перлита, Розалинда, Селия, Пандар, Пароль, Сильвий, Леандр и другие, все эти обольстительные персонажи, такие лживые и такие искренние, вы, что на

радужных крыльях безумия воспаряете высоко над реальностью, вы, в ком поэт видит самое заветное олицетворение радости, меланхолии, любви и мечты, таящиеся под самой фривольной и беспечной оболочкой!

Среди этих пьес, которые пишутся для фей и разыгрываются при лунном свете, есть одна — она-то меня главным образом и пленяет; пьеса эта такая бродячая, такая кочевая, интрига в ней так туманна, а характеры так причудливы, что сам автор, не зная, как ее озаглавить, дал ей название «Как вам это понравится» — название растяжимое и подходящее к чему угодно.

Читая эту странную пьесу, переносишься в неведомый мир, о котором, правда, сохранил проблески воспоминаний: перестаешь понимать, жив ты или умер, спишь или бодрствуешь; грациозные образы нежно улыбаются и дружелюбно приветствуют тебя мимоходом; при виде их ощущаешь волнение и беспокойство, словно сейчас, вдруг, за поворотом Дороги повстречался со своим идеалом или внезапно перед тобой вырос призрак твоей первой возлюбленной. Текут ручьи, лепеча приглушенные жалобы; ветер, сочувственно вздыхая, колеблет ветви дряхлых деревьев старого леса над головой старого герцога-изгнанника, и откуда меланхолический Жак роняет философские сетования, которые уносит течением вместе с листьями ивы, вам чудится, что все это говорите вы сами и что самые тайные и смутные мысли вашего сердца стали ясны и озарились светом.

О юный сын доблестного рыцаря Роланда де Буа, беспощадно гонимый судьбой! Все равно я не в силах тебе не завидовать; у тебя есть верный слуга, славный Адам, чья старость еще столь свежа под снегами седины! Тебя изгоняют, но сначала ты хотя бы изведаль борьбу и торжество; твой злобный брат похищает все твое достояние, но Розалинда отдает тебе цепь со своей шеи; ты беден, но ты любим; ты покидаешь родину, но дочь твоего гонителя следует за тобой.

Темные Арденны распахивают свои широколиственные объятия, чтобы принять и укрыть тебя; заботясь о твоём ложе, добрый лес расстилает в глубине своих пещер самый мягкий мох; он склоняет над твоим челом свои своды, чтобы уберечь тебя от солнца и дождя; он выражает тебе свою жалость слезами источников и вздохами ланей и молодых оленей; он превращает свои скалы в удобнейшие пюпитры для твоих любовных посланий; он протягивает тебе колючки своих кустов, чтобы наколоть на них письма, и велит атласной коре своих осин уступить острию твоего стилета, когда тебе вздумается вырезать вензель Розалинды.

Если бы можно было, юный Орландо, подобно тебе иметь про запас обширный тенистый лес, чтобы удалиться туда, уединиться в своём горе, и если бы на повороте аллеи можно было повстречать ту, которую ищешь, — переодетую, но узнаваемую! Увы, мир души — это вам не зелёный Арденнский лес, и лишь на клумбе поэзии расцветают те дикие и капризные цветочки, аромат которых дарует забвение. Напрасно мы проливаем слезы — они не струятся прекрасными серебряными водопадами; напрасно мы вздыхаем — никакое сочувственное эхо не даёт себе труд вернуть нам наши песни, украсив их игрой слов и ассонансами. Понапрасну цепляем мы по сонету на колючки каждого ежевичного куста — никогда Розалинда их не получит, и попусту испещряем мы древесную кору возлюбленными вензелями.

Птицы небесные, дайте мне взаймы по перышку каждая — ласточка и орел, колибри и птица Рох, — чтобы я сделал себе пару крыльев и поскорей взмыл в неведомые дали, туда, где ничто не напомнит мне о человеческих селениях, где я смогу забыть, что я — это я, и живу новой и удивительной жизнью, дальше, чем в Америке, в Африке, в Азии, дальше самого отдаленного островка на земле, за ледяным океаном, по ту сторону полюса, где

дрожит северное сияние, в бесплотном королевстве, куда улетають божественные создания поэзии и образы, в которых запечатлена высшая красота.

Как прикажете вытерпеть заурядные разговоры в кружках и салонах после твоих речей, блистательный Меркуцио, чья каждая фраза сверкает золотым и серебряным дождем, словно сноп ракет под усеянным звездами небом? Бледная Дездемона, какую радость, по-твоему, может принести нам вся земная музыка после твоей песенки об иве? Какие женщины не покажутся дурнушками рядом с вашими Венерами, античные ваятели, слагатели мраморных строф?

Ах, как ни пытался я сжать в неистовых объятиях мир материального — за неимением другого, — чувствую, что родился я не в добрый час, что жизнь создана не для меня, что она меня отталкивает; я ни за что не могу взяться — какое бы направление я ни избрал, все равно сбиваюсь с пути: и гладкая аллея, и каменистая тропа неизменно ведут меня к пропасти. Если я хочу взлететь, воздух сгущается вокруг меня, и я цепенею с расправленными крыльями, не в силах их сложить. Я не могу ни ходить, ни летать; небо влечет меня, когда я на земле, земля — когда я в небе; в вышине аквилон вырывает у меня перья, внизу булыжники ранят мне ступни. У меня слишком нежные подошвы, чтобы ступать по стеклянным осколкам реальности; размах крыльев слишком узок, чтобы воспарить надо всем и круг за кругом взлететь в бездонную лазурь мистицизма, к неприступным вершинам вечной любви; с тех пор как Океан любит Луну, а женщины морочат мужчин, еще не было в мире более несчастного гиппогрифа, более убогой, состряпанной из разнородных кусков мешанины, чем я; умерщвленная Беллерофонтом чудовищная Химера с головой девы, лапами льва, телом козы и хвостом дракона была по сравнению со мной существом простым и незамысловатым.

В моей хрупкой груди уживаются вместе усеянные фиалками грезы юной невинной девушки и безумный пыл хмельных куртизанок; мои вожеления рыщут, подобно львам, точат когти во тьме и ищут, кого бы пожрать; мои мысли мечутся беспокойно, как козы, балансируя на краю самых опасных горных хребтов; ненависть моя, вся налитанная отравой, свивает неразрывными узлами свои чешуйчатые кольца и волочит далеко позади меня по рытвинам и колеям.

Душа моя — причудливая страна, на первый взгляд цветущая и роскошная, но более насыщенная гнилостными и смертоносными испарениями, чем Батавия: малейший солнечный лучик, упав на ее ил, вызывает к жизни гадюк и плодит москитов; толстые желтые тюльпаны, нагассарисы и цветы ангоки торжественно прикрывают отвратительную пададь. Влюбленная роза распахивает алые губы, являя в усмешке свои зубки-росинки галантным соловьям, которые читают ей мадригалы и сонеты; ничего нет прелестнее; но можно держать пари на сто к одному, что в траве, под кустом, проползает, припадая на все лапы, раздутая от водянки жаба и серебрит свой путь слюной.

Вот источник, он светлее и прозрачнее бриллианта самой чистой воды, но лучше бы вам было зачерпнуть застоявшейся жижи из болота, в котором плавают гнилые камыши и дохлые собаки, чем окунуть ваш кубок в эту струю. На ее дне прячется змея и с чудовищной быстротой вращается на собственном хвосте, изрыгая яд.

Вы посеяли хлеб — вырастают асфодели, белена, плевелы и бледная цикута, ветви которой покрыты ярью-медянкой. Вы сами посадили в землю корешок и с изумлением видите, как на этом месте вылезают изогнутые мохнатые ножки черной мандрагоры. Оставьте там на время какое-нибудь воспоминание и вернитесь к нему немного погодя — вы обнаружите слой зеленой плесени, а под ним кишение мокриц и омерзительных насекомых, словно это камень, забытый на сыром земляном полу в погребке. Не пытайтесь пробраться сквозь сумрачные леса моей души; они непроходимее девственных лесов

Америки и яванских джунглей; от дерева к дереву тянутся лианы, крепкие, как канаты; острая, как наконечники копий, поросль щетинится и преграждает все пути; даже трава покрыта жгучими ворсинками, как крапива. Под листовыми сводами висят, цепляясь когтями, гигантские летучие мыши из породы вампиров; жуки невиданной толщины поводят своими грозными рогами и рассекают воздух обеими парами крыльев; чудовищные, фантастические животные, подобные тем, что кишат в кошмарах, с трудом пробираются сквозь заросли, ломая тростники. Стада слонов, что давят мух в складках своей иссохшей кожи или чешут себе бока о камни и деревья, носороги, покрытые шишковатыми панцирями, гиппопотамы с одутловатыми, обросшими колючей щетиной мордами ломаются вперед, меся грязь и круша лесные заросли своими толстыми ножищами.

На прогалинах, куда сквозь влажную сырость золотым клином врывается солнце, как только вы набредете на место, где вам захочется присесть, там непременно обнаружится семейство тигров, которые небрежно разлеглись, втягивая ноздрями воздух, шуря глаза цвета морской волны и вылизывая бархатный мех кроваво-красными шершавыми языками; на худой конец там окажется клубок полусонных удавов, переваривающих последнего проглоченного быка.

Опасайтесь всего: травы, плодов, воды, воздуха, тени, солнца — все несет смерть.

Заткните уши, чтобы не слышать стрекотания попугайчиков с золотыми клювами и изумрудными шейками, которые слетают с деревьев и садятся вам на пальцы, трепеща крылышками; эти попугайчики с изумрудными шейками рано или поздно попросту выключат вам глаза своими очаровательными золотыми клювиками в тот самый миг, когда вы нагнете голову, чтобы их поцеловать. Вот так-то!

Мир не желает меня знать; он отторгает меня, словно выходца из могилы; я и бледен почти как мертвец: кровь моя отказывается верить, что я жив, и не хочет окрашивать мою кожу; она еле-еле тащится по моим венам, словно зацветшая вода по нечищеным каналам. Мое сердце не бьется даже в тех случаях, когда забилося бы сердце у кого угодно. Горести мои и радости — иные, чем у мне подобных. Я страстно возжелал того, что никому не желанно; я пренебрег тем, чего самозабвенно хотят другие. Я любил женщин, когда они меня не любили, и внушал к себе любовь, когда хотел внушить ненависть; и всегда выходило то слишком рано, то слишком поздно, то больше, то меньше, то в ту сторону, то в другую, и вечно не то, что нужно; я или не поспеваю, или оказываюсь чересчур далеко. Я не то вышвырнул свою жизнь в окошко, не то чрезмерно сосредоточил ее на чем-то одном и от беспокойной, суетливой деятельности дошел до угрюмой спячки человека, опьяненного наркотиком, или отшельника на столпе.

Все, что я делаю, всегда похоже на грезу; мои поступки выглядят так, словно вызваны скорее сомнамбулизмом, чем свободной волей; я смутно чувствую, что внутри меня, на большой глубине, есть нечто, понуждающее меня действовать помимо моих желаний и всегда вопреки общим законам; простая и естественная сторона вещей неизменно открывается мне в последнюю очередь, а эксцентрическое и причудливое я схватываю прежде всего; стоит линии чуть-чуть отклониться от прямой, а я уже мигом превращу ее в спираль, извилистую, как змея; если контуры не очерчены с безусловной точностью, они мутнеют и расплываются. В лицах появляется что-то сверхъестественное, а во взглядах зловещее.

И, словно инстинктивно борясь с этим, я всегда отчаянно цеплялся за материю, за внешние очертания вещей, и среди искусств огромное место отводил пластическим. Я превосходно понимаю статую, а человека не понимаю; там, где начинается жизнь, я замираю и в испуге пачусь назад, словно увидал голову Медузы. Феномен жизни

наполняет меня удивлением, от которого я не в силах оправиться. Из меня, несомненно, получился бы образцовый покойник, потому что как живой человек я никуда не гожусь, и смысл моего существования полностью от меня ускользает. Звук собственного голоса вызывает у меня неопишное удивление, и подчас меня обуревают соблазны принять этот голос за чей-то чужой. Когда я хочу вытянуть руку и она мне повинуется, это кажется мне сущим чудом, и я впадаю в глубочайшее изумление.

Зато, Сильвио, я превосходно понимаю непостижимое; самые необычайные сведения представляются мне вполне естественными, и я усваиваю их с удивительной легкостью. Я без труда слежу за развитием самого причудливого и самого неистового кошмара. Вот почему мне больше всех прочих нравятся пьесы в том роде, о каком я тебе сейчас толковал.

Мы с Теодором и Розеттой пускаемся в великие споры об этих материях; Розетте не слишком по вкусу моя система, она стоит за то, что есть на самом деле, Теодор отводит поэту больше пространства и допускает условность наряду с правдоподобием. Я настаиваю на том, что автору следует предоставить полную свободу действий и что фантазия должна быть самодержавной владычицей.

Многие из нашей компании исходили главным образом из того, что подобные пьесы вообще не удовлетворяют условиям сцены и сыграть их нельзя; я отвечал им, что, как почти всякое утверждение, в каком-то смысле и это верно, а в каком-то — нет, и что соображения по поводу возможного и невозможного на подмостках, по-моему, не слишком-то справедливы и внушены скорее предрассудками, чем разумными доводами; между прочим, я сказал, что пьеса «Как вам это понравится» наверняка вполне пригодна для постановки, особенно ежели в ней будут участвовать люди светские, не имеющие привычки к другим ролям.

В результате кто-то предложил ее поставить. Сезон продолжается, а мы уже истощили весь запас увеселений; мы устали от охоты, прогулок верхом и в лодках; как ни переменчива удача, сопутствующая бостону, все же переменчивость эта не столь увлекательна, чтобы занять нас на целый вечер, и предложение было принято при всеобщем энтузиазме.

Один молодой человек, умеющий писать красками, вызвался сделать декорации; теперь он с огромным рвением трудится над ними, и через несколько дней они будут готовы. Сцену возвели в оранжерею, это самая большая зала в замке, и я полагаю, что дело сладится. У меня роль Орlando; Розалинду должна была играть Розетта, это было бы совершенно справедливо: она имела право на эту роль и как моя любовница, и как хозяйка дома; но она не пожелала переодеваться мужчиной, повинаясь какому-то неожиданному для нее капризу, ибо ханжество явно не входит в число ее недостатков. Я подумал бы, что у нее некрасивые ноги, не будь я уверен в обратном. До сих пор ни одна дама в нашем обществе не пожелала оказаться менее щепетильной, чем Розетта, и это едва не заставило нас отказаться от пьесы, но Теодор, который сперва выбрал роль меланхолика Жака, вызвался заменить Розетту, благо Розалинда почти все время, кроме первого акта, выступает в облике юноши и с помощью грима, корсета и женского платья он вполне сможет преобразиться в девушку, поскольку борода у него еще не растет, а талия очень тонкая.

Теперь мы учим роли и представляем собой прелюбопытнейшее зрелище. Во всех уединенных уголках парка вы, без сомнения, найдете кого-нибудь из наших: в руке листок бумаги, губы бормочут текст, глаза то возведены горе, то потуплены долу, а руки по семь-

восемь раз кряду воспроизводят один и тот же жест. Не будь заранее известно, что мы собираемся играть комедию, нас бы наверняка приняли за сборище умалишенных или поэтов (что едва ли не плеоназм).

Полагаю, что скоро мы выучим достаточно, чтобы устроить репетицию. По-моему, это будет нечто весьма необычное. Возможно, я и ошибаюсь. Я было испугался, что, вместо того чтобы играть по вдохновению, наши актеры примутся копировать позы и модуляции голоса какого-нибудь модного артиста, но, к счастью, они не настолько пристально следят за театральными постановками, чтобы подвергаться та кому неудобству, и можно надеяться, что сквозь неловкость людей, ни разу не поднимавшихся на подмостки, у них будут проступать драгоценные вспышки естественности и то чарующее простодушие, которое не в силах воспроизвести самый совершенный талант.

Наш юный живописец воистину совершил чудеса: невозможно было бы придать более причудливые формы стволам древних деревьев и оплетающему их плющу; за образец он взял деревья в парке, но подчеркнул и гиперболизировал их облик, как и нужно для декораций. Все изображено с восхитительной отвагой и восхитительной прихотливостью; камни, скалы, облака словно строят таинственные гримасы; на зыбких и живых, как ртуть, водах играют сверкающие блики, и обычная прохлада листвы сказочно усилена оттенками шафрана, которые набрасывает на нее кисть осени; лес играет всеми красками — от изумрудно-зеленой до сердоликово-пурпурной; самые теплые и свежие тона сопоставлены наиболее гармоническим образом, и даже небо переходит от самой нежной голубизны к самым огненным цветам.

Все костюмы он нарисовал по моим указаниям; они отменно выразительны. Сперва поднялся крик, что их невозможно воплотить ни в шелке, ни в бархате, ни в какой бы то ни было известной материи, и я уже предчувствовал, что все останутся на костюмах в стиле «трубадур». Дамы говорили, что эти пронзительные цвета лишат их глаза природного блеска. На это мы ответили, что их глаза — воистину неугасимые звезды и, напротив, они, эти глаза, заставят потускнеть не только краски, но и кинкеты, люстру, а при случае и само солнце. На это им нечего было возразить, но, точь-в-точь как у Лернейской гидры, перед нами отрастали и щетинились все новые возражения: не успевали мы снести голову одному, как на его месте являлось другое, еще более упрямое и дурацкое.

— По-вашему, это будет держаться? На бумаге-то все прекрасно, но на человеке будет сидеть совсем по-другому, это никогда на меня не налезет! Моя юбка по меньшей мере на четыре пальца короче положенного, ни за что не осмелюсь щеголять в таком виде! Этот воротник чересчур высок: я в нем какая-то горбатая; кажется, что у меня нет шеи. Эта прическа меня нестерпимо старит.

— Были бы крахмал, булавки да чуть-чуть доброй воли, и все будет держаться... Ну, вы смеетесь! Это ваша-то осиная талия, такая тоненькая, что пройдет сквозь перстенок, который я ношу на мизинце?.. Ставлю двадцать пять луидоров против одного поцелуя, что ваш корсаж еще придется ушивать. — Ваша юбка ни в коей мере не чересчур коротка, и если бы вы сами увидели, какие у вас очаровательные ножки, вы бы со мной согласились... Напротив, в ореоле кружев ваша шейка выделяется и смотрится наиболее выгодным образом... Эта прическа ни капельки вас не старит, но даже если б вы и выглядели в ней на несколько лет постарше, то при вашей крайней молодости вам это должно быть как нельзя более безразлично; право, вы навели бы нас на самые странные подозрения, если бы нам не было доподлинно известно, где брошены осколки вашей последней куклы... et caetera.

Ты себе не представляешь, какое чудовищное количество мадригалов пришлось нам расточить, дабы уговорить наших дам надеть очаровательные костюмы, которые были им донельзя к лицу.

Кроме того, нам стоило большого труда заставить их надлежащим образом наклеить мушки. Какой у женщин убийственный вкус! И каким титаническим упрямством одержима юная слабонервная щеголиха, воображающая, будто яблочно-соломенный желтый цвет идет ей больше, чем оттенок желтого нарцисса или ярко-розовый. Я убежден, что, если бы в делах общественных пустил в ход половину той хитрости и тех интриг, которые ухлопал на то, чтобы укрепить красное перышко не справа, а слева, я стал бы императором или, по меньшей мере, государственным министром.

Каким же пандемониумом, какой огромной безысходной толкучкой должен быть настоящий театр!

С тех самых пор, как затеяли сыграть комедию, весь дом находится в полнейшем беспорядке. Все ящики выдвинуты, все шкафы опустошены; сущий разор! Столы, кресла, консоли — все загромождено вещами; не знаешь, куда ступить: по всему дому валяется чудовищное количество платьев, накидок, вуалей, юбок, плащей, шляп, шляпок; как подумаешь, что все это предназначено облекать тела семи-восьми человек, невольно приходят на ум ярмарочные фигляры, натянувшие на себя по восемь-десять кафтанов одновременно, и невозможно вообразить себе, что изо всей этой горы тряпья выйдет лишь по одному костюму на каждого.

Слуги только и делают, что снуют взад и вперед; двое или трое из них постоянно находятся на пути из замка в город или обратно, и если дальше будет продолжаться в том же духе, они запалят всех лошадей.

Директору театра некогда предаваться меланхолии, и с некоторых пор я перестал быть меланхоликом. Я до того измучен и оглушен, что перестаю понимать что бы то ни было в этой пьесе. Поскольку помимо роли Орlando я исполняю еще и роль импресарио, на меня ложится двойное бремя. Чуть только возникает заминка, все сразу обращаются ко мне, а поскольку мои суждения не всегда принимаются как приговор оракула, то мы увязаем в бесконечных спорах.

Если жить значит быть всегда на ногах, отвечать на двадцать вопросов разом, носиться вверх и вниз по лестнице, ни минуты в день не уделять размышлениям, то я никогда не жил такой полной жизнью, как на этой неделе; однако я принимаю во всем этом кипении не такое уж участие, как можно подумать. Суeta моя весьма поверхностна; и если заглянуть на несколько сажень вглубь, то обнаружится стоячая вода, не затронутая ни малейшим течением; жизни не так уж легко меня захватить, и на самом деле именно в такие минуты я живу меньше всего, хоть и кажусь деятельным и вмешиваюсь во все, что творится кругом; деятельность утомляет и отупляет меня до такой степени, что трудно вообразить; когда я не действую, то размышляю или хотя бы мечтаю, что само по себе уже форма существования; я лишаюсь ее, стоит мне отрешиться от невозмутимости фарфорового божка.

До сих пор я ничего не делал и не знаю, буду ли когда-нибудь делать. Я не умею останавливать работу своего мозга, а в этом и состоит разница между гением и талантом: во мне происходит постоянное бурление, волна подгоняет волну; я не в силах обуздать этот внутренний поток, брызжащий от сердца к голове, в котором, лишенные выхода на волю, тонут все мои мысли. Я ничего не способен произвести на свет — не от бесплодия, а от чрезмерного изобилия; мысли мои растут так густо и тесно, что глушат друг друга и не успевают вызреть. С какою бы неистовою быстротой ни происходило воплощение,

ему никогда не достичь такой резвости; пока я пишу фразу, мысль, которую она передает, уже настолько отдаляется от меня, как будто миновала не секунда, а целое столетие, и подчас мне приходится вставлять в нее краешек той мысли, которая сменила у меня в голове предыдущую.

Вот почему я никогда не научусь жить — ни как поэт, ни как любовник. Я могу высказывать лишь те мысли, от которых уже отошел; я обладаю женщиной, лишь когда я уже забыл ее и люблю другую; и как могу я, мужчина, претворить в жизнь свою волю, если, как бы я ни торопился, все равно поступаю не так, как велит мне чувство, и действую скорее по указке смутных воспоминаний?

Добыть идею из залежей собственного мозга, извлечь ее, сперва необработанную, как глыбу мрамора, которую вырубает в карьере, поместить перед собой и с утра до вечера, взяв в одну руку резец, а в другую молоток, стучать, резать, скоблить и похищать у ночи щепотку песка, чтобы бросить ее на свое произведение... Вот уж что никогда мне не удастся!

В мыслях я легко извлекаю хрупкую фигуру из грубой глыбы и отчетливо вижу ее перед собой; но столько углов нужно обрубить, столько осколков отбросить, столько поработать резцом и молотком, чтобы приблизиться к форме и уловить те самые изгибы контуров, что на руках у меня выскакивают мозоли, и я роняю резец на пол.

Если же я упорствую, усталость овладевает мною с такой силой, что внутренняя моя жизнь полностью омрачается, и сквозь мраморное облако я более уже не прозреваю божества, притаившегося в его толще. Тогда я принимаюсь гоняться за ним наудачу и словно на ощупь; чересчур вгрызаюсь в один кусок, недостаточно прохожусь по другому; удаляю то, что должно было стать рукой или ногой, и оставляю нетронутой плотную массу там, где следовало быть пустоте; вместо богини я творю уродца, а иногда нечто ничтожнее уродца, и великолепная глыба, с такими издержками и таким тяжким трудом извлеченная из недр земли, избитая молотком, искромсанная, испещренная бороздами и вмятинами, выглядит так, словно не ваятель трудился над ней по заранее обдуманному плану, а полипы изгрызли и изъели ее, превратив в подобие улья.

Как удастся тебе, Микеланджело, словно ребенку, режущему каштан, отделять от мрамора ломоть за ломтем? Из какой стали был сделан твой непобедимый резец? И чье могучее лоно выносило вас всех, плодовые и трудолюбивые художники, перед которыми не устоит никакая материя, вы, что всю свою мечту целиком претворяете в цвет и в бронзу?

Тщеславие мое невинно и в какой-то мере простительно после всех жестоких слов, которые я произнес о себе самом, и ты не упрекнешь меня за него, о Сильвио! Но пускай вселенная никогда не узнает об этом, и мое имя заранее обречено на забвение, я все же поэт и живописец! Замыслы мои были прекраснее, чем у любого поэта в мире; я создал такие же чистые, такие же божественные образы, как те, какими мы больше всего восхищаемся у великих мастеров. Вижу их здесь, перед собой, так же ясно, так же отчетливо, как если бы они и впрямь были запечатлены на полотне, и если бы я сумел проделать отверстие у себя в голове и застеклить его, чтобы другие могли заглянуть внутрь, получилась бы прекраснейшая картинная галерея, какой никто еще не любовался. Ни один из царей земных не может похвастать подобным собранием. Там есть Рубенсы, такие же блистательные, такие же пламенные, как лучшие из тех, что хранятся в Антверпене; мои Рафаэли пребывают в отменной сохранности, и никакие рафаэлевские мадонны не улыбаются нежнее тех, что представлены у меня; мышцы, изваянные рукой Буонаротти, нигде не напрягаются столь дерзостно и ужасно; солнце Венеции блистает вон на том холсте так, словно его подписал Paulus Cagliari; фон другого полотна представляют клубящиеся сумерки самого Рембрандта, среди которых, вдали, бледной

звездой мерцает огонек; можно не сомневаться: никто не пренебрег бы картинами, исполненными в присущей мне манере.

Прекрасно понимаю, что слова мои производят странное впечатление и что может показаться, будто меня самым грубым образом опьяняет глупейшая гордыня, но дело обстоит именно так, и убеждений моих на сей счет не поколеблет ничто. Разумеется, никто их со мной не разделит, да что ж поделаешь? Все мы с рождения отмечены черной или белой печатью. Моя печать, по-видимому, черная.

Подчас мне даже стоит большого труда как следует скрыть свои мысли на этот счет; нередко случалось мне чересчур фамильярно толковать о великих гениях, чьим следам на земле мы обязаны поклоняться и чьи статуи полагается коленопреклоненно созерцать издали. Однажды я настолько забылся, что произнес: «Мы, великие...» По счастью, моя собеседница не обратила на это внимания, иначе я неизбежно прослыл бы величайшим хлыщом на свете.

Но ведь это правда, Сильвио? Ведь я и поэт, и живописец?

Неправильно думать, что все, прославившие великими, были в самом деле гениальнее прочих. Кто знает, сколько учеников и безвестных художников, которых Рафаэль привлекал к работе над своими картинами, внесли свою лепту в его славу? Он скрепил своей подписью чужое вдохновение и талант, вот и все.

Великий живописец, великий писатель занимают и заполняют собою целое столетие: для них нет задачи более срочной, чем перепробовать себя одновременно во всех жанрах, чтобы в случае, если какие-нибудь соперники у них все-таки появятся, обвинить этих соперников в плагиате и с первых же шагов задержать их продвижение к успеху; тактика эта известна и неизменно оправдывает себя, даром что не блещет новизной.

Может статься, что некто, уже стяжавший известность, наделен дарованием того же характера, что присуще и вам; под угрозой прослыть его подражателем вам приходится извращать свое первоначальное вдохновение и пускать его по другому руслу. Вы рождены, чтобы во всю мочь трубить в героический рог или чтобы вызывать к жизни бледные тени минувших времен, а вам приходится перебирать пальцами по семи отверстиям свирели или валять дурака на софе в глубине какого-нибудь будуара — и все потому, что ваш почтенный батюшка не удосужился испечь вас лет на восемь-десять пораньше, и потому, что человечество не представляет себе, как это два человека могут возделывать одно и то же поле.

Вот так-то многие возвышенные умы бывают вынуждены избирать заведомо чуждую им стезю и упорно обходить стороной уголья, принадлежащие им по праву, из которых они, однако, изгнаны, и радуются, когда им удастся украдкой бросить туда взгляд поверх изгороди и подглядеть, как по ту сторону распускаются на солнце прекрасные пестрые цветы, семенами которых они владеют, да не могут их высадить за неимением земли.

Что до меня, то, если не брать в расчет более или менее благоприятных обстоятельств, избытка или недостатка воздуха и света, ворот, которые должны были распахнуться, а остались на запоре, какой-то несостоявшейся встречи, ка-ких-то людей, с которыми мне следовало, да так и не удалось познакомиться, я понятия не имею, чего бы мне удалось добиться.

Я не наделен ни глупостью в той мере, которая необходима так называемому бесспорному гению, ни титаническим упрямством, которое впоследствии, когда великий человек уже добрался до сияющей вершины, обожествляют под божественным именем воли, тем упрямством, без которого вершина эта остается недостижима; мне настолько хорошо

известно, как пусто и какой порчей проникнуто все, окружающее нас, что я не в силах надолго привязываться к чему бы то ни было и наперекор всему пламенно и упорно добиваться своей цели.

Гениальные люди в этом отношении весьма ограничены, потому-то они и гениальны. Узость ума мешает им замечать препятствия, отделяющие их от возжеленной цели; они пускаются в путь и в два-три шага покрывают расстояние простирающееся между ними и этой целью. Поскольку их рассудок упорно сопротивляется некоторым влияниям и поскольку подмечают они только то, что теснее всего связано с их планами, то и мысленных, и физических усилий они затрачивают куда меньше: ничто их не отвлекает, не сбивает с толку, действуют они скорее по наитию, и многие из них, если извлечь их из профессиональной сферы, оказываются настолько ничтожны, что в это трудно поверить.

Безусловно, сочинять хорошие стихи — редкостный и пленительный дар; мало кто находит в поэтических творениях более радости, чем я; однако я не желаю ограничивать свою жизнь, втискивая ее в двенадцать стоп александрийского стиха; тысяча других вещей волнуют меня не меньше, чем полустиишие: я имею в виду не состояние, в коем пребывает общество, и не реформы, которые необходимы; меня очень мало заботит, умеют крестьяне читать или нет, едят люди хлеб или щиплют траву; но в голову мне за какой-нибудь час приходит более ста тысяч видений, не имеющих ни малейшего отношения ни к цензуре, ни к рифме, и вот потому-то я пишу так мало, хотя идей у меня больше, чем у иных поэтов, которых следовало бы сжечь вместе с их творениями.

Я поклоняюсь красоте и умею ее чувствовать; я могу описать ее не хуже, чем самые страстные ваятели, — а между тем я не занимаюсь ваянием. Уродство и несовершенство наброска бесят меня; я не могу ждать, пока статуя станет хороша после бесконечной полировки; решишь я оставить после себя что-то из произведений, над которыми тружусь, будь то поэзия или живопись, я в конце концов, возможно, создал бы стихотворение или картину, которые бы меня прославили, и тем, кто меня любит (если кто-нибудь в мире дает себе труд меня любить), не приходилось бы верить мне на слово: у них был бы наготове неотразимый ответ на все сардонические усмешки тех, кто посмеет хулить столь великого безвестного гения, то есть меня.

К я вижу много людей, которые берут палитру, кисти и покрывают полотно красками, не заботясь ни о чем, кроме того, что рождается на кончике их кисти под влиянием прихоти; видел и таких, которые пишут сотню стихотворных строк подряд без единой помарки и ни разу не подняв глаза к подтолку. И даже если я подчас не восхищаюсь их произведениями, я восхищаюсь самими этими людьми; от всего сердца завидую их очаровательной неустрашимости и счастливому ослеплению, которые мешают им видеть собственные недостатки, даже самые заметные. Я, стою мне сплеховать в рисунке, мгновенно спохватываюсь, и мой промах начинает заботить меня сверх всякой меры; а поскольку в теории я куда более искушен, чем в практике, очень часто бывает так, что я не умею исправить погрешность, которую сам сознаю; тогда я переворачиваю холст лицом к стене и больше к нему не возвращаюсь,

— Я так живо представляю себе совершенство, что с самого начала меня охватывает отвращение к собственному произведению, мешающее продолжать работу.

Ах, стоит мне сравнить нежные улыбки моего замысла с безобразными гримасами, которые он корчит мне с холста или с листа бумаги, стоит мне увидеть мерзкую летучую мышь, пролетающую вместо прекрасной грезы, которая в тиши моих ночей расправляла свои широкие лучезарные крылья, стоит обнаружить репейник, выросший на месте воображаемой розы, услышать ослиный рев взамен сладостных песен соловья, я впадаю в такое чудовищное разочарование, в такую ярость на себя самого, в такую злобу на

собственное бессилие, что чувствую в себе решимость лучше не написать и не произнести более ни единого слова в жизни, чем совершать столь злодейское, столь тяжкое предательство по отношению к своим замыслам.

Мне даже письмо не удастся написать так, как я хочу. Часто я говорю совсем не то, одни подробности разрастаются до безобразных размеров, другие съеживаются так, что становятся едва различимы, и сплошь да рядом замысел, который я хотел передать, попросту исчезает или появляется только в постскриптуме.

Начиная тебе писать, я, разумеется, не собирался высказать и половины того, что наговорил. Я просто хотел сообщить, что мы намерены сыграть комедию, но слово ведет за собой фразу, в утробе скобок вызревают другие маленькие скобочки, которые, в свою очередь, готовы разродиться еще одними, третьими по счету. И так далее, и письму не видать конца и краю; пожалуй, оно дорастет до двухсот томов in-folio, что воистину было бы уже чересчур.

Стоит мне взяться за перо, как в голове у меня начинается шорох крыльев и гудение, словно в нее напустили множество майских жуков. Что-то бьется в стенки моего черепа, и кружит, и садится, и взлетает с ужасающим шумом; это мои мысли: они хотят улететь и ищут выход, силясь все разом вырваться на волю; и многие из них при этом ломают себе лапки и разрывают креповые крылышки; подчас у выхода начинается такая давка, что ни одна из них не в силах вырваться наружу и добраться до бумаги.

Так уж я устроен; не лучшим образом, конечно, да что поделаешь? Виноваты в этом боги, а вовсе не я, бедняга, бессильный что-либо изменить. Мне нет нужды взывать к твоему снисхождению, дорогой мой Сильвио, оно даровано мне заранее, и ты так добр, что дочитаешь до конца мои неразборчивые каракули, мои грезы без головы и хвоста; при всей своей нескладности и бессмыслице для тебя они все равно представляют интерес, потому что исходят от меня, а любая частица меня, как бы ни была она дурна, все же представляет для тебя известную ценность.

Перед тобой-то я могу обнаружить то, что более всего возмущает заурядных людей: откровенную гордыню. Но оставим на время в покое все эти высокие материи, и, раз уж я пишу тебе по поводу пьесы, которую мы собираемся ставить, вернемся к ней и поговорим о ней немного.

Сегодня была репетиция; никогда в жизни меня не постигало такое потрясение, и не из-за неудобства, которое мы всегда испытываем, декламируя перед многолюдным сборищем, а по другой причине. Мы были в костюмах и готовы начинать; ждали только Теодора; послали к нему в комнату, чтобы узнать, что его задержало; он передал, что скоро будет готов и придет.

И впрямь он пришел; я слышал его шаги в коридоре задолго до его появления, хотя ни у кого в мире нет такой легкой поступи, как у Теодора; но симпатия моя к нему так огромна, что я словно угадываю его движения сквозь стены, и когда я понял, что он прикоснулся рукой к дверной ручке, меня охватило подобие дрожи, и сердце мое заколотилось с чудовищной силой. Мне показалось, что сейчас в моей жизни решится что-то важное и наступает торжественный миг, которого я жду с давних пор.

Створка двери медленно повернулась и вновь притворилась.

У всех вырвался крик восхищения. Мужчины зааплодировали, женщины покраснели. Одна Розетта сильно побледнела и прислонилась к стене, словно мозг ей пронзила внезапная догадка: она прошла тот же путь, что и я, но в обратную сторону. Я всегда подозревал, что она влюблена в Теодора.

Несомненно, в эту минуту она, как и я, подумала, что мнимая Розалинда на самом деле — юная и прекрасная женщина, ни больше и ни меньше, и что хрупкий карточный домик ее надежд вмиг обрушился, а на его обломках воздвигся воздушный замок моих надежд; по крайней мере так я подумал; быть может, я заблуждаюсь, потому что был почти неспособен на точные наблюдения.

Там было, не считая Розетты, три-четыре хорошеньких женщины; они сразу показались возмутительными уродинами. Звезды их красоты внезапно померкли рядом с этим солнцем, и никто не мог взять в толк, почему они до сих пор считались хотя бы более или менее благообразными. Люди, которые раньше почитали бы для себя счастьем стать возлюбленными этих женщин, теперь не взяли бы их в служанки.

Образ, который до сих пор чуть брезжил мне, размытый и неясный, обожаемый призрак, который я понапрасну преследовал прежде, был теперь здесь, передо мной, живой, осязаемый, не в полумраке, не в дымке, а залитый потоками яркого света, и не в бесполезном наряде лицедея, а в настоящем своем платье, не в вызывающем обличье молодого человека, а в виде прелестнейшей из женщин.

Я испытывал огромное облегчение, словно с груди моей сняли давившую на нее гору или даже две. Я чувствовал, как развеивается отвращение, которое я вызывал сам у себя, я освободился от докучной необходимости считать себя чудовищем. Ко мне вернулось прежнее, совершенно пасторальное представление о себе, и все весенние фиалки расцвели в моем сердце.

Он или, верней, она (не хочу даже вспоминать, что имел глупость принимать ее за мужчину) с минуту помедлила на пороге, словно для того, чтобы дать собравшимся время на восторженные восклицания. Яркий луч освещал ее с головы до пят, и в резной раме дверей, на темном фоне коридора, который, сужаясь, уходил вдаль у нее за спиной, она светилась, словно не отражая, а сама излучая свет, и походила скорее на чудесное творение кисти, чем на создание из плоти и крови.

Ее пышные черные волосы, перевитые нитями крупного жемчуга, природными кольцами ниспадали вдоль прекрасных щек! Плечи и грудь были открыты, и я никогда в жизни не видывал ничего прекраснее; до такого совершенства далеко самому благородному мрамору. Сквозь эту бесплотную прозрачность видно было, как струится жизнь. А до чего бело и в то же время румяно было лицо! И как красив был постепенный переход ко все более бледным тонам там, где кожа гармонично сливалась с волосами! Какая пленительная поэзия в мягкой волнистости контуров, более гибких и бархатных, чем лебяжья шея! Если бы существовали слова, способные передать мои чувства, я послал бы тебе описание на пятидесяти страницах, но язык изобретен Бог знает какими мужланами, которые никогда не рассматривали внимательно женскую спину или грудь, и поэтому в нем просто-напросто отсутствует половина самых необходимых слов.

Я решительно полагаю, что мне следует стать ваятелем, видеть такую красоту и быть не в силах запечатлеть ее тем или иным способом — от этого можно впасть в ярость и безумие. Я сочинил об этих плечах двадцать сонетов, но этого далеко не достаточно: мне хотелось бы чего-нибудь такого, что можно потрогать руками и что было бы полным подобием этой красоты, а стихи передают лишь ее призрак, но не ее самое. Художники достигают более точного сходства, но и это не более чем сходство. Изваяние же обладает всей полнотой правдоподобия, какое только может быть присуще подделке; оно обозримо с разных сторон, отбрасывает тень, и к нему можно прикоснуться. Ваша возлюбленная статуя отличается от настоящей только тем, что немного тверже на ощупь и неразговорчива, — два весьма незначительных недостатка!

Ее платье было из переливчатой материи, на свету лазурной, а в тени золотистой; легкий полусапожок, очень узкий, плотно облегал ногу, которая и без того была чересчур миниатюрна, а ярко-алые шелковые чулки ласково обтягивали идеально округлые и дразнящие икры; руки были обнажены до локтя и выглядывали из присборенных кружев, — круглые, полные и белые, сияющие, словно полированное серебро, и невообразимо нежно очерченные; пальцы, унизанные кольцами и перстнями, слегка поигрывали веером из разноцветных перьев необычных оттенков: этот веер был похож на маленькую карманную радугу.

Она прошла по комнате, щеки у нее слегка разгорелись, но не от румян, а от румянца, и все восторгалось, ахали и изумлялись, неужели это в самом деле он, Теодор де Серанн, отважный наездник, отчаянный дуэлянт, неутомимый охотник, и можно ли быть совершенно уверенными, что это он, а не его сестра-близнец?

Да, он словно отродясь не носил другого платья! Движения его нисколько не страдают скованностью, поступь легкая, и шлейф ничуть ему не мешает; он очаровательно играет глазами и веером, а какая у него тонкая талия! Ее можно охватить двумя пальцами! Это чудо! Это непостижимо! Полная иллюзия, полнее и быть не может: кажется даже, что у него женская грудь, до того она круглая и тугая; и потом — ведь ни единого волоска на подбородке, нет, право, ни единого! И голос такой нежный! Ах, прекрасная Розалинда! И кто бы не хотел стать ее Орландо!

Да, кто бы не хотел стать ее Орландо, пускай даже ценой выпавших мне на долю страданий? Любить, как я любил, чудовищной, постыдной любовью, которую тем не менее невозможно вырвать из сердца, обречь себя на самое глубокое молчание и не осмеливаться на то, что не побоялся бы высказать самой неприступной и самой суровой из женщин самый скромный и почтительный влюбленный; чувствовать, как тебя снедает безрассудный и непростительный даже с точки зрения самого отпетого вольнодумца огонь. Что такое обычные страсти по сравнению с этой позорной по самой своей сути, безнадежной страстью, которая, увенчавшись она успехом, обернулась бы злодеянием и убила бы вас стыдом? Желать, чтобы тебя отвергли, бояться удачи и благоприятного случая, избегать их, подобно тому как другие их домогаются, — вот какова была моя участь.

Меня охватило глубочайшее малодушие; я смотрел на себя с отвращением, к которому примешивались изумление и любопытство. Больше всего меня бесила мысль, что до сих пор я никогда еще не любил и то, что со мной происходит, есть первая горячка молодости, первая маргаритка моей любовной весны.

Эта противоестественность заменила мне свежие и целомудренные иллюзии, свойственные лучшим годам жизни; итак, сладостным мечтам, которые я так нежно лелеял вечерами на лесной опушке, бродя по багряным тропкам или прогуливаясь вдоль беломраморных террас близ пруда в парке, — итак, этим мечтам суждено было превратиться в коварного сфинкса с двусмысленной улыбкой, с двусмысленным голосом — и я стою перед ним, не смея даже пытаться разгадать тайну! Неверная разгадка стоила бы мне жизни, потому что — увы! — это единственное, что привязывает меня к миру; стоит этой ниточке оборваться, и всему — конец. Отнимите у меня эту искру, и я стану мрачнее и бездушнее, чем спеленатая мумия самого древнего из фараонов.

В те минуты, когда я чувствовал, что меня с особенным неистовством влечет к Теодору, я в страхе бросался в объятия Розетты, хотя она мне совершенно разонравилась; я пытался выставить между ним и мною преграду и щит — и чувствовал тайное удовлетворение, когда, лежа рядом с нею, думал, что она-то, во всяком случае, женщина, в этом я

убедился, а если я и не люблю ее больше, так зато она любит меня достаточно, чтобы наша связь не выродилась в интрижку или в разврат.

Однако в глубине души я тем не менее смутно сожалел, что так грубо изменяю идее своей невоплотимой страсти; я сердился на себя, словно за предательство, и хотя твердо знал, что не буду обладать предметом моей любви, но осуждал себя и вновь обдавал Розетту холодом.

Репетиция прошла гораздо лучше, чем я надеялся; особенно блеснул Теодор; да и про меня говорили, что я играл изумительно хорошо. Дело, однако, не в том, что я обладаю качествами, необходимыми хорошему актеру, и было бы глубоким заблуждением думать, будто я способен не хуже справиться и с другими ролями; но по странной прихоти случая слова, которые я должен был произносить, так соответствовали моему положению, что мне казалось, я сам их выдумал, а не заучил наизусть из роли. Если бы в некоторых местах память мне отказала, я наверняка не замялся бы ни на миг и заполнил бы провалы в памяти собственной импровизацией. Орландо вселился в меня, а я — в Орландо, и другого столь чудесного совпадения просто быть не может.

В сцене с борцом, когда Теодор снял с шеи цепь и преподнес ее мне в подарок в согласии с ролью, он бросил на меня такой нежный и томный взгляд, исполненный таких обещаний, и так ласково, с таким благородством произнес: «Сударь, вот вам на память о гонимой роком... Дала б вам больше я, имей я средства», что я по-настоящему разволновался и едва нашел в себе силы подхватить: «Каким волнением ван мой язык? Я онемел, она же вызывала на разговор! Погиб Орландо бедный...»¹

В третьем акте Розалинда появляется под именем Ганимеда, одетая в мужское платье, вместе со своей кузиной Селией, которая тоже сменила имя и теперь зовется Алиеной.

Мне это было неприятно: я уже так привык к женскому наряду Теодора, оставлявшему некоторую надежду моим мечтам и укреплявшему меня в моем коварном, но обольстительном заблуждении! Мы быстро привыкаем принимать свои желания за действительность, доверяясь самому мимолетному сходству, и я совершенно пал духом, когда Теодор вновь предстал одетый мужчиной, — пал еще сильнее, чем прежде, потому что радость только на то и годится, чтобы острее ощущать горе, солнце лишь для того и блистает, чтобы мы лучше почувствовали ужас тьмы, а белизна веселит нас лишь для того, чтобы очевиднее явить все уныние черноты.

На нем был самый кокетливый и самый изысканный наряд на свете, элегантного и прихотливого покроя, весь разукрашенный нашивками из цветной материи и лентами, отчасти во вкусе придворных щеголей Людовика XIII; островерхая фетровая шляпа с длинным волнистым пером осеняла кольца его прекрасных волос, а полу его дорожного плаща приподнимала шпага с узорчатой насечкой.

Но что ни говори, во всем его наряде чувствовалось, что у этого мужского платья женская подкладка; бедра как будто чуть пышнее обычного, грудь чуть полнее, чем требуется, ткань кое-где круглится необычным для мужской фигуры образом, так что истинный пол действующего лица почти не оставлял сомнений.

Держался он непринужденно и в то же время робко, а в общем весьма забавно и с бесконечным искусством притворялся, будто привычный ему костюм его стесняет, точно так же, как до того всем своим видом показывал, как вольготно ему в чужом платье.

Ко мне вернулась некоторая ясность духа, и я опять убедился, что это самая настоящая женщина. Я овладел собой настолько, что мог подобающим образом исполнять свою роль.

Знаешь ли ты эту пьесу? Может быть, и нет. Вот уже две недели, как я, выучив ее наизусть с начала до конца, только и делаю, что читаю и декламирую ее; мне трудно поверить, что отнюдь не все так же ясно, как я, представляют себе завязку ее интриги; такое заблуждение для меня весьма обычно: если сам я пьян, то воображаю, что человечество упилось и пишет кренделя, а если бы я знал древнееврейский, то, несомненно, требовал бы у лакея халат и туфли на этом языке и весьма удивлялся бы тому, что он меня не понимает. Ты прочтешь эту пьесу, если захочешь; я пишу так, как если бы ты ее читал, и упоминаю только те места, которые связаны с моим приключением.

Розалинда, гуляя с подругой по лесу, весьма удивлена тем, что на кустах вместо ежевики и терна тут и там виднеются мадригалы в ее честь, — необычные ягоды, которые, по счастью, редко вырастают на колючих кустах: ведь если хочется пить, куда приятнее обнаружить на ветке вкусную ежевику, чем неудобоваримый сонет. Розалинду изрядно беспокоит мысль о том, кто это повредил кору на молодых деревцах, вырезав на них ее вензель. Селия, успевшая повстречать Орlando, сперва заставляет долго себя уламывать, а потом признается, что рифмоплет этот — не кто иной, как юноша, победивший в борьбе Шарля, герцогского атлета.

Вскоре появляется сам Орlando, и Розалинда вызывает его на разговор, осведомляясь о том, который теперь час. Право же, самая нехитрая уловка на свете! Более мещанского вопроса и не выдумаешь! Но не бойтесь: вот увидите, как из этой банальной и вульгарной фразы немедля произрастет урожай неожиданных цветистых острот и причудливых сравнений, словно из самой тучной и щедро унавоженной земли.

Спустя несколько строк искрометного диалога, в котором каждое слово, ударяясь о фразу, высекает из нее россыпи шальных блесток, словно молот из полосы раскаленного железа, Розалинда спрашивает Орlando, не знает ли он по случайности человека, что развешивает оды на боярышнике и элегии на терновнике и, судя по всему, страдает ежедневными приступами любовного недуга, который она, Розалинда, прекрасно сумеет исцелить. Орlando признается, что он сам и есть этот столь истерзанный любовью человек, и коль скоро его собеседник хвалится знанием различных рецептов, необходимых для излечения вышеназванной хвори, то пускай, мол, сделает милость указать ему хоть один. «Вы влюблены? — возражает Розалинда. — Но в вас не заметно ни одного из признаков, по которым распознают влюбленных, у вас нет ни исхудалых щек, ни ввалившихся глаз, чулки у вас не спущены, рукава не расстегнуты, ленты на башмаках завязаны с великим изяществом; ежели вы и влюблены, то наверняка в самого себя, и мои снадобья вам ни к чему».

Искреннее чувство примешивалось к реплике, которую я ему подал в этом месте; дословно она звучала так: «Милый юноша, я хотел бы заставить тебя поверить, что я влюблен».

Этот ответ, такой неожиданный, такой странный, ничем, в сущности, не вызванный, словно поэт, осененный каким-то предчувствием, написал его нарочно для меня, произвел на меня самого сильное действие, когда я произнес его перед Теодором, чьи божественные губы были еще слегка надуты в иронической гримаске, с которой он проговорил предыдущую фразу, а глаза его уже улыбались с невыразимой нежностью, и светлый луч дружелюбия позлащал всю верхнюю часть его юного и прекрасного лица.

«Мне — поверить, что вы влюблены? Вам так же легко было бы заставить поверить этому ту, кого вы любите, а она, ручаюсь вам, скорее способна поверить вам, чем сознаться в этом. Это один из пунктов, в которых женщины лгут собственной совести. Но шутки в

сторону, неужели это вы развешиваете на деревьях стихи, в которых так восхищаетесь Розалиндой, и в самом ли деле вы нуждаетесь в лекарстве от вашего безумия?»

Удостоверившись наверняка, что именно на него, Орlando, нашел далеко не безобидный стих сочинить все эти восхитительные стихи, прекрасная Розалинда соглашается поделиться с ним своим рецептом. Вот в чем он состоит: однажды она притворилась, будто она и есть возлюбленная бедняги, свихнувшегося от любви, а он должен был ухаживать за ней, как за истинным предметом своего обожания, и чтобы выбить из него эту страсть, она изводила его самыми немыслимыми капризами; она то плакала, то смеялась, то оказывала ему добрый прием, то дурной; она царапала его, плевала ему в лицо, настроение у нее менялось каждую минуту; она представляла поочередно жеманной, неверной, неприступной, сладострастной, и горемыке приходилось переносить и выполнять все, что беспорядочная фантазия под влиянием скуки, прихоти или меланхолии порождает в пустой головке юной щеголихи. Домовой, мартышка и поверенный в делах, вместе взятые, не изобрели бы больше каверз, чем она. Это фантастическое лечение не замедлило дать плоды; больным после приступа любви овладел приступ безумия, внушавший ему ужас перед целым светом, и он удалился в совершенно монашеское уединение; результат более чем удовлетворительный, и, в сущности, ничего другого нельзя было ожидать.

Орlando, как легко догадаться, вовсе не жаждет исцелиться подобным способом, но Розалинда настаивает и хочет испытать на нем свое лечение. И вот она произнесла: «Я вылечил бы вас, если бы вы только стали звать меня Розалиндой, каждый день приходите в мою хижину и ухаживать за мной», — с этим явным и нескрываемым умыслом, бросив на меня такой странный взгляд, что я не мог не вложить в ее фразу смысл более широкий, чем тот, что заключался в словах, и не усмотреть в ней неявный призыв признаться в моих истинных чувствах. А когда Орlando ответил ей: «Охотно, от всего сердца, добрый юноша», — она еще более многозначительным тоном и словно досадуя на то, что ее не понимают, произнесла следующую реплику: «Нет, нет, вы должны звать меня Розалиндой».

Может быть, я ошибся и вообразил, будто вижу то, чего на самом деле и в помине нет, но мне показалось, что Теодор заметил мою любовь, хоть я, разумеется, никогда не говорил ему ни слова на этот счет, и под прикрытием этих заемных выражений, прячась под театральной маской, посредством этих гермафродитических речей он намекал мне на свой настоящий пол и на наши с ним взаимоотношения. Не может быть, чтобы женщина, настолько умная и так блестяще умеющая держать себя в обществе, с самого начала не разглядела, что творится у меня в душе; если не язык, то глаза мои и смущение были достаточно красноречивы, и покров пылкой дружбы, который я набросил на свою любовь, был не настолько непроницаем, чтобы внимательный и заинтересованный наблюдатель не мог без труда пронзить его взглядом. Самая невинная и неискушенная девушка ни на минуту не впала бы в обман.

Несомненно, некая важная причина, которой мне не дано знать, вынуждает красавицу к этому проклятому переодеванию, причинившему мне такие муки и вынудившему меня заподозрить в себе весьма странные склонности; иначе все шло бы на удивление легко, словно карета, обильно смазанные колеса которой катят себе по ровной дорожке, присыпанной мелким песком; я мог бы со сладостным чувством безопасности предаваться любовной мимолетности грез и брать в руки белую шелковистую ручку моей богини, не содрогаясь от ужаса и не отскакивая на двадцать шагов назад, словно от прикосновения раскаленного железа или когтей самого Вельзевула.

Вместо того чтобы отчаиваться, суетиться, подобно безумцу, и лезть из кожи вон, чтоб пробудить в себе угрызения совести, и каждое утро, ломая руки, стенать о том, что

совесть молчит, я сказал бы себе с чувством исполненного долга и умиротворения: «Я влюблен», — вот она, фраза, которую поутру, нежась на мягкой подушке, под теплым одеялом, ничуть не менее приятно произнести, чем любую другую фразу из двух слов, какую только можно выдумать, за исключением разве что вот этой: «Я богат».

Встав с постели, я расположился бы перед зеркалом, и там, взирая на себя с некоторым уважением, я умилился бы, водя гребнем по волосам, над своей поэтической бледностью и твердо решил бы извлечь из нее недурную выгоду, хорошенько ею воспользовавшись, ибо что может быть низменнее, чем предаваться любви, щеголяя румяной рожей; ежели вам выпало несчастье быть румяным и влюбленным, — а такое сочетание возможно, то, по моему суждению, вам следует ежедневно выбеливать себе физиономию мукой или отказаться от претензий и ухаживать за всякими Марго и Туанеттами.

Потом я с душевным сокрушением и важностью уселся бы завтракать, дабы подкрепить свою обожаемую плоть, бесценное вместилище страсти, перегнать лучшее мясо и лучшую дичь в питательный любовный сок, в добрую живую и горячую кровь и поддержать свое бедное тело настолько, чтобы порадовать милосердие души окружающих.

После завтрака, ковыряя в зубах зубочисткой, я сплел бы несколько причудливых рифмованных строк на манер сонета, и все это в честь моей принцессы; я отыскал бы тысячу сравненьиц, еще ни разу не попадавших в печать и бесконечно галантных: в первом катрене толковалось бы о хороводе солнц, а во втором — о менюэте христианских добродетелей, а оба терцета изощренностью не уступали бы катренам, Елена объявлялась бы в них трактирной служанкой, Парис — болваном; пышности моих метафор мог бы позавидовать Восток; особенно восхитителен был бы последний стих: в каждой его стопе содержались бы по меньшей мере две блестящие остроумия, потому что у скорпиона яд сосредоточен в хвосте, а у сонета достоинства — в последнем стихе. Завершив сонет и надлежащим образом переписав его на глянцево и раздушенном листе бумаги, я вышел бы из дому, ощущая в себе росту на добрую сотню локтей и пригибаясь из опасения стукнуться головой о свод небесный или зацепиться за облако (разумная предосторожность!), и принялся бы декламировать свое новое изделие всем друзьям и врагам, затем грудным младенцам и их кормилицам, затем лошадям и ослам, наконец, стенам и деревьям, чтобы узнать мнение вселенной о новом произведении моего таланта.

В гостиных я поучающим образом беседовал бы с женщинами и всесторонне рассуждал бы о чувстве голосом важным и сдержанным, как подобает человеку, знающему о предмете своих рассуждений куда больше, чем желает сказать, и почерпнувшему свои знания не из книг, что не замедлит произвести воистину разительное впечатление на всех скрывающих свой возраст женщин из числа собравшихся и на нескольких юных девиц, которых не пригласили на танец, — и те, и эти разинут рты, словно карпы, брошенные на песок.

Я мог бы вести самую блаженную жизнь на свете, наступать на хвост москье, не выслушивая от хозяйки дома чрезмерных воплей по этому поводу, опрокидывать одноногие столики, уставленные фарфором, за обедом съедать лучший кусок, не оставляя его сотрапезникам; все это простилось бы мне в силу всем известной рассеянности влюбленных, и, глядя, как я с потерянными выражением лица уплетаю за обе щеки, все говорили бы, пригорюнившись: «Бедный юноша!»

И потом, скорбный задумчивый вид, плакучие пряди волос, перекрученные чулки, полуразвязавшийся галстук, болтающиеся руки, — как бы все это пришлось мне к лицу! Как бы я мыкался по аллеям парка, то почти бегом, то шажком, точь-в-точь человек, чей разум пришел в полное расстройство! С какой невозмутимостью глазел бы я на луну и камешками пускал круги по воде!

Но боги судили иначе.

Я влюбился в красотку в камзоле и сапогах, в гордую Брадаманту, которая презирает одежду, присущую ее полу, и то и дело повергает вас в самое что ни на есть мучительное смущение. Лицо и тело — женские, но ум — бесспорно мужской.

Моя возлюбленная сильна в искусстве шпаги, она заткнет за пояс опытного фехтмейстера; она дралась уже не знаю на скольких дуэлях и убила или ранила трех-четырех человек; она на коне перелетает через ров в десять футов ширины и охотится, как мелкопоместный дворянчик, доживший до седых волос в родной провинции, — необыкновенные достоинства для возлюбленной! Такое могло приключиться только со мной.

Я смеюсь, но на самом деле смеяться тут не над чем, потому что я никогда так не страдал, и последние два месяца показались мне за два года, а вернее, за два столетия. Мой мозг со страшной силой размывали приливы и отливы сомнений; меня так нещадно бросало из стороны в сторону, я так рвался на части, меня обуревали такие неистовые порывы, такое глубокое бессилие, такие несуразные надежды и такое беспросветное отчаяние, что я и впрямь не понимаю, как это я не умер от мук. Одна и та же мысль так занимала и переполняла меня, что удивляюсь, как она не просвечивала сквозь меня напоказ всем окружающим, словно свеча в фонаре, и меня одолевал смертельный страх, как бы кто-нибудь не догадался о предмете моей неразумной любви. Впрочем, Розетта, та, для которой более, чем для всех прочих, представляло интерес наблюдать за движениями моего сердца, как будто ничего не заметила; думаю, что она была слишком занята собственной любовью к Теодору, чтобы ощутить мое охлаждение к ней, иначе остается признать, что я мастер притворяться, а я не столь самоуверен, чтобы на это притязать. Даже сам Теодор до нынешнего дня ничем не обнаружил ни малейших подозрений относительно состояния моей души; он всегда говорил со мной запросто и по-дружески, как благовоспитанный молодой человек со своим сверстником, и не более. В беседах со мной он легко касался самых разных предметов искусства, поэзии и тому подобного, но в них никогда не проскальзывало ничего интимного, ничего определенного, что относилось бы к нему или ко мне.

Может быть, причин, вынудивших его к этому переодеванию, больше не существует, и он вскоре вернется к платью, которое ему приличествует; мне об этом ничего не известно; как бы то ни было, в голосе Розалинды при произнесении определенных слов слышались особые переливы, и она очень явно подчеркнула все те места в своей роли, которые отмечены двусмысленностью и которые можно истолковать в этом роде.

В сцене свидания, начиная с того места, где она упрекает Орlando в том, что он пришел не два часа назад, как подоба ет истинному влюбленному, а на целых два часа позже, и до горестного вздоха, который она, испуганная безмерностью своей страсти, выпускает, упав в объятия Алиены: «О сестрица, моя милая сестрица, если бы ты знала, на какую глубину я погрузилась в любовь!» — она явила нам изумительный талант. То была смесь нежности, меланхолии и неудержимой любви; в голосе ее было что-то трепещущее и смятенное, и за смехом угадывалась самая неистовая любовь, готовая к взрыву чувств; добавьте к этому всю пикантность и необычайность перестановки и новизну ситуации, при которой молодой человек ухаживает за своей возлюбленной, которую принимает за мужчину и которая во всем похожа на мужчину.

Выражения, которые в других обстоятельствах звучали бы обычно и заурядно, здесь приняли совершенно особый характер, и вся мелкая монета любовных сравнений и клятв, имеющая хождение в театре, оказалась перечеканена на совершенно новый манер; впрочем, если бы сами мысли не обладали присущей им изысканностью и очарованием, а

были бы более потрепанными, чем судейская сутана или наспинный ремень наемного осла, даже и тогда манера, в которой они были произнесены, сообщила бы им изумительную утонченность и самый изысканный вкус.

Я забыл тебе сказать, что Розетта, отказавшись от роли Розалинды, позже охотно взялась за второстепенную роль Фебы; Феба эта — пастушка из Арденнского леса, безумно любимая пастухом Сильвием, которого она терпеть не может и терзает неизменной суровостью. Феба холодна, как луна, имя которой носит; сердце у нее из снега, которого не растопить самым жарким вздохом, его ледяная кора становится все толще и тверда, как алмаз; но стоило ей увидеть Розалинду в наряде прекрасного пажа Ганимеда, как весь этот лед хлынул слезами и алмаз стал мягче воска. Надменная Феба, насмехавшаяся над любовью, сама влюбилась; теперь она страдает от мук, которые по ее милости претерпевали другие. Ее гордыня рухнула, и вот уже она всю делает авансы и заставляет бедного Сильвия отнести Розалинде пылкое письмо, где в самых смиренных и умоляющих выражениях признается ему в своей страсти. Розалинда, сочувствуя Сильвию, да, впрочем, имея самые что ни на есть основательные причины не отвечать на любовь пастушки, обходится с ней весьма круто и насмехается над ней с невообразимой злостью и жестокостью. И все же Феба предпочитает эти оскорбления самым нежным и страстным мадригалам своего несчастного пастуха; она повсюду преследует прекрасного незнакомца и благодаря своей назойливости получает у него единственное утешение; он обещает, что если когда-нибудь женится, то лишь на ней; а покамест наказывает ей получше обходиться с Сильвием и не слишком льстить себя сладостной надеждой.

Розетта исполнила свою роль с печальной и ласкающей грацией, голос ее, горестный и смиренный, проникал прямо в душу; и когда Розалинда сказала ей: «Я полюбил бы вас, если бы мог», — ее глаза мгновенно наполнились слезами, и она с трудом сдержала их, потому что история Фебы — это ее история, точно так же, как история Орlando — моя, с той только разницей, что для Орlando все кончается наилучшим образом, а Феба, обманутая в своей любви, вместо прелестного идеала, который хотела заключить в объятия, вынуждена идти замуж за Сильвия. Так устроена жизнь: что составляет счастье одного, непременно приносит несчастье другому. Для меня огромным счастьем будет, если Теодор окажется женщиной; для Розетты будет ужасным горем узнать, что он не мужчина, и отныне она обречена на ту же неосуществимость любви, что еще недавно томила меня.

В конце пьесы Розалинда расстается с курткой Ганимеда ради платья, свойственного ее полу; герцог признает ее своей дочерью, Орlando — возлюбленной; в своей шафранной ливрее и с подобающими случаю факелами прибывает бог Гименей. Заключаются три брачных союза. Орlando берет в жены Розалинду, Феба идет за Сильвия, а шут Оселок женится на простодушной Одри. Затем выходит Эпилог, прощается со всеми, и занавес падает...

Все это нас крайне заинтересовало и увлекло: в каком-то смысле это было словно пьеса в другой пьесе, невидимая и неведомая остальным зрителям драма, которую мы разыгрывали для самих себя и которая в словах-символах пересказывала всю нашу жизнь, выражая самые сокровенные наши желания. Если бы не странный рецепт Розалинды, я страдал бы от своего недуга еще сильнее, не имея даже отдаленной надежды на исцеление, и продолжал бы печально блуждать по окольным тропам темного леса.

Однако я располагаю только внутренним убеждением, мне недостает доказательств, и я не в силах больше оставаться в состоянии неуверенности, мне совершенно необходимо поговорить с Теодором начистоту. Раз двадцать я приближался к нему с заготовленной заранее фразой, но не мог ее выговорить — не хватало духу; у меня немало возможностей поговорить с ним наедине в парке, или у меня в комнате, или у него, потому что мы с ним

навещаю друг друга, но я упускаю подобные случаи, хотя каждый раз смертельно сожалею об этом и во мне закипает чудовищная злоба на самого себя. Открываю рот — но вместо того, что хотел сказать, невольно произношу совсем другие слова; вместо того, чтобы объяснить в любви, рассуждаю о дожде, ведре и прочих глупостях. Между тем сезон кончается, и скоро все вернется в город, благополучные возможности, которые открываются перед моими желаниями здесь, нигде уже больше не представятся: может быть, мы потеряем друг друга из виду и воздушные потоки разнесут нас в разные стороны.

До чего же очаровательна и благотворна деревенская свобода! Деревья, пускай слегка облетевшие по осени, с такой готовностью спрячут под своей восхитительной сенью мечты о зарождающейся любви! Трудно устоять на лоне прекрасной природы! Птицы поют так томно, цветы благоухают так упоительно, подножия холмов поросли такой золотистой, такой шелковой травкой! Одиночество подсказывает вам тысячи сладострастных мыслей, которые развеялись бы в вихре света, разлетелись бы враспыленную, и два человека, что слышат биение своих сердец в тиши пустынных полей, инстинктивно тянутся друг к другу, словно и в самом деле кроме них уже не осталось людей на земле.

Нынче утром я гулял, погода стояла мягкая и сырая, на небе — ни одного лазурного просвета, но оно не было ни мрачным, ни грозным. От края до края его затопила жемчужно-серая краска двух-трех оттенков, гармонически переходивших один в другой, и по этому туманному фону медленно шли пушистые облака, похожие на большие клоки ваты; их подгоняло замиравшее дуновение ветерка, которого едва хватало на то, чтобы покачивать верхушки самых трепетных осин; хлопья тумана поднимались между крон высоких каштанов и издали метили течение реки. Стоило ветрудохнуть сильнее, и с веток срывалась россыпь дрожащих листьев, рдяных и побитых заморозками; они неслись передо мной по тропинке, подобно стайке боязливых воробьев; потом, когда ветерок замирал, они укладывались на земле несколькими шагами дальше: вот точная метафора для тех умов, которые кажутся нам птицами, свободно парящими на собственных крыльях, а в сущности, это всего-навсего листья, побитые утренним морозцем, игрушки на потеху малейшему ветерку, пролетающему мимо.

Даль настолько заволокло туманом, а горизонт — облачной бахромой, что невозможно было разглядеть истинную границу, где кончалась земля и начиналось небо. Переход от первого плана ко второму, от второго к третьему и расстояние между ними смутно угадывались только благодаря разнице в насыщенности серого цвета, в плотности дымки. Сквозь этот занавес ивы с их пепельными шевелюрами были похожи скорее на призраки деревьев, чем на сами деревья; изгибы холмов больше напоминали волнистое нагромождение туч, чем неровности земной тверди. Очертания предметов дрожали, и между ближним краем пейзажа и его туманными далями протянулось нечто серенькое, невыразимо тонкое, как полотно, похожее на паутину; в тех местах, которые оставались в тени, с особенной четкостью вырисовывалась светлая штриховка, так что переплетение нитей этого полотна можно было разглядеть невооруженным глазом; в местах более освещенных сеточка тумана оставалась незаметна и растворялась в рассеянном свете. В воздухе стоял какой-то морок, теплая сырость, ласковая муть, удивительно располагавшие к меланхолии.

На ходу я думал, что и для меня наступила осень, а лучезарное лето безвозвратно миновало; быть может, дерево души облетело еще сильнее, чем деревья в лесу; на самой верхней ветке насилу держался один-единственный листочек; он покачивался, дрожа, и печально глядел, как все его братья, один за другим, покидают его.

Останься на дереве, листок цвета надежды, вцепись в ветку всеми силами прожилок и волоконца, не позволяй свисту ветра тебя запугать, милый листочек! Ведь если ты меня покинешь, кто может отличить, мертвое я дерево или живое, и кто помешает дровосеку подрубить меня ударом топора и наделать вязанок хвороста из моих ветвей? Да и не время еще деревьям терять листву, и солнце может еще стряхнуть с себя пелену опутывающего его тумана.

Это зрелище умирающего лета произвело на меня глубокое впечатление. Я думал, что время идет быстро и я могу умереть, так и не успев прижать к груди мой идеал.

Вернувшись домой, я принял решение. Коль скоро я не отваживаюсь заговорить, доверю свою судьбу листу бумаги. Наверное, смешно писать письмо человеку, живущему в одном доме с тобой, человеку, которого видишь каждый день, в любое время, но я не могу больше думать о том, смешно это или нет.

И все же, когда я запечатывал письмо, меня била дрожь, я то краснел, то бледнел. Потом, улучив момент, когда Теодор вышел, я положил письмо на самую середину его стола и убежал прочь в таком смятении, словно совершил гнуснейший поступок в своей жизни.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Я посулила тебе продолжение моих приключений, но воистину до того ленива писать, что, не любя я тебя, как зеницу ока, и не зная, что ты любопытнее Евы или Психеи, ни за что бы не уселась за стол перед большим листом девственно белой бумаги, которую нужно сверху донизу испещрить черным, и перед чернильницей, которая глубже моря, причем каждую капельку в ней нужно превратить в мысль или, по крайней мере, в нечто на нее похожее, не поддаваясь внезапному побуждению вскочить на коня, отпустить поводья и отмахать добрых восемьдесят лье, которые нас разделяют, чтобы вслух сказать тебе все то, что сейчас я примусь изображать бисерными буквами, дабы самой не испугаться чудовищно длинной моей плутовской одиссеи.

Восемьдесят лье! Подумать только, что такое расстояние отделяет меня от той, которую я люблю больше всего на свете! Право, хочется разорвать письмо и велеть, чтобы мне седлали коня. Но об этом и думать нечего: в моем нынешнем платье мне нельзя приблизиться к тебе и вернуться к столь привычной жизни, которую мы вели с тобой, когда были маленькими девочками, простодушными и невинными; если когда-нибудь я вновь надену юбку, то лишь ради этого.

Помнится, я рассталась с тобой, уезжая с постоялого двора, где провела такую забавную ночь и где моя добродетель была уже готова потерпеть кораблекрушение, едва покинув порт. Мы пустились в путь все вместе, нам было в одну сторону. Попутчики мои немало восхищались красотой моего коня — конь у меня впрямь лучших кровей и отменно резвый, — это возносило меня в их мнении по меньшей мере на пол-локтя, и к моим достоинствам они тут же добавили все достоинства моего скакуна. Они только тревожились, кажется, что он для меня слишком горяч и боек. Я сказала им, что они могут успокоиться на сей счет, и, желая показать, что мне ничего не грозит, заставила коня проделать несколько курбетов, затем взяла довольно высокий барьер и перешла на галоп.

Молодые люди тщательно попытались за мной угнаться; отъехав довольно далеко, я повернула коня и во весь дух помчалась им навстречу; поравнявшись с ними, я резко

осадила коня, и он встал как вкопанный, а это, как ты знаешь, или, может быть, не знаешь, — вершина искусства верховой езды.

От уважения они мигом перешли к глубочайшему почтению. Они и не подозревали, что юный школяр, только что из университета, может быть столь превосходным наездником. Это их открытие пошло мне на пользу больше, чем если бы они обнаружили во мне все христианские добродетели; вместо того чтобы обращаться со мной как с молокососом, они заговорили со мной на равных, но уж больно предупредительно.

Расставшись со своим платьем, я не рассталась со своей гордыней; не будучи более женщиной, я хотела стать мужчиной с головы до пят, а не довольствоваться одной только мужской наружностью. Я решила добиться в верховой езде того успеха, на какой не могла бы рассчитывать как женщина. Особенно меня беспокоил вопрос, как стать смелой, ибо смелость и ловкость в телесных упражнениях — вот для мужчины самый лучший способ улучшить свою репутацию. Для женщин я, собственно, не так уж робка и свободна от дурацкого малодушия, присущего многим особам слабого пола; но от этого еще далеко до бесшабашной и яростной удали, которой хвалятся мужчины, а я намеревалась сделаться юным фанфароном, бахвалом, наподобие лощеных светских щеголей, чтобы занять достойное место в обществе и воспользоваться всеми преимуществами своей метаморфозы.

Не стану рассказывать тебе по обычаю путешественников, что в такой-то день проделала столько-то лье, что из того места перебралась в это, что жаркое, съеденное мною на постоялом дворе «Белый конь» или «Железный крест», было сырое или подгоревшее, вино прокислое, а полог кровати, в которой я провела ночь, расшит фигурами или цветами; это весьма важные детали и недурно бы сохранить их для потомства, но на сей раз придется обойтись без них, а ты примиришься с тем, что не узнаешь, из скольких блюд состоял мой обед и хорошо ли, дурно ли я спала во время моих странствий. Не стану также описывать тебе различные ландшафты, созревающие нивы, леса, всевозможные всходы и холмы с раскинувшимися на них деревушками, чередой проходившие перед моим взором; возьми немного земли, воткни в нее несколько деревьев и несколько ростков травы, намалюй позади всего этого кусок неба, либо серенький, либо голубой, и получишь вполне сносное представление о движущемся фоне, на котором вырисовывался наш караван. Прости уж меня, что в первом письме я не удержалась от некоторых подробностей такого рода, больше я к ним не прибегну: ведь прежде я никогда не уезжала из дому, и все, что я увидела, представлялось мне чрезвычайно важным.

Один из кавалеров, тот, с кем я делила ложе и кого готова была дернуть за рукав в ту достопамятную ночь, все терзания которой я тебе подробно описала, проникся ко мне возвышенной дружбой и все время ехал рядом.

Если не считать того, что я не взяла бы его в любовники, даже если бы он преподнес мне самую прекрасную корону в мире, в остальном же он был мне скорее приятен; образованный, не лишенный ни остроумия, ни добродушия, он лишь о женщинах рассуждал в ироническом и презрительном тоне, и за это я с удовольствием выцарапала бы ему глаза, тем более что, без преувеличений, в его словах было много жестокой правды, и мужской наряд обязывал меня с этим соглашаться.

Он вновь и вновь с такой настойчивостью уговаривал меня навестить вместе его сестру, у которой истекал срок вдовьего траура и которая жила теперь с теткой в старинном замке, что я не могла ему отказать. Для приличия я немного поупиралась, но на самом деле мне было совершенно безразлично, туда ехать или сюда; своей цели я могла достичь любым способом; и когда он сказал мне, что я не на шутку его огорчу, если не уделю ему по меньшей мере недели две, я ответила, что с удовольствием поеду и дело с концом.

На развилке дорог мой спутник показал мне на правое ответвление этого ландшафтного игрека и сказал:

— Нам сюда.

Остальные пожали нам руки и поехали другой дорогой.

Спустя несколько часов мы прибыли в место нашего назначения.

Парк отделялся от большой дороги довольно широким рвом, который вместо воды был полон густой и обильной растительностью; ров был облицован тесаным камнем, а по углам щетинились огромные железные артишоки и репейники, — казалось, они, подобно настоящим растениям, выросли в расселинах каменной кладки; через этот сухопутный канал был переброшен одноарочный мостик, по которому можно было проникнуть за ограду.

Прежде всего перед вами открывалась аллея могучих вязов, смыкавшихся в вышине наподобие арок свода и подстриженных на старинный манер; следуя по этой аллее, вы попадали на круглую площадку, к которой сходились несколько дорог.

Деревья тут выглядели не просто старыми, а скорее старосветскими: они словно были в париках и присыпаны белой пудрой; им оставили только по небольшому пучку зелени на самой макушке; все прочее было тщательно сострижено, так что эти деревья можно было принять за великанские султаны из перьев, воткнутые в землю на равном расстоянии один от другого.

Миновав круглую площадку, поросшую ровно подстриженной нежной травкой, нужно было еще проехать под странным сооружением из листвы, украшенным цилиндрами, пирамидами и шероховатыми колоннами, причем все это было вырезано при помощи усердных ножниц из густых зарослей букса. Сквозь просветы в зелени справа и слева мелькали то полуразрушенный изысканный замок, то изъеденные мхом ступени иссякнувшего каскада, то ваза, или статуя нимфы, или пастушка с отбитым носом и пальцами, на плечах и голове у которой приютилась стайка голубей.

Перед замком простирался сад, разбитый на французский манер; клумбы были очерчены с безупречной симметрией при помощи падубы и букса; все вместе напоминало скорее не сад, а ковер: пышные цветы в бальных туалетах, с величественной осанкой и безмятежными лицами, точь-в-точь герцогини, собирающиеся пройтись в менуэте, приветствовали вас легким кивком головы. Другие, явно менее воспитанные, застыли прямо и неподвижно, наподобие сановных вдов, не участвующих в танцах. Кусты всех мыслимых форм, исключая лишь ту, что присуща им от природы, — круглые, кубические, заостренные, треугольные или похожие на серые барабаны, — казалось, маршировали вереницей вдоль главной аллеи и за руку подводили вас к первым ступеням крыльца.

Несколько башенок, заблудившихся среди более новых построек, выступали поверх здания на всю высоту своих черепичных кровель, остроконечных и похожих на гасильники свечей, и железные их флюгера в форме ласточкиных хвостов свидетельствовали о весьма почтенной давности сооружения. Все окна центрального павильона выходили на один общий балкон, украшенный железной балюстрадой необыкновенно искусной работы и весьма нарядный, остальные же были обрамлены каменными резными наличниками с орнаментом из вензелей и бантов.

Прибежали не то четыре, не то пять огромных псов и зашлись в лае, выделявая в воздухе фантастические прыжки. Они скакали вокруг лошадей, бросаясь им прямо в морды; особенным ликованием встретили они лошадь моего товарища, которую, надо думать, частенько навещают на конюшне и сопровождают во время прогулок.

Наконец-то на весь этот шум вышел какой-то слуга, смахивавший отчасти на землепашца, отчасти на конюха; он схватил наших скакунов под уздцы и увел. Я еще не заметила ни одной живой души, если не считать маленькой крестьяночки, дикой и боязливой, как лань: при виде нас она бросилась наутек и юркнула в какую-то ямку за стеной конопли, хотя мы наперебой подзывали ее и лезли из кожи вон, чтобы ее успокоить.

В окнах никого не было видно; казалось, замок необитаем или, на худой конец, в нем живут только привидения, ибо наружу не просачивалось ни единого звука.

Бряца шпорами — потому что ноги у нас слегка затекли, — мы стали подниматься по ступеням крыльца, как вдруг из дома донесся шум открываемых и закрываемых дверей, словно кто-то спешил нам навстречу.

И впрямь, наверху лестницы показалась молодая женщина; одним прыжком она проделала пространство, отделявшее ее от моего спутника, и бросилась ему на шею. Он с большой нежностью расцеловал ее, обнял за талию и, почти подняв в воздух, увлек на лестничную площадку.

— Знаете ли вы, мой милый Алкивиад, что для брата вы чересчур любезны и галантны?.. Согласитесь, сударь, что с моей стороны будет не совсем напрасной предосторожностью предупредить вас, что он мой брат, поскольку манеры у него и впрямь ничуть не братские? — промолвила, обернувшись ко мне, юная красавица.

Я отвечала, что воистину нетрудно впасть в подобное заблуждение, что быть ее братом, пожалуй, несладко, ибо в силу этого обстоятельства ему приходится исключить себя из категории ее обожателей, и будь я на его месте, я чувствовал бы себя в одно и то же время и самым несчастным и самым счастливым кавалером на свете. Эти слова вызвали у нее ласковую улыбку.

Беседуя в таком духе, мы вошли в залу нижнего этажа, стены которого были отделаны фламандскими шпалерами старинной выделки. На них были изображены огромные деревья с острыми листьями, служившие приютом рою фантастических птиц; поблекшие от времени краски являли взору причудливые сочетания оттенков: небо зеленое, деревья великолепного синего цвета с желтыми бликами, а тени в складках на одеяниях персонажей подчас совсем другого цвета, чем сами одеяния; тела выглядели как деревянные, и нимфы, разгуливавшие под линиями лесной сенью, напоминали распеленутые мумии, вот только пурпурные губы, сохранившие свой первоначальный цвет, улыбались живой улыбкой. На переднем плане топорщились высокие растения небывалого зеленого оттенка, усеянные огромными пестрыми цветами, чьи пестики напоминали собой павлиньи хохолки. В черной сонной воде, исчерченной потускневшими серебряными нитями, торчали, стоя на одной тоненькой лапке, похожие на философов серьезные задумчивые цапли: головы их были втянуты в плечи, а длинные клювы покоились на выпуклых жабо; сквозь просветы среди листвы виднелись вдали маленькие замки с башенками, похожими на переноски, с балконами, полными прекрасных дам в пышных уборах, следящих за шествующими мимо процессиями или мчащимися охотниками.

Причудливые очертания скал, с которых низвергались потоки белой шерсти, сливались на горизонте с пухлыми облаками.

Более всего меня поразила одна охотница, выстрелившая в птицу. Ее разжатые пальцы только что отпустили тетиву, и стрела полетела; но это место пришлось на угол; стрела угодила на другую стену и летела совсем в другую сторону, а птица на своих недвижных крыльях мчалась прочь и, казалось, хотела перепорхнуть на соседнюю ветку.

Эта оперенная стрела с золотым наконечником, вечно летящая по воздуху и никогда не достигающая цели, производила донельзя странное впечатление; она была словно печальный и мучительный символ судьбы человеческой, и чем дольше я на нее глядела, тем глубже постигала ее таинственный и зловещий смысл. Вот она, охотница: стоит, выставив вперед полусогнутую ногу, глаза с шелковыми зрачками широко распахнуты и потеряли из виду стрелу, отклонившуюся от своего пути; тревожный взгляд словно ищет яркого фламинго, которого она хотела подстрелить, ожидая, что он вот-вот упадет к ее ногам, пронзенный насквозь. Возможно, это грех моей фантазии, но, по-моему, лицо ее было проникнуто такой же томностью и таким отчаянием, как лицо поэта, который умирает, так и не написав шедевра, что должен был прославить его, и предсмертный хрип безжалостно душит несчастного в тот миг, когда он пытается диктовать.

Я толкую тебе об этих обоях долго и, пожалуй, дольше, чем следовало бы; но меня всегда на удивление сильно занимал этот фантастический мир, созданный старинными ткачами.

Я страстно люблю эту воображаемую растительность, травы и цветы, которых нет в природе, леса с неведомыми деревьями, где бродят единороги, козероги и белоснежные олени с золотым распятием между ветвистых рогов, преследуемые обычно рыжебородыми охотниками в сарацинском платье.

В детстве я никогда не входила без содрогания в комнату со шпалерами и всякий раз едва осмеливалась шелохнуться.

Все эти фигуры, словно стоящие вдоль стен, фигуры, которым шевеление ткани и игра света словно сообщают какую-то волшебную жизнь, казались мне соглядатаями, наблюдавшими за моими поступками, чтобы потом в свое время обо всем доложить, и в их присутствии я ни за что не съела бы яблоко или пирожное, взятое без спросу. Сколько всего могли бы рассказать эти исполненные важности существа, если бы могли разжать свои алые шелковые уста и если бы звуки могли проникать в раковины их вышитых ушей! Скольких убийств, предательств, низких прелюбодеяний и всевозможных злодейств были они безмолвными свидетелями!.. Но оставим обои и вернемся к нашей истории.

— Алкивиад, я пойду и сообщу бабушке о вашем приезде.

— Ну, это не столь спешно, сестрица, давайте сперва присядем и немного побеседуем. Позвольте представить вам кавалера, его имя Теодор де Серанн, и он погостит здесь некоторое время. Нет необходимости просить вас, чтобы вы приняли его получше: его наружность достаточно его рекомендует. (Я передаю его слова; не упрекай меня, кстати и некстати, в бахвальстве.)

Красавица слегка кивнула головой, словно в знак согласия, и мы заговорили о другом.

Во время беседы я присмотрелась к ней пристальней и внимательней, чем поначалу.

Ей минуло, должно быть, года двадцать три или двадцать четыре, и траур был ей как нельзя более к лицу; по правде сказать, она не выглядела ни очень уж угрюмой, ни чересчур удрученной, и едва ли она съела бы прах своего Мавсола, размешав его в супе на манер ревеня. Не знаю, много ли слез пролила она по своему усопшему супругу; если даже много, то, во всяком случае, это было совсем незаметно, и хорошенький батистовый платочек, который она сжимала в руке, был совершенно сух.

Глаза у нее не покраснели, а напротив этого, были отменно ясны и блестящи, и напрасно было бы искать на ее щечках следы слез: там можно было обнаружить лишь две крохотные ямочки, говорившие о привычке постоянно улыбаться; кроме того, надо отметить, что зубки ее можно было увидеть куда чаще, чем это обычно бывает у вдов, и в таком зрелище не было совершенно ничего неприятного, потому что зубки были мелкие и ровные. Прежде всего я прониклась к ней уважением за то, что она не считала себя обязанной, коль скоро у нее умер какой-то там муж, ходить с опухшими глазами и фиолетовым носом; кстати, я отдала ей должное и за то, что она не корчит горестной гримаски и разговаривает присущим ей от природы звонким сердечным голоском, не растягивая слов и не прерывая фраз добродетельными вздохами.

Во всем этом мне виделся отменный вкус: я признала в ней прежде всего умную женщину — да она и впрямь умница.

Она была хорошо сложена, руки и ноги как раз такие, как надо; свой черный наряд она носила со всем мыслимым кокетством и так весело, что унылый цвет платья совершенно не бросался в глаза: она могла бы поехать на бал в этом туалете, и никто бы не усмотрел в этом ничего странного. Если когда-нибудь я выйду замуж и овдовею, попрошу у нее выкройку этого платья: оно сидит на ней божественно.

Немного поболтав, мы пошли к старой тетке.

Мы застали ее сидящей в большом кресле с отлогою спинкой, под ногами скамеечка, а рядом — старая обрюзглая собачка с гноящимися глазами, которая при нашем приходе подняла черную мордочку и встретила нас весьма недружелюбным рычанием.

На старух я всегда смотрела с ужасом. Моя мать умерла совсем молодой; наверное, если бы она медленно старилась у меня на глазах и облик ее менялся постепенно и незаметно, я бы преспокойно привыкла к этому. В детстве меня окружали только юные радостные лица, и я сохранила непреодолимую антипатию к старым людям. Поэтому я содрогнулась, когда молодая красавица коснулась своими невинными карминовыми губками желтого лба вдовствующей аристократки. Я бы ни за что так не смогла. Знаю, я тоже стану такой, когда мне стукнет шестьдесят, — но все равно не могу с этим примириться и молю Бога, чтобы дал мне умереть молодой, как моя матушка.

Между тем эта старуха сохранила знаки былой красоты, простоту и величественность черт, которая уберегла ее от уродства, напоминающего о печеном яблоке и настигающего женщин, никогда не отличавшихся красотой или хотя бы свежестью; уголки ее глаз переходили в гусиные лапки морщин, а веки были тяжелые и дряблые, но в самих глазах еще поблескивали искры прежнего огня, и видно было, что в эпоху предыдущего царствования они способны были метать молнии ослепительной страсти. Ее тонкий худой нос, несколько крючковатый, как клюв хищной птицы, придавал профилю какую-то задумчивую величавость, умерявшую кротость усмешки, застывшей на губе австрийского рисунка, подкрашенной кармином по моде минувшего столетия.

Одеяние на ней было старинное, но вовсе не смешное и весьма ей к лицу: на голове у нее был простой белый чепец, отделанный скромным кружевом; длинные исхудалые руки, в прежние времена, должно быть, безукоризненно прекрасные, прятались в чересчур просторных митенках; платье цвета палой листвы, затканное узором из листьев более темного оттенка, черная накидка да фартук из переливчатого шелка — вот и весь ее наряд.

Старым дамам всегда именно так и следует одеваться, уважая близкую смерть и не приукрашивая себя перьями, цветочными гирляндами, лентами нежных расцветок и множеством побрякушек, которые к лицу только ранней молодости. Как бы ни

заигрывали они с жизнью, жизнь их отвергает; они остаются при своих, подобно престарелым потаскушкам, которые напрасно штукатурят себе лица белилами и румянами; пьяные погонщики мулов пинками сгоняют их на обочины.

Старая дама приняла нас с тою непринужденностью и утонченной любезностью, которые присущи всем состоявшим при прежнем дворе и секрет которых с каждым днем утрачивается заодно со столькими другими прелестными секретами; она заговорила с нами надтреснутым и дрожащим, но все еще нежным голосом.

Судя по всему, я ей весьма приглянулась; она то и дело пристально вглядывалась в меня с растроганным видом. В уголке ее глаза скопилась слеза и медленно стекала по глубокой морщине, задержалась в ней и высохла. Старая дама попросила ее извинить и объяснила, что я очень напоминаю ее сына, который был убит на войне.

По причине этого сходства, истинного или мнимого, славная женщина все время, что я гостила в замке, относилась ко мне с необыкновенной добротой и совершенно по-матерински. Я радовалась этому куда больше, чем сама ожидала: вообще говоря, наибольшее удовольствие пожилые люди могут мне доставить своим молчанием, а также тем, что уйдут при моем появлении.

Не стану пересказывать тебе в подробностях, день за днем, все, что я делала в Р***. Если самое начало я изобразила как могла подробнее и старательно запечатлела для тебя две-три картинки, изображающие людей или места, то лишь потому, что здесь со мной произошли весьма странные, хотя и вполне естественные события, которые мне следовало предвидеть, переодеваясь в мужское платье.

Свойственное мне от природы легкомыслие толкнуло меня на неосторожность, в коей я жестоко раскаиваюсь, ибо она внесла в добрую и прекрасную душу смятение, которое я не в силах успокоить, не признавшись, кто я такая, и не погубив своего доброго имени.

Желая безупречно справиться с ролью мужчины и немного развлечься, я не нашла ничего лучше, чем приволокнуться за сестрой моего приятеля. Мне казалось весьма забавно бросаться на четвереньки, едва она роняла перчатку, и возвращать ее владелице с нижайшими поклонами, склоняться над спинкой ее кресла с очаровательными томными ужимками и по секрету нашептывать ей на ушко тысячу и один донельзя галантный комплимент. Едва ей хотелось перейти из комнаты в комнату, я великодушно предлагала ей руку; если она садилась на коня, я держала ей стремя, а на прогулке всегда оказывалась рядом с ней; вечерами я читала ей вслух и пела с ней дуэты — словом, со всей скрупулезной точностью исполняла повинности постоянного кавалера.

Я пустила в ход все взгляды и жесты, какие подсмотрела у влюбленных, и это до того меня забавляло, что я хохотала, как безумная, — да я ведь и есть безумная! — когда наконец оказывалась одна у себя в комнате и вспоминала обо всех дерзостях, которые отпускала с самым что ни на есть серьезным видом.

Алкивиад и старая маркиза, казалось, приветствовали наше сближение и частенько оставляли нас наедине. Подчас я сожалела, что на самом деле я не мужчина и не могу лучше воспользоваться положением; будь я мужчиной, оно зависело бы только от меня, ибо наша очаровательная вдовушка, судя по всему, совершенно забыла усопшего, а если и помнила о нем, то с удовольствием бы изменила его памяти.

Затевая эту игру, я уже не могла пойти на попятный, не погрешив против учтивости, к тому же отступать с орудиями и обозом весьма трудно; с другой стороны, не могла я и переходить определенные границы; я надеялась как-нибудь дотянуть до конца месяца, который обещала провести в Р***, и удалиться, уверяя, что приеду еще, но, разумеется, не

собираясь исполнить это обещание. Я полагала, что после моего отъезда красotka утешится и, не видя меня более, вскоре обо мне позабудет.

Но, играючи, я пробудила нешуточную страсть, и дело обернулось по-другому; да послужит это лишним напоминанием об издавна известной истине: никогда не следует шутить ни с огнем, ни с любовью.

Розетта не знала любви, пока не увидела меня. Совсем юной девушкой она вышла замуж за человека много старше себя и могла питать к нему лишь дочернюю привязанность; разумеется, за ней ухаживали, но любовника у нее никогда не было, как ни странно это может показаться: не то любезники, окружавшие ее вниманием, были никудышными соблазнителями, не то, скорее всего, ее час еще не пришел. Чванные поместные дворяне и мелкопоместные дворянчики, вечно толковавшие о попойках и собачьих сворках, о кабаках-подсвинках и глазных отростках на оленьих рогах, о травле и ветвисторогих оленях и пересыпавшие все это шарадами из альманахов и заплесневелыми от старости мадригалами, разумеется, не могли прийти к ней по сердцу, и ее добродетели не надобно было совершать никаких особенных усилий, чтобы устоять перед этими людьми. К тому же веселый и жизнерадостный нрав служил ей достаточной защитой против любви, этой дряблой страсти, имеющей такую власть над мечтателями и меланхоликами; ее старый Тифон, должно быть, внушил ей весьма посредственное мнение о плотских радостях, и едва ли она испытывала сильное искушение приобрести новый опыт по этой части; она наслаждалась тихими радостями столь раннего вдовства и сознанием своей красоты, которой должно было ей хватить еще на многие годы.

Но с моим приездом все переменялось. Сперва мне казалось, что, если бы я держалась в тесных границах неукоснительной и холодной вежливости, она бы не обратила на меня особого внимания; но на самом деле в дальнейшем мне пришлось убедиться, что моя холодность ничего не изменила бы, и предположение мое, при всей его скромности, было совершенно безосновательно. Увы! Ничто не может отвратить роковой склонности, и никто не в силах избежать благотворного или пагубного влияния своей звезды.

Розетте выпала участь любить единожды в жизни, притом любить безнадежно; этому положено было сбыться, и это сбылось.

Меня полюбили, Грациоза! И это было так сладко, хоть любившая меня была женщиной, а в любви столь извращенной всегда есть нечто тягостное, чего не бывает в любви другого рода, — и все же как это сладко! Просыпаться ночью и, приподнявшись с подушек, говорить себе: «Кто-то думает и мечтает обо мне, моя жизнь кому-то интересна, от моего взгляда или движения губ зависят радость или грусть другого человека; словцо, которое я обронила наугад, бережно подхватят и будут часами толковать и так и сяк; я — полюс, к которому стремится беспокойный магнит; мои глаза — небо, а губы — рай, но рай более вожделенный, чем осязаемый; умри я — теплый ливень слез оросит мой прах, и на могиле моей будет цветов больше, чем в свадебной корзине с подарками; ежели мне будет грозить опасность, найдется человек, который бросится между острием шпаги и моей грудью; этот человек пожертвует собой ради меня! Это прекрасно, и не знаю, чего еще можно желать на свете».

Такие мысли доставляли мне удовольствие, которым я себя попрекала, ибо за все это мне нечем было отплатить: я оказалась в положении бедняка, принимающего подарки от богатого и щедрого друга без надежды когда-нибудь воздать ему тем же. То, что меня так любят, приводило меня в восторг, и временами я со странным удовольствием отдавалась этому чувству. Поскольку все называли меня «сударь» и обращались со мной как с мужчиной, я безотчетно забывала, что я женщина; платье, которое я носила, представлялось мне моим обычным нарядом, и я не помнила, что прежде одевалась по-

другому; я уже не думала, что на самом-то деле я просто-напросто юная сумасбродка, сменившая иглу на шпагу и юбку на штаны.

Многие мужчины куда больше, чем я, заслуживают того, чтобы считаться женщинами. Во мне женского только грудь, да легкая округлость фигуры, да руки поизящнее мужских; юбка более пристала моим бедрам, нежели моему уму. Душа нередко бывает другого пола, чем тело, и это противоречие неизбежно порождает огромную путаницу. А, например, не приди я к сумасбродному на первый взгляд, но по сути весьма разумному решению отказаться от одежды, свойственной полу, к коему принадлежу лишь телесно и по воле случая, я чувствовала бы себя глубоко несчастной: я люблю лошадей, фехтование, все упражнения, требующие большой силы, обожаю карабкаться и бегать повсюду, как мальчишка; мне скучно сидеть, составив вместе ноги, а локти прижав к телу, потуплять глаза, говорить тоненьким мелодичным и медовым голоском и по десять миллионов раз продевать обрывок шерстяной нитки в дырочки канвы; меньше всего на свете я люблю слушаться других, а слово, которое чаще других приходит мне на язык, звучит так: «Хочу!» Под моим гладким лбом и шелковистыми волосами бродят энергичные мужские мысли; все изящные пустяки, главным образом прельщающие женщин, всегда волновали меня весьма умеренно, и подобно Ахиллу, ряженному девушкой, я охотно отложила бы зеркальце ради шпаги. Единственное, что мне нравится в женщинах, — это их красота; несмотря на все сопряженные с ней неудобства, я не желала бы отказаться от своей внешней формы, как ни мало подходит она к облеченному ею духу.

В такой интриге есть нечто новое и дразнящее, и я забавлялась бы ею вовсю, если бы бедняжка Розетта не приняла ее настолько всерьез. Она полюбила меня с восхитительной истовостью и простосердечием, всеми силами своей прекрасной, доброй души, тою любовью, какая недоступна мужчинам и о какой они не могут составить себе даже отдаленное понятие, любовью деликатной и пылкой, именно так, как мне хотелось бы, чтобы меня любили, и как я полюбила бы сама, если бы наяву повстречала свою мечту. Какое прекрасное сокровище утеряно, какой чистый, прозрачный жемчуг пропал, и уже никогда ныряльщики не отыщут его в ларце моря! Какое сладчайшее дыхание, какие нежные вздохи растаяли в воздухе, а ведь их могли выпить чистые влюбленные уста!

Эта любовь могла одарить великим счастьем какого-нибудь юношу! Сколько их, незадачливых, красивых, прелестных, одаренных, полных чувства и ума, тщетно на коленях зывали к бесчувственным угрюмым идолам! Сколько нежных и добрых душ с отчаянием ринулись в объятия куртизанок или угасли в тишине, как лампы в гробницах, а ведь искренняя любовь могла спасти их от распутства и смерти!

Как причудливы людские судьбы! И как глумлив и насмешлив случай!

Мне досталось то, о чем пламенно мечтало столько людей, а я не желаю этого и не могу желать. Вздорной девице взбрело на ум пуститься в странствия, переодевшись мужчиной, чтобы немного разобраться в том, как вести себя по отношению к будущим любовникам; она спит на постоялом дворе с достойным братом, который за руку приводит ее к своей сестре, и та, недолго думая, влюбляется в гостя, как кошка, как горлица и прочие самые привязчивые и томные существа на земле. Яснее ясного, что, будь я молодым человеком, который мог бы воспользоваться случаем, все обернулось бы совсем по-другому, и дама, чего доброго, прониклась бы ко мне отвращением. Судьба обожает посылать туфли тем, у кого вместо ноги деревяшка, и перчатки тем, у кого нет рук; наследство, которое позволило бы вам жить припеваючи, обычно достается вам в день вашей смерти.

Время от времени — не так часто, как ей бы того хотелось, — я навещала Розетту у нее в алькове; обычно она принимала лишь после того, как встанет с постели, однако для меня делалось исключение. Ради меня охотно сделали бы еще множество других исключений, если бы я захотела; но, как говорится, самая прекрасная девушка не может дать больше того, что у нее есть, а то, что было у меня, едва ли пригодились бы Розетте.

Она протягивала мне крохотную ручку для поцелуя; признаюсь, что целовала ее не без удовольствия: ручка эта весьма нежная, очень белая, восхитительно надушенная и слегка умягченная чуть заметной испариной: я чувствовала, как она дрожит, соприкасаясь с моими губами, которые я с умыслом не отнимала как можно дольше. Тогда Розетта приходила в смятение и с умоляющим видом обращала ко мне свои удлиненные глаза, отуманенные истомой и блестящие влажным и прозрачным светом, потом она роняла на подушку свою хорошенькую головку, которая прежде была приподнята мне навстречу. Я видела, как вздымается под одеялом ее беспокойная грудь, как Розетта порывисто ворочается в постели. Наверняка, будь на моем месте тот, кто способен дерзнуть, он дерзнул бы на многое, и можно не сомневаться, что ему были бы признательны за его отвагу и не осуждали бы за то, что он пропустил, не читая, несколько глав в романе.

Так проводила я с ней часок-другой, не выпуская руки, лежавшей поверх одеяла; мы вели нескончаемые очаровательные беседы; Розетта, вся поглощенная любовью, была, однако, настолько уверена в успехе, что свобода и жизнерадостность суждений почти ей не изменяла. Лишь иногда страсть набрасывала на ее веселость прозрачную пелену сладостной меланхолии, сообщавшую красавице еще больше пикантности.

И впрямь, где это видано, чтобы юный дебютант, каким я притворялась, не счел себя наверху блаженства от выпавшей ему подобной удачи и не воспользовался ею как нельзя лучше! Розетта в самом деле была не из тех дам, с которыми можно обойтись чересчур жестоко, и, не зная толком, чего от меня ждать, она уповала уж если не на мою любовь, то, во всяком случае, на свои чары и на мою молодость.

Однако дело начинало несколько затягиваться и выходить за отведенные ему сроки, и она забеспокоилась: лстивые речи и пылкие уверения, к которым я прибегала все чаще, едва ли могли вернуть ей прежнюю безмятежность. Ее удивляли во мне две вещи, и она подмечала в моем поведении противоречия, коих не могла истолковать: на словах я была горяча, а в поступках — холодна.

Тебе ли не знать лучше всех, милая Грациоза, что дружба моя обладает всеми признаками страсти: она бывает стремительной, пылкой, слепой, с любовью ее роднит даже ревность, а к Розетте я питаю почти такую же дружбу, как к тебе. Воистину ей легко было ошибиться в природе моего чувства. Заблуждение Розетты было тем глубже, что мой наряд не позволял ей заподозрить ничего другого.

Поскольку я еще не любила ни одного мужчину, избыток моей нежности словно изливался в дружбе с девушками и молодыми женщинами; в дружбу я вкладывала то упоение и экзальтацию, с какими делаю все в жизни, ибо умеренность мне чужда во всем, а в особенности в сердечных делах. Для меня в мире есть только два сорта людей: те, кого я обожаю, и те, кого ненавижу; прочие для меня все равно что не существуют, и я спокойно направляю прямо на них своего коня; в моем сознании они не отличаются от булыжников мостовой и от каменных тумб.

Я по натуре общительна и очень ласкова. Иной раз, забывая, как могли быть истолкованы подобные жесты, я, прогуливаясь вдвоем с Розеттой, обнимала ее за талию, как обнимала

тебя, когда мы гуляли с тобой вместе по пустынной аллее в глубине дядиного сада; или, склонясь к спинке ее кресла, пока она вышивала, я перебирала в пальцах нежные золотистые завитки на ее полной округлой шейке, или тыльной стороной ладони приглаживала ее прекрасные волосы, собранные гребнем, полируя их до блеска, или позволяла себе иные ласковые ухищрения, к которым, как тебе известно, привыкла в обращении с моими милыми подругами.

Она и мысли не допускала о том, чтобы приписать все это обычной дружбе. В общепринятом понимании дружба не простирается так далеко; но, видя, что дальше я не иду, она в душе удивлялась и не знала, что и думать; наконец она остановилась на мысли, что все это — следствие моей великой робости, которая происходит от крайней моей молодости и неискренности в любовных делах, а потому следует ободрить меня всевозможными поощрениями и милостями.

В согласии с этим решением она позаботилась о том, чтобы как можно чаще подстраивать случаи побыть со мной вдвоем в местах, уединенных и недостижимых для шума и вторжения извне, где я чувствовала бы себя более уверенно; она то и дело увлекала меня на прогулки в лес, чтобы поглядеть, не обернутся ли в ее пользу мечтательная нега и любовные упования, которые навеивает чувствительным душам густая и благосклонная лесная осень.

Однажды, долго блуждая со мной по весьма живописному парку, простиравшемуся позади замка и знакомому мне лишь в той его части, что прилегала к строениям, она по малой тропке, прихотливо извивавшейся и окаймленной кустами бузины и орешника, увлекла меня к сельской хижине, похожей на избушку угольщика, построенной как сруб, с камышовой крышей и дверью, топорно сработанной из пяти-шести едва оструганных кусков дерева, зазоры между которыми были законопачены мхом и травой; совсем рядом, между позеленевшими корнями огромных ясеней с серебристой корой, тут и там усеянной черными бляшками, всюду бил ключ, несколькими шагами дальше низвергавшийся по двум мраморным уступам в водоем, весь заросший полевым кардамоном ярко-зеленого, прямо-таки изумрудного цвета. В местах, свободных от растительности, проглядывал тонкий и белый, как снег, песок; вода была хрустальной прозрачности и холодна, как лед; выбившись прямо из-под земли, недостижимая для малейшего солнечного луча под непроницаемой сенью ветвей, она не успевала ни согреться, ни замутиться. Я люблю воду из таких родников, несмотря на ее жесткость, и, увидав эту влагу, такую прозрачную, почувствовала неодолимое желание утолить ею жажду; я наклонилась и несколько раз кряду зачерпнула ее рукой, поскольку никакого другого сосуда у меня не было.

Розетта дала понять, что также не прочь попить этой воды, и попросила меня принести ей несколько капель, поскольку ей боязно было, сказала она, наклоняться так низко. Я сложила руки ковшиком и погрузила в источник, а затем поднесла их, как чашку, к губам Розетты и держала, пока она не выпила всю воду, что заняло совсем немного времени, ибо воды было чуть-чуть и она по капле просачивалась у меня сквозь пальцы, как ни старалась я сжать их покрепче; зрелище было очень милое; оставалось пожалеть, что поблизости не оказалось скульптора, который бы тут же потянулся за карандашом.

Когда вода была уже почти выпита, Розетта, припав губами к моей руке, не удержалась и поцеловала ее, однако же так осторожно, чтобы я могла подумать, будто она просто стремится подобрать последние капельки, собравшиеся на дне моей ладони; но я не поддавалась обману, да и очаровательный румянец, которым вспыхнуло ее лицо, выдавал ее с головой.

Она подхватила меня под руку, и мы направились в сторону хижины. Красавица шла так близко ко мне, как только могла, и в разговоре прижималась ко мне так, что ее грудь

полностью легла на мой рукав, — движение чрезвычайно искусное и способное смутить кого угодно, кроме меня; я прекрасно чувствовала твердую и чистую линию этой груди, ее нежное тепло; я даже сумела подметить ее убыстрившееся трепетание, притворное ли, естественное ли, но в любом случае лестное и притягательное для меня.

Так мы подошли к двери хижины, и я распахнула ее ударом ноги; я никак не была готова к зрелищу, открывшемуся моим глазам. Я думала, что пол хижины покрыт тростниковой циновкой, а мебель представляет собой несколько скамей, на которых можно отдохнуть; ничуть не бывало.

Это оказался будуар, обставленный со всею мыслимою элегантностью. Медальоны над дверьми и зеркалами изображали наиболее галантные сцены из Овидиевых «Метаморфоз», запечатленные в светло-лиловой гризайли: Салмакиду и Гермафродита, Венеру и Адониса, Аполлона и Дафну и других мифологических любовников; простенки между окнами были украшены затейливо вырезанными розочками и крошечными маргаритками, у которых для пущей утонченности были вызолочены только сердцевинки, а лепестки покрыты серебром. Вся мебель была отделана серебряной каймой; та же кайма оттеняла обои нежнейшего цвета, какой только можно сыскать, и способного наилучшим образом подчеркнуть белизну и свежесть кожи; на камине, консолях, этажерках теснилось великое множество диковинных безделушек, а по комнате в изобилии расставлены кушетки, лонгшезы и диваны, с очевидностью свидетельствовавшие, что это убежище назначено не для аскетического времяпрепровождения и умерщвлением плоти здесь никто не занимается.

Прекрасные часы причудливой формы на богато инкрустированном постаменте располагались напротив большого венецианского зеркала и отражались в нем, рождая удивительные блики и игру лучей. Впрочем, часы эти стояли, словно здесь, где следовало забыть о течении времени, было излишне отмечать его бег. Я сказала Розетте, что эта утонченная роскошь мне нравится, что, по-моему, великолепная изысканность, скрываемая в столь скромных стенах, свидетельствует об отменном вкусе и что мне всегда по душе женщина, одетая в вышитую нижнюю юбку и в сорочку, отделанную мехельнским кружевом, но в платье из простого полотна; это означает деликатную заботу о возлюбленном, который у нее есть или может появиться, и забота эта заслуживает величайшей благодарности; что и говорить, достойнее прятать бриллиант в ореховую скорлупу, чем орех в золотую коробочку.

В подтверждение того, что она со мной согласна, Розетта слегка приподняла подол и показала мне краешек нижней юбки, богато расшитой цветами и листьями; от меня зависело, буду ли я посвящена в тайну сокрытого ото всех чудесного великолепия, но я не выразила желания проверить, соответствует ли роскошь сорочки богатству нижней юбки: вполне возможно, что первая ничем не уступала второй. Розетта опустила оборку платья, досадуя, что не имела возможности показать больше. Однако эта демонстрация позволила ей приоткрыть начало безукоризненно стройных икр и намекнуть на совершенство всего, что выше. Ножка, выставленная ею вперед, чтобы юбка выглядела попышнее, была и впрямь сказочно изящна и грациозна, плотно обтянута перламутрово-серым чулком без единой морщинки и обута в крошечную туфельку с каблучком, украшенную пышным бантом и сидевшую точь-в-точь как хрустальный башмачок на ножке у Сандрильоны. Я осыпала ее самыми искренними комплиментами и сказала, что никогда не видывала ножки меньше и красивей и даже не могу вообразить себе большего совершенства. На что она отвечала с искренней, очаровательной и вдохновенной находчивостью:

— Вы правы.

Потом она скользнула к стенному шкафчику, достала из него две-три бутылки с ликерами и несколько тарелок с вареньями и пирожными, выставила все это на маленький круглый столик и уселась рядом со мной на довольно узкую кушетку, так что мне, чтобы не тесниться, пришлось закинуть руку ей за талию. Поскольку у нее были свободны руки, а у меня только левая, она сама наполнила мой бокал и положила фрукты и сласти мне на тарелку; вскоре, видя, что мне не совсем удобно, она даже сказала: «Полноте, не трудитесь, я буду кормить вас сама, дитя, а то вы не умеете». И стала класть мне в рот кусочек за кусочком быстрее, чем я успевала проглатывать, заталкивая их своими красивыми пальцами, точь-в-точь как кладут корм в клюв птенцу, и при этом заливалась хохотом. Я не удержалась и поцеловала ее пальчики — мне хотелось вернуть ей тот поцелуй, которым она недавно одарила мою ладонь; и она, притворясь, будто хочет мне помешать, а на самом деле помогая моим губам, несколько раз кряду шлепнула по ним тыльной стороной ладони.

Она выпила капельку густого барбадосского ликера, разбавленного бокалом канарского вина, и я — примерно столько же. Разумеется, это было немного, но вполне довольно, чтобы развеселить двух женщин, привыкших пить одну воду, слегка подкрашенную вином. Розетта вольно откинулась назад, весьма нежно припав к моей руке. Она сбросила накидку и сидела выгнувшись, так что верхняя часть груди, напряженная и застывшая в неподвижности, обнажилась; цвет этой груди был восхитительно нежен и прозрачен, форма — отменно изящна и вместе с тем тверда. Некоторое время я созерцала ее с бесконечным волнением и удовольствием, и мне подумалось, что мужчинам везет в любви больше, чем нам: мы им даруем обладание самыми очаровательными сокровищами, а они не могут предложить нам взамен ничего подобного. Какое, должно быть, наслаждение скользить губами по этой нежной и гладкой коже, по этим округлым контурам, которые словно стремятся навстречу поцелую и напрашиваются на него! Атласная плоть, лабиринты волнистых линий, шелковистые и такие мягкие на ощупь пряди волос — какие неисчерпаемые запасы сладостной неги, которых мы никогда не отыщем у мужчин! Мы в ласках обречены на пассивность, а ведь давать приятнее, чем получать.

Вот наблюдения, которые наверняка были мне недоступны в прошлом году: тогда я могла спокойно смотреть на все плечи и груди в мире, не заботясь о том, хороши ли их формы; но с тех пор, как я отказалась от женского платья и живу в окружении молодых людей, во мне развилось чувство, прежде мне неведомое, — чувство прекрасного. Женщины, как правило, его лишены, не знаю почему, ведь на первый взгляд, казалось бы, они скорее способны судить о красоте, чем мужчины; но поскольку обладают красотой именно они, а познать самого себя — наиболее трудное дело на свете, неудивительно, что они ничего не смыслят в прекрасном. Обыкновенно, если одна женщина считает другую хорошенькой, можно не сомневаться, что эта другая — сушая уродина и ни один мужчина не обратит на нее внимания. Зато всех женщин, чью красоту и грацию превозносят мужчины, сборище судей в юбках единодушно объявляет безобразными и жеманными; об этом кричат и вопят без конца. Если бы я на самом деле была тем, кем кажусь, я в своем выборе не руководствовалась бы никакой другой подсказкой и осуждение женщин было бы для меня самым убедительным удостоверением женской прелести.

Теперь я люблю и знаю красоту; платье, которое я ношу, отделяет меня от моего пола и освобождает от всякого чувства соперничества; я способна судить о прекрасном лучше, чем кто бы то ни было. Я уже не женщина, но я еще не мужчина, и желание не ослепит меня настолько, чтобы принять манекен за божество; я смотрю холодным взором, без предвзятости в ту или иную сторону, и суждение мое бескорыстно, насколько это возможно.

Длина и пушистость ресниц, прозрачность висков, ясность глазных хрусталиков, завитки уха, цвет и блеск волос, аристократичность рук и ног, более или менее изящный рисунок лодыжек и запястий, тысяча вещей, на которые прежде я не обращала внимания, хотя они составляют самую суть красоты и свидетельствуют о чистоте породы, руководят мною в оценках и не дают ошибиться. Полагаю, что женщину, о которой я сказала: «Она и впрямь недурна», можно одобрить с закрытыми глазами.

Из этого вполне естественно следует, что в картинах я стала разбираться много лучше, чем до сих пор, и, хотя знания, коими я руководствуюсь, весьма поверхностны, нелегко было бы уверить меня в том, что дурная картина хороша; в изучении живописного полотна я черпаю странную и глубокую радость; ибо духовная и физическая красота, как все на свете, требует изучения и с первого взгляда в нее не проникнешь. Но вернемся к Розетте; к ней нетрудно перейти от предыдущей темы: одно тесно связано с другим.

Как я уже сказала, красавица приникла к моей руке, а голова ее покоилась у меня на плече; волнение слегка тронуло румянцем ее прекрасные щечки нежного розового цвета, который великолепно подчеркивала глубокая чернота крохотной кокетливой мушки; ее зубы между улыбающихся губ поблескивали, как капли дождя в чашечке мака, а полуопущенные ресницы усиливали влажное сияние огромных глаз; солнечный луч рассыпал тысячи металлических блесков по ее шелковистым переливающимся волосам, от которых отделялись несколько локонов и спиралью спускались вдоль округлой полной шеи, оттеняя ее теплую белизну; несколько шальных кудряшек, самых непокорных, выбивались из прически и закручивались капризными пружинками, позлащенные удивительными бликами, и в лучах света играли всеми цветами радуги: они напоминали те золотые нити, что окружают голову Богоматери на старинных картинах. Мы обе хранили молчание, и я забавлялась тем, что следила, как под перламутровой прозрачностью ее висков бьются лазурно-голубые жилки, как мягко и незаметно истончаются и ближе к вискам сходят на нет ее брови.

Красавица сидела с сосредоточенным видом и, казалось, убаюкивала себя грезами беспредельного сладострастия; руки ее покоились вдоль тела, трепещущие и расслабленные, как развязанные шарфы; голова все дальше откидывалась назад, словно поддерживающие ее мышцы были перерезаны или слишком слабы для такой ноши. Обе ножки она подобрала и спрятала под юбку, и вся вжалась в угол кушетки, где сидела я, и хотя кушетка была слишком узка, с другой стороны от моей соседки оставалось еще много свободного места.

Тело ее, гибкое и податливое, лепилось ко мне, как воск, и с необыкновенной точностью повторяло все контуры моего тела: вода и та не могла бы с такой неотступностью обтекать все его изгибы. Плотнo прижимаясь к моему боку, она напоминала собой ту вторую черту, которую художник добавляет к своему рисунку с той стороны, которая как бы находится в тени, чтобы контур получился потолще и пожирней. Только влюбленная женщина в состоянии так изогнуться и прильнуть. Куда до нее иве и плющу!

Я чувствовала нежное тепло ее тела сквозь ткань наших одежд; вокруг нее вились тысячи магнетических ручейков; казалось, вся жизнь ее без остатка перетекает в меня. С каждой минутой она все более слабела, умирала, клонилась: на ее блестящем лбу выступили бисеринки пота, глаза увлажнились, и два-три раза она приподняла руки, словно желая спрятать лицо, но всякий раз томно роняла их на колени, не в силах исполнить это намерение; с век ее сорвалась крупная слеза, покатилась по пылающей щеке и вскоре высохла.

Положение мое становилось все более затруднительным и весьма смешным; я чувствовала, что у меня, должно быть, неопишимо глупый вид, и это меня крайне удручало, хотя выглядеть лучше было не в моей власти. Какие бы то ни было поползновения были для меня запретны, а только они и были бы сейчас уместны. Я слишком была уверена в том, что не встречу сопротивления, и потому не смела рисковать; я попросту не знала, куда деваться. Любезничать, отпускать комплименты — все это хорошо для начала, но в нынешних обстоятельствах это было бы уже чересчур пресно; встать и уйти — было бы непозволительной грубостью; помимо всего прочего я не ручаюсь, что Розетта не вздумала бы разыгрывать жену Потифара и не удержала бы меня за край плаща. У меня не было никакой достойной уважения причины для объяснения своей стойкости, и потом, к стыду своему, должна признаться, что эта сцена, при всей ее двусмысленности, была не лишена для меня известного очарования, удерживавшего меня на месте сильнее, чем следовало бы: и пылкое желание моей спутницы разжигало меня своим пламенем, и я воистину досадовала, что не могу его утолить; мне даже хотелось быть мужчиной, на которого я так была похожа, чтобы увенчать эту любовь, и мне было жаль, что Розетта ошибается. Дыхание мое участилось, лицо залилось краской, я была взволнована ничуть не меньше, чем моя бедная обожательница. Мысль о том, что мы с ней принадлежим одному полу, мало-помалу изгладилась из моей памяти, уступив место смутной тяге к наслаждению; мой взгляд затуманился, губы задрожали, и, будь Розетта не тем, чем она была, а кавалером, она одержала бы надо мной легкую победу.

Наконец, не в силах более сдерживаться, она каким-то судорожным движением внезапно вскочила на ноги и принялась чуть не бегом расхаживать по комнате; затем остановилась перед зеркалом, поправила несколько локонов, выбившихся из прически. Пока она всем этим занималась, я сидела с самым жалким видом и не знала, как себя повести.

Она остановилась напротив меня, как будто что-то обдумывая. У нее мелькнула мысль, что меня сдерживает лишь отчаянная застенчивость, что я неопытнее, чем она думала сначала. Вне себя от нестерпимого любовного возбуждения, она решила предпринять самую последнюю попытку и сыграть ва-банк, рискуя проиграть всю партию.

Она подошла вплотную, проворнее молнии скользнула мне на колени, обняла за шею, переплела обе руки у меня за головой, и ее губы яростно прильнули к моим губам; я чувствовала, как ее полуобнаженная волнующаяся грудь припала к моей груди и как ее переплетенные пальцы вцепились мне в волосы. Дрожь пробежала по всему телу, и соски мои напряглись.

Розетта не прерывала поцелуя; ее губы вбирали в себя мои, зубы легонько стучались о мои зубы, наше дыхание смешалось. Я на мгновение отпрянула и два-три раза повела головой из стороны в сторону, пытаюсь уклониться от поцелуя, но непреодолимое влечение вновь потянуло меня вперед, и я вернула ей поцелуй почти с тою же пылкостью, с какой она мне его подарила. Уж и не знаю, что вышло бы из всего этого, но тут снаружи донесся залиvistый лай и шорох царапающихся в дверь лап. Дверь поддалась, в хижину, повизгивая, вприпрыжку вбежала крупная белая борзая.

Розетта вскочила и одним прыжком метнулась в противоположный конец комнаты; прекрасная борзая весело и дружелюбно прыгала вокруг нее, пытаюсь поймать в воздухе и лизнуть ее руки; Розетта была в таком смятении, что ей с превеликим трудом удалось расправить на плечах накидку.

Эта борзая была любимая собака ее брата Алкивиада; он никогда с ней не расставался, и, видя ее, можно было не сомневаться, что ее хозяин где-нибудь поблизости: вот что испугало бедную Розетту. И впрямь, не прошло и минуты, как появился Алкиви-ад — в сапогах со шпорами, с хлыстом в руке.

— А, вот вы где, — сказал он. — Я уже час ищу вас и нипочем бы не нашел, если бы мой славный Снюг не учуял вас в вашей норке. — И он метнул в сестру наполовину строгий, наполовину насмешливый взгляд, от которого она покраснела до корней волос. — Вам, наверное, пришла нужда побеседовать на весьма щекотливые темы, коль скоро вы удалились в такое уединенное место? Надо думать, вы толковали о богословии и о двойственной природе души?

— Ах, нет, упаси Бог; мы предавались куда менее возвышенным занятиям: ели пирожное и болтали о модах, вот и все.

— Ни за что не поверю: судя по вашему виду, вы углубились в рассуждения о сущности нежных чувств, но после столь туманных разговоров не худо и развеяться, а потому полагаю, что недурно было бы вам вместе со мной совершить небольшую прогулку верхом. У меня новая кобыла, надо бы ее опробовать. Вы тоже прокатитесь на ней, Теодор, и мы поглядим, какова она под седлом.

Мы вышли втроем: он протянул руку мне, я Розетте; наши лица разительно отличались своим выражением. Алкивиад казался задумчивым, я была в самом добром расположении духа, Розетта же крайне огорчена.

Алкивиад появился весьма кстати для меня и весьма некстати для Розетты, которая потеряла, или думала, что потеряла, весь выигрыш от своих искусных атак и хитроумной тактики. Теперь надо было все начинать сначала; а ведь еще четверть часа — и черт меня побери, если я знаю, к какой развязке могло привести наше приключение; я попросту не представляю себе, до чего бы мы дошли. Возможно, не вмешайся Алкивиад в самый рискованный момент, как бог из колесницы, все сложилось бы к лучшему: пускай бы дело кончилось так или иначе. На протяжении этой сцены я два-три раза уже готова была признаться Розетте, кто я такая, но страх, что меня примут за авантюристку и тайна моя будет разглашена, удержал у меня на устах слова, уже готовые с них сорваться.

Дальше так продолжаться не могло. Оставалось только уезжать — это было единственное средство покончить с безысходной интригой, и за обедом я по всем правилам уведомила, что завтра уеду. Розетте, которая сидела рядом со мной, едва не стало дурно от этого известия; она выронила из рук бокал. Ее миловидное лицо покрыла внезапная бледность; она бросила на меня жалобный взгляд, полный упрека, и под этим взглядом я смутилась и разволновалась почти так же, как она сама.

Тетушка воздела свои старческие морщинистые руки в жесте горестного изумления и тоненьким надтреснутым голосом, дрожащим еще больше обычного, сказала мне: «Ах, милый господин Теодор, неужели вы нас покидаете? Нехорошо: вчера вы и виду не подавали, что собираетесь уехать. Почты не было: значит, писем вы не получали и у вас нет никаких причин для спешки. Вы посулили нам еще две недели, а теперь отнимаете Их у нас: воистину вы не вправе так поступать; что подарено, того нельзя забирать обратно. Видите, какую гримасу соорудила Розетта, как она на вас обижается; предупреждаю, что буду на вас в не меньшей обиде и соорю такую же ужасную гримасу, причем в шестьдесят восемь лет гримасы выходят куда более устрашающие, чем в двадцать три. Смотрите, вы добровольно подвергаете себя гневу тетки и племянницы, и все это ради невесть какой прихоти, которая внезапно пришла вам в голову между грушей и сыром».

Алкивиад, грохнув кулаком по столу, поклялся, что скорее забаррикадирует двери замка и перережет сухожилия моему коню, чем даст мне уехать.

Розетта устремила на меня еще один взгляд, такой печальный и умоляющий, что им не тронулся бы разве что тигр, который постился неделю. Я не устояла и, хотя была этим крайне удручена, торжественно пообещала остаться. Милая Розетта готова была за эту любезность кинуться мне на шею и расцеловать; своей огромной ладонью Алкивиад накрыл мою руку и с такой силой встряхнул ее, что чуть не вывихнул мне плечо, сплющил рукопожатием мои кольца, так что из круглых они превратились в овальные, и весьма основательно помял мне три пальца.

Старуха на радостях втянула в себя огромную понюшку табака.

Однако к Розетте не вполне вернулась обычная веселость; мысль о том, что я могу уехать и что мне этого захотелось, мысль, дотоле еще не приходившая ей на ум, повергла ее в глубокую задумчивость. Краски, которые сообщение о моем отъезде согнало с ее щек, вернулись, но не столь яркие, как прежде; на лице ее осталась бледность, а в глубине ее души — беспокойство. То, как я себя с ней вела, все больше и больше ее поражало. После явных знаков внимания и поощрения, которые она мне оказывала, ей непонятно было, по какой причине я отношусь к ней столь сдержанно; ей хотелось до моего отъезда добиться от меня решительного шага, а о дальнейшем она не заботилась, полагая, что без труда сумеет удержать меня при себе так долго, как ей заблагорассудится.

В этом она была права, и, не будь я женщиной, ее расчеты оправдались бы, ибо что бы там ни говорили о пресыщенности наслаждением и об отвращении, которое обычно следует за обладанием, а все-таки любой мужчина, если он не лишен сердца и не впал в самую жалкую и неизлечимую разочарованность, чувствует, что любовь его лишь возрастает от взаимности, и весьма часто для того, чтобы удержать поклонника, замыслившего удалиться, нет средства лучше, чем отдаться ему с полным самозабвением.

Розетта намеревалась до моего отъезда подвигнуть меня на решительный шаг. Зная, как нелегко бывает с бывлой непринужденностью возобновлять прерванную связь, и к тому же сомневаясь, что когда-нибудь нам с нею еще представятся столь благоприятные обстоятельства, она не пренебрегала ни единым случаем побудить меня к решительному объяснению и отказу от уклончивых маневров, из которых я соорудила себе прикрытие. Я, со своей стороны, недвусмысленно и твердо намеревалась избегать любых встреч, подобных той, в лесном павильоне, но все-таки не могла, не ставя себя в дурацкое положение, держаться с Розеттой чересчур холодно и подчинять наши с ней отношения ребяческому благоразумию, поэтому я не очень-то понимала, какую линию поведения избрать, и старалась, чтобы при нас всегда оказывался кто-нибудь третий. Розетта, напротив, делала все, что могла, чтобы остаться со мною наедине, и частенько в этом преуспевала, поскольку замок был расположен далеко от города и окрестное дворянство редко его посещало. Мое глухое сопротивление печалило и удивляло ее; временами ее одолевали тревоги и сомнения относительно власти ее чар, и, видя, как мало ее любят, она подчас готова была поверить, что она безобразна. Тогда она с удвоенной силой принималась прихорашиваться и кокетничать, и, хотя траур не позволял ей прибегать к особым ухищрениям в наряде, она все же умела приукрашать и разнообразить его так, что с каждым днем становилась вдвое-втрое прелестней, а это не так уж мало. Она пускала в ход все средства: являлась игривой, меланхоличной, нежной, страстной, предупредительной, кокетливой, даже подчас жеманной; одну за другой она примеряла все эти очаровательные маски, которые до того идут женщинам, что невозможно бывает решить, маска это или истинное лицо; она сменила один за другим не то восемь, не то десять совершенно различных образов, чтобы понять, какой из них нравится мне больше, и удержаться в нем. Она создала для меня своими силами целый сераль, мне оставалось только бросить платок; но, разумеется, она ничего не добилась.

Безуспешность всех ее военных хитростей повергла Розетту в глубокое изумление. В самом деле, от ее усилий сам Нестор утратил бы рассудительность, сам целомудренный Ипполит вспыхнул бы, как щепка, а я меньше всего походила на Ипполита и Нестора: я молода, вид имела горделивый и решительный и всегда, кроме как наедине с Розеттой, вела себя весьма непринужденно.

Она, несомненно, решила, что на меня напустили порчу все фракийские и фессалийские колдуньи или, по меньшей мере, что на меня порчу навели, и составила себе весьма нелестное мнение о моей мужественности, которою я и впрямь не могу похвалиться. Однако, судя по всему, это ей и в голову не приходило, и столь странную сдержанность она приписала лишь недостатку моей любви к ней.

Дни шли за днями, а дела не продвигались; это явно ее удручало: свежую улыбку, которою то и дело расцветало прежде ее лицо, сменило выражение тревожной печали; уголки рта, так радостно приподнятые, заметно опустились книзу, и губы вытянулись в твердую бесстрастную линейку; на ее потяжелевших веках обозначились крохотные прожилки; щеки, еще недавно похожие на персик, теперь напоминали его только чуть заметной бархатистостью. Часто я видела из окна, как она бродит по лужайке в утреннем пеньюаре; она шла, едва поднимая ноги, словно скользя по земле, безвольно скрестив на груди руки, понунив голову, клонясь подобно ветке ивы, касающейся воды, окутанная волнистым, ниспадающим и словно чересчур длинным покрывалом, конец которого волочился по земле. В эти мгновения она была похожа на античных влюбленных дев, которых преследует ярость Венеры, против которых навсегда ожесточилась безжалостная богиня, — так я представляю себе Психею, покинутую Купидоном.

В те дни, когда она не делала попыток преодолеть мою холодность и мои колебания, ее любовь принимала простой и безыскусный облик, который меня очаровывал; то были молчаливая и доверчивая преданность, невинная непринужденность ласк, неисчерпаемое богатство и полнота сердца, сокровища прекрасной души, растрачиваемые без оглядки. Розетта была начисто лишена мелочной расчетливости, присущей почти всем женщинам, даже самым одаренным; она не стремилась к притворству и спокойно являла предо мной всю глубину своей страсти. Ее самолюбие ни на миг не возмутилось тем, что я не отвечала на все ее попытки к сближению, ибо, когда в сердце входит любовь, гордыня тут же его покидает; а если на свете была когда-нибудь истинная любовь, то это любовь Розетты ко мне. Она страдала, но не раздражалась, не жаловалась, и неуспех своих попыток приписывала себе одной. Между тем с каждым днем она становилась все бледней, и лилии на ристалище ее щек вступили в сражение с розами — жестокое сражение, в ходе которого розы были напрочь разбиты; это приводило меня в отчаяние, но я менее чем кто-либо могла помочь горю. Чем нежнее и дружелюбнее я с ней говорила, чем ласковой обходилась, тем глубже вонзалась в ее сердце зазубренная стрела неразделенной любви. Желая утешить ее немедленно, я готовила ей на будущее куда более мучительное отчаяние; мои лекарства, казалось бы, врачевали ее рану, однако на самом деле растравляли ее. Я, в сущности, раскаивалась во всех добрых словах, которые к ней обращала; я питала к ней самую горячую дружбу, но именно потому мне хотелось бы найти средство, чтобы она меня возненавидела. Никакое бескорыстие не может простираться дальше, ибо мне было бы нестерпимо обидно сносить ее ненависть, но я готова была смириться и с этим.

Два-три раза я пробовала говорить ей резкости, но сразу же сводила их к комплиментам, ибо ее улыбка пугает меня все-таки меньше, чем слезы. В таких случаях, хоть благие намерения полностью оправдывают меня в собственных глазах, я расстраиваюсь куда сильнее, чем следовало бы, и чувствую нечто весьма близкое к угрызениям совести. Слезу ничем не осушить, кроме поцелуя: нельзя же, в самом-то деле, в угоду приличиям оставлять это на долю носового платочка, пускай даже из наитончайшего батиста; и вот я

уже сама разрушаю содеянное, о слезе тут же забывают, куда быстрее, чем о поцелуе, а для меня из этого проистекают новые, еще более тягостные затруднения;

Видя, что я от нее ускользаю, Розетта упрямо и жалобно цепляется за остатки надежды, и положение мое делается все труднее. Странное ощущение, которое я испытала в уединенной хижине, и непостижимая чувственная смута, в которую повергли меня пылкие ласки моей прекрасной обожательницы, посещали меня с тех пор еще не раз, правда, не с такой силой; и часто, сидя рядом с Розеттой, рука об руку, и слушая ее нежное воркование, я готова поверить, что я и в самом деле мужчина, а если не отвечаю на ее любовь, то разве что из жестокости.

Однажды вечером, уж не знаю, по какому случаю, я оказалась одна в зеленой комнате со старой дамой; в руках у нее было вышивание, ибо, несмотря на свои шестьдесят восемь лет, она никогда не сидела без дела, желая, как она говорила, перед смертью окончить коврик, над которым трудилась уже очень давно. Чувствуя себя немного усталой, она отложила рукоделие и откинулась на спинку своего глубокого кресла; она глядела на меня очень внимательно, и ее серые глаза с удивительной живостью поблескивали сквозь очки; дважды или трижды она провела иссохшей рукой по морщинистому лбу; казалось, она была в глубокой задумчивости. Воспоминания о временах, которые минули и о которых она сожалела, сообщали ее лицу меланхолически-умиленное выражение. Я молчала, опасаясь прервать ее размышления, и на несколько минут воцарилось молчание. Наконец она его нарушила:

— Воистину это глаза Анри, моего милого Анри: тот же влажный и блестящий взгляд, та же посадка головы, то же нежное и гордое лицо, — можно подумать, что это он и есть. Вы не можете себе представить, как велико ваше сходство, господин Теодор; когда я вас вижу, я уже не верю, что он умер; я думаю, что он просто уезжал в долгое путешествие, а теперь наконец вернулся. Вы доставили мне немало радости и немало горя, Теодор: мне радостно вспоминать о моем бедном Анри; мне горько сознавать, как велика моя утрата; несколько раз я принимала вас за его призрак. Не могу примириться с мыслью, что вы нас покинете: мне чудится, будто я во второй раз теряю моего Анри.

Я сказала ей, что если бы в самом деле мне можно было остаться дольше, то это доставило бы мне большое удовольствие, но я и так сверх всякой меры задерживаюсь в замке; впрочем, я надеюсь еще вернуться, а о замке у меня останутся настолько приятные воспоминания, что я не скоро его смогу забыть.

— Но как бы я ни сокрушалась о вашем отъезде, господин Теодор, — подхватила она, продолжая свою мысль, — кое-кто здесь будет огорчен им еще больше. Вы прекрасно понимаете, о ком я говорю, и мне нет нужды называть эту особу. Не знаю, что нам делать с Розеттой после вашего отъезда, но только этот старый замок — унылое место. Алкивиад вечно на охоте, а такой молодой женщине, как она, немного радости доставляет общество старой калеки.

— Если кому и питать сожаления, то не вам, сударыня, и не Розетте, а только мне одному; вы теряете мало, я — много, вы легко найдете более приятное общество, чем я, а что до меня, то более чем сомнительно, найду ли я когда-нибудь замену Розетте и вам.

— Не хочу спорить с вашей учтивостью, сударь мой, но я знаю то, что знаю, и говорю то, что есть: весьма вероятно, что мы не скоро вновь увидим госпожу Розетту в добром расположении духа, ибо теперь вы и только вы делаете погоду в ее душе. Траур ее скоро кончится, и в самом деле обидно будет, ежели вместе с последним черным платьем она откажется и от своей веселости; это будет с ее стороны некрасиво и войдет в противоречие с общепринятыми законами. Вы можете предотвратить это без особого

труда, и я уверена, что так вы и сделаете, — заключила старуха, с особым значением подчеркнув последние слова.

— Разумеется, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ваша милая племянница сохранила свой прелестный веселый нрав, коль скоро вы предполагаете, что я имею на нее такое влияние. Только ума не приложу, что я могу для этого сделать.

— О, вы и впрямь ничего не видите! И куда только смотрят ваши прекрасные глаза? Не знала, что вы столь близоруки. Розетта свободна; она располагает восемьюдесятью тысячами ливров ренты, и состояние это совершенно независимо. Вы молоды, хороши собой и, насколько я понимаю, не женаты; мне представляется, что дело проще простого, если только вы не питаете к Розетте непреодолимого отвращения, но в это поверить трудно.

— Это не так, и ничего подобного быть не может, потому что ее душа красотой не уступает телу: Розетта из тех женщин, что могли бы быть дурнушками, и никто не обратил бы на это внимания, все бы точно так же их домогались...

— Она могла бы позволить себе быть дурнушкой, а между тем она прелестна. Значит, она вдвойне права; не подвергая сомнению ваши слова, но все же она приняла самое разумное решение. Что до нее самой, я охотно поручусь в том, что тысячи людей на свете ненавистны ей куда более, чем вы, и если как следует приступить к ней с расспросами, то в конце концов она, быть может, признается, что в глубине души не питает к вам отвращения. У вас на пальце кольцо, которое подошло бы ей наилучшим образом, потому что рука у вас так же мала, как и у нее, и я почти уверена, что Розетта с удовольствием примет от вас это кольцо.

Милая дама смолкла, пытаясь понять, какое действие надо мной возымели ее слова, и не знаю уж, осталась ли она довольна выражением моего лица. Я была в жестоком затруднении и не знала, что отвечать. С самого начала этого разговора я поняла, куда клонят ее намеки; но хотя я почти готова была к тому, что она мне сейчас сказала, а все-таки услышанное поразило меня и привело в замешательство; я могла ответить лишь отказом; но какие достойные причины привести в объяснение отказу? У меня не было наготове ни одной, не считая того, что я женщина: причина и впрямь бесподобная, но именно ее-то я и не желала предать огласке.

Я не могла в оправдание сослаться на жестоких родителей-самодуров: любые родители в мире с упоением согласились бы на подобный брачный союз. Не будь Розетта таким совершенством, ее происхождение и восемьдесят тысяч ливров ренты устранили бы любые помехи. Сказать, что я ее не люблю, было бы и неверно, и непорядочно, на самом деле я очень ее любила, больше, чем обычно женщина любит женщину. Я была слишком молода, чтобы утверждать, что слово уже связывает меня с другой невестой; и я рассудила, что лучше всего будет намекнуть, что я-де младший сын и семейные интересы повелевают мне вступить в мальтийский орден, что несовместимо с женитьбой, и с тех пор как меня познакомили с Розеттой, это обстоятельство печалит меня более всего на свете.

Такое объяснение ни к черту не годилось, и я сама прекрасно это понимала. Старая дама не попала на мою удочку и ничуть не поверила, что это и есть мой окончательный ответ; она решила, что я говорю так, чтобы оставить себе время на раздумья и на переговоры с родными. И впрямь, подобный союз представлял мне столько нечаянных преимуществ, что трудно было поверить, будто я от него откажусь, даже если бы во мне вовсе не было любви к Розетте: этот брак был бы огромной удачей, а такими вещами не пренебрегают.

Не знаю, сделала ли мне тетка это признание по наущению племянницы, но склоняюсь к мысли, что Розетта здесь была ни при чем: она любила меня слишком бесхитростно и горячо, чтобы думать о чем-нибудь помимо сиюминутного обладания, и наверняка ей в последнюю очередь пришло бы на ум прибегнуть к такому средству, как брачный союз. Вдовствующая аристократка, от которой не укрылось наше сближение, каковое она, несомненно, полагала куда более тесным, чем оно было на самом деле, сама составила этот план, чтобы удержать меня рядом и чтобы я заменила ей, насколько это возможно, ее дорогого сына Анри, убитого на войне, с которым она усматривала во мне столь поразительное сходство. Эта мысль полюбилась ей, и она, улучив мину ту, когда мы оказались наедине, затеяла объяснение. По ее виду я поняла, что она не считает себя побежденной и в скором времени собирается возобновить атаку, что было бы мне в высшей степени некстати.

Розетта со своей стороны тою же ночью предприняла последнюю попытку, которая привела к таким серьезным последствиям, что о них я тебе расскажу отдельно, поскольку это письмо, и без того чудовищно длинное, не в силах вместить еще одной истории. Увидишь, какие удивительные приключения были написаны мне на роду; воистину небеса заранее готовили меня к участи героини романа; не знаю, право, какую из этого можно вывести мораль, но жизнь — не басня, и каждый ее эпизод не снабжен хвостиком в виде зарифмованной сентенции. Часто весь смысл жизни сводится к тому, что жизнь — это не смерть. Вот и все. Прощай, дорогая моя, целую тебя в твои прекрасные глаза. Исправно буду отсылать тебе продолжение моей славной биографии.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Теодор, Розалинда — не знаю, каким именем вас называть, — только что я вас видел и пишу вам. Как бы мне хотелось знать ваше женское имя! Должно быть, оно слаще меда и порхает на губах нежнее и гармоничнее стихотворной строчки! Никогда бы я не отважился вам это сказать, но я умру, если не скажу. Никто не знает, что я выстрадал, никому этого не узнать, я сам лишь в малой степени способен это выразить; слова не передают подобной тоски; если бы я просто запечатлел то, что чувствую, в самых сдержанных выражениях, со стороны могло бы показаться, что я играю словами для забавы и лезу из кожи вон, чтобы найти выражения поновее и почуднее.

О Розалинда! Я вас люблю, я вас обожаю; почему не бывает слов еще более сильных! Я никогда не любил, никогда не обожал никого, кроме вас; я простираюсь ниц, я смиряюсь перед вами, и мне хотелось бы заставить все живое преклонить колена перед моим идолом; вы для меня превыше при роды, превыше меня самого, превыше Бога; мне странно, что Бог не сходит с небес, чтобы сделаться вашим рабом. Где вас нет, там все пустынно, все мертво, все черно; мир для меня населен вами одной: вы — жизнь, вы — солнце, вы — все. От вашей улыбки делается светло, от вашей печали — темно, горные сферы вторят движениям вашего тела, и небесная гармония соотнобразится с вами, моя возлюбленная королева, мой прекрасный сон наяву! Вы облечены сиянием и плывете, омытая лучезарным туманом.

Я знаю вас только три месяца, но люблю уже давно. Прежде чем увидеть вас, я уже изнывал от любви к вам; я звал, я искал вас и отчаивался, не встречая вас на своем пути, ибо знал, что никогда не смогу полюбить другую женщину. Сколько раз вы являлись мне — в окне таинственного замка, меланхолически облокотясь на перила и обрывая лепестки цветка, или в облике неистовой амазонки, галопом проносившейся сквозь темные лесные

аллеи верхом на вашем белоснежном турецком коне! То были ваши гордые и нежные глаза, прозрачные руки, прекрасные волнистые волосы и ваша полуулыбка, такая чарующе презрительная. Но только вы были не столь прекрасны, потому что самое пылкое и необузданное воображение, воображение художника и поэта, не в силах достичь той высшей поэзии, какую являет жизнь. В вас таится неисчерпаемый источник прелести, вечно бьющий ключ неотразимого очарования; вы — навсегда открытый ларец, полный бесценных жемчужин, и при малейшем движении, при самых машинальных жестах, в самых небрежных позах вы, что ни миг, с царственной щедростью рассыпаете вокруг неоценимые сокровища красоты. Если бы зыбкая волнистость очертаний, если бы мимолетный рисунок какой-нибудь позы могли застыть и сохраниться в зеркальном стекле, тогда зеркала, перед которыми вам довелось пройти, внушили бы нам презрение к самым дивным полотнам Рафаэля, которые напомнили бы нам вывеску кабаков.

Каждый жест, каждое выражение лица, каждый новый ракурс вашей красоты словно алмазным острием запечатлеваются в зеркале моей души, и ничто на свете не может изгладить этого глубокого отпечатка; я знаю, где была тень, а где — свет, где — неровность, на которую наводил глянец солнечный луч, а где — то место, в котором беглый отсвет истаивал среди более мягких оттенков шеи и щеки. Я нарисовал бы вас и не видя: ваш образ всегда передо мной.

Совсем еще ребенком я часы напролет простаивал перед картинами старых мастеров и жадно вглядывался в их темные глубины. Я смотрел на прекрасные лица святых и богинь, чья плоть, белизной сравнимая со слоновой костью или с воском, так волшебным выделялась на темном фоне, который из-за траченной временем краски был словно обуглен; я восхищался простотой и великолепием их облика, странным изяществом их рук и ног, горделивым и прекрасным выражением черт, одновременно столь тонких и столь непреклонных, пышностью драпировок, паривших вокруг их божественных форм — пурпурные складки этих драпировок, казалось, вытягивались, словно губы, чтобы поцеловать эти прекрасные тела. Я с таким упрямством силился проникнуть взглядом под покров мглы, сгустившейся на протяжении столетий, что зрение мое помрачалось, контуры предметов становились расплывчатыми, и все эти бледные призраки исчезнувшей красоты оживляла какая-то недвижная и мертвая жизнь; под конец мне начинало казаться, будто эти фигуры смутно похожи на прекрасную незнакомку, которую я люблю в глубине души; я вздыхал, думая, что мне, быть может, было суждено любить одну из них, ту, что умерла триста лет назад. Эта мысль нередко расстраивала меня до слез, и я впадал в великий гнев на самого себя за то, что не родился в шестнадцатом веке, когда жили все эти красавицы. Я считал, что это с моей стороны непростительная оплошность и неловкость.

По мере того как я взрослел, сладостный призрак преследовал меня все упорнее. Он всегда стоял между мною и женщинами, которые делались моими возлюбленными, он улыбался иронической улыбкой и совершенством своей небесной, красоты посрамлял их земную миловидность. Он всегда превращал в дурнушек женщин воистину очаровательных и созданных, чтобы осчастливить того, кто не влюблен в эту милую тень, о которой я думал, что это только тень, лишенная плоти, и которая на самом деле была лишь предчувствием вашей собственной красоты. О Розалинда! Как несчастлив я был из-за вас, пока не познакомился с вами! О Теодор! Как несчастлив я был из-за вас после того, как познакомился с вами! Если пожелаете, вы можете подарить мне рай моих грез. Вы стоите на пороге, как ангел-привратник, запахнувшись в свои крылья, и держите в прекрасной руке ключ от этого рая. Скажите, Розалинда, скажите мне, вы согласны?

Жду от вас только одного слова, жить мне или умереть, — произнесете ли вы его?

Кто вы, Аполлон, изгнанный с небес, или белоснежная Афродита, выходящая из лона морского? Где оставили вы свою усыпанную камнями колесницу, запряженную четверкой огненных коней? Куда девали свою перламутровую раковину и дельфинов с лазурными хвостами? Какая влюбленная нимфа сплавила свое тело с вашим в лобзании, о прекрасный юноша, прелестью превзошедший Кипариса и Адониса, затмивший всех женщин своим очарованием?

Но вы женщина, ведь времена метаморфоз миновали; Адонис и Гермафродит умерли, и ни одному из мужчин не достичь более таких вершин красоты, ибо с тех пор, как нет более богов и героев, только вы, женщины, храните в ваших мраморных телах, как в греческих храмах, бесценный дар формы, который был предан проклятию Христом, и воочию доказываете, что земле не в чем завидовать небесам; вы достойно представляете первое в мире божество, чистейший символ непреходящей основы мироздания — красоту.

С тех пор как я вас увидел, что-то надорвалось во мне, упал покров, отворилась дверь, и я почувствовал, как меня изнутри залили волны света; я понял, что передо мной моя жизнь и что я подошел наконец к решающему распутию. Неясные и тонувшие в сумраке черты полуосвещенного лица, которые я силился разглядеть, внезапно озарились; потемневшие краски, затопившие было фон картины, залило мягкое свечение; нежный розовый свет растекся по слегка позеленевшему ультрамарину задних планов; деревья, казавшиеся расплывчатыми силуэтами, вдруг стали видны отчетливей; цветы, отягощенные росой, алмазными точками прорезали тусклую зелень травы. Я увидел красногрудого снегиря на веточке бузины, маленького белого кролика с розовыми глазами, с ушами торчком, выставившего голову меж двух стебельков тимьяна и трущего мордочку лапками, увидел боязливого оленя, который идет к источнику напиться и клонит ветвистые рога к зеркальной воде. С того утра, когда над моей жизнью взошло солнце любви, все переменилось; где прежде колебались в тени едва различимые очертания, такие смутные, что казались ужасными и безобразными, там теперь обнаружились изысканные купы деревьев в цвету; там великолепными амфитеатрами круглятся холмы, там серебряные дворцы с террасами, уставленными вазами и статуями, омывают свои подножия в лазурных озерах и словно плавают между двух небес; то, что я в темноте принимал за гигантского дракона с крючковатыми крыльями, ползавшего в ночи на своих чешуйчатых лапах, обернулось фелукой под шелковым парусом, с расписными золочеными веслами, полной женщин и музыкантов, а тот чудовищный краб, который, как мне казалось, шевелил у меня над головой своими клешнями и усами, оказался веерной пальмой, и ночной ветерок колеблет ее узкие длинные листья. Мои химеры и заблуждения развеялись: я люблю.

Отчаявшись когда-нибудь найти вас, я обвинял свою мечту во лживости и затевал яростные ссоры с судьбой; я говорил себе, что безумием было искать подобное существо или что природа чересчур бесплодна, а Творец чересчур неискусен, коль скоро они не в силах воплотить простой замысел моего сердца. Та же благородная гордость была присуща Прометею, пожелавшему сотворить человека и вступить в соперничество с Богом; а я сотворил женщину и верил, что в наказание за такую дерзость печень мою, подобно новому коршуну, будет вечно терзать неутолимое желание; я ожидал, что меня прикуют алмазными цепями к покрытой снегом вершине на берегу пустынного Океана, но прекрасные морские нимфы с длинными зелеными волосами, вздымающие над волнами острые белые груди и являющие солнцу перламутровые тела, по которым струятся соленые морские брызги, не приплывут и не облокотятся на берег, чтобы поболтать со мной и утешить в муках, как в пьесе старика Эсхила. Однако все вышло совсем иначе.

Пришли вы — и вынудили меня упрекнуть свое воображение в том, что оно бессильно. Пытка моя оказалась не та, какой я опасался, — навеки оставаться прикованным к

бесплодной скале и снедаемым одной и тою же мыслью; но страдал я от этого не меньше. Я убедился, что вы существуете на самом деле, что предчувствия не обманули меня; но вы явились мне во всеоружии двусмысленной и чудовищной красоты Сфинкса. Подобно Изиде, таинственной богине, вы были окутаны покрывалом, которое я не смел приподнять из страха упасть мертвым.

Если бы вы знали, с каким нетерпеливым и беспокойным вниманием, прятаясь за напускной рассеянностью, я наблюдал за вами и следил за мельчайшими вашими движениями! От меня не ускользало ничто; как пылко я вглядывался в узенькую полоску тела на вашей шее или у вас на запястье, остававшуюся открытой, и пытался разгадать ваш пол! Ваши руки были для меня предметом дотошного изучения, и я могу сказать, что знаю их до мельчайших изгибов, знаю самые неразличимые для глаза прожилки, самые крохотные ямочки; будь вы с головы до ног закутаны в самое плотное домино, я признал бы вас по одному-единственному пальцу. Я разбирал ваши волнообразные движения при ходьбе, вашу манеру ставить ногу на пол, откидывать волосы; я пытался вызнать ваш секрет по привычкам, свойственным вашему телу. Больше всего я подглядывал за вами в часы неги, когда тело кажется лишенным костей, когда руки и ноги расслабляются и гнутся, словно тряпичные, — я ждал, не обозначатся ли женственные линии под влиянием забытья и беспечности. Никогда никого не пожирали столь пламенным взглядом, как вас.

Я на целые часы погружался в это созерцание. Забывшись в уголок гостиной с книгой в руках, которую и не думал читать, или притаившись за шторой у себя в комнате, когда вы оставались у себя и жалюзи у вас на окне были подняты, я говорил себе, пронзенный насквозь чудесной красотой, которая исходит от вас, окружая вас каким-то лучезарным ореолом: «Конечно, это женщина», — а потом вдруг резкое, смелое движение, какая-нибудь мужская бесцеремонная интонация мгновенно разрушали хрупкое здание вероятностей, которые я возвел, и ввергали меня в прежние сомнения.

Распустив паруса, я блуждал в безбрежном океане любовных грез, а вы заходили за мной, чтобы вместе пофехтовать или поиграть в мяч; юная девушка, преобразившись в юного кавалера, наносила мне чудовищные удары палкой и выбивала рапиру у меня из рук быстро и ловко, как самый искушенный мастер клинка; и такое разочарование повторялось по сто раз на дню.

Бывало, хочу приблизиться к вам и сказать: «Моя дорогая красавица, я вас обожаю!» — и вижу, как вы нежно склонились к ушку одной из дам и нашептываете ей сквозь локоны мадригал за мадригалом, комплимент за комплиментом. Вообразите мое положение. Или какая-нибудь женщина, с которой в приступе своеобразной ревности я с величайшим упоением содрал бы кожу живьем, опирается на вашу руку и тащит вас в сторону, чтобы поверять вам невесть какие ребяческие тайны, и целые часы напролет торчит с вами в оконной нише,

Я исходил от ярости, видя, что с вами говорят женщины, так как это убеждало меня в том, что вы мужчина, а окажись вы и впрямь мужчиной, я был бы обречен на нестерпимые пытки. Когда же к вам развязно и непринужденно приближались мужчины, я ревновал еще пуще: я думал, что вы женщина, и они могут догадаться об этом так же, как я; меня обуревали самые противоречивые страсти, и я не знал, на чем остановиться.

Я злился на самого себя, осыпал себя самыми жестокими упреками за то, что до такой степени терзаюсь подобной любовью и не нахожу сил вырвать из сердца это ядовитое растение, которое выросло там в одну ночь, подобно смертоносному грибу; я проклинал вас, называл своим злым гением; на миг я даже поверил, что вы — Вельзевул собственной персоной, ибо я не мог объяснить себе ощущения, которые испытывал вблизи вас.

Стоило мне уговорить себя, что вы на самом деле переодетая женщина, как сразу неправдоподобие мотивов, коими я силился оправдать подобный каприз, вновь погружало меня в неуверенность, и я опять скорбел о том, что обликом, который в мечтах я приписывал той, кого полюбит моя душа, наделен человек одного пола со мной; я винил случай, который одарил мужчину такой обольстительной внешностью и, к неизбывному моему несчастью, подстроил мне встречу с ним в тот миг, когда я уже перестал надеяться, что увижу во плоти абсолютную идею прекрасного, которую так долго лелеял в сердце.

Теперь, Розалинда, я глубоко убежден, что вы — прекраснейшая из женщин; я видел вас в платье, присущем вашему полу, я видел ваши плечи и руки с их такими чистыми, такими безукоризненными округлостями. Та часть груди, что виднелась из-под вашей косынки, может принадлежать лишь юной, девушке: ни у прекрасного охотника Мелеагра, ни у изнеженного Вакха с их наводящими на сомнения формами никогда не бывало ни такой пленительной стати, ни такой нежной кожи, хотя оба они изваяны из паросского мрамора и за два тысячелетия отполированы поцелуями влюбленных. В этом смысле терзания мои прекратились. Но это еще не все: пускай вы женщина, и в моей любви нет более ничего предосудительного; я могу покориться ей и вверить себя потоку, влекущему меня к вам; как бы ни была велика и безудержна страсть, которую я к вам питаю, она дозволена, и я могу признаться в ней; но вы-то, Розалинда, вы, из-за которой я молча горел в огне, вы, не подозревавшая о беспредельности моей любви, вы, кого мое запоздалое признание, быть может, лишь удивит, — вы не питаете ко мне ненависти, вы меня любите, вы можете меня полюбить? Не знаю — и трепещу, и чувствую себя еще более несчастным, чем раньше.

Иной раз мне кажется, что я не противен вам; когда мы играли «Как вам это понравится», вы вкладывали в некоторые места вашей роли странную интонацию, усиливавшую их смысл и, пожалуй, побуждавшую меня к объяснению. Мне почудилось, что я вижу в ваших глазах и улыбке великодушное обещание снисходительности, и я почувствовал, как ваша рука отвечает моей пожатием. Если я ошибся... Боже! Страшно подумать, что тогда. Ободренный всеми этими знаками и прищипориваемый любовью, я написал вам, ибо платье, которое вы носите, так мало располагает к подобным признаниям, что слова тысячи раз замирали у меня на устах; пускай я знаю и твердо убежден в том, что обращаюсь к женщине, — мужской наряд отпугивал все мои нежные влюбленные мысли и не пускал их полететь к вам.

Умоляю вас, Розалинда, если вы меня еще не любите, постарайтесь меня полюбить: ведь я полюбил вас наперекор всему, под покровом, которым вы были окутаны, конечно, из жалости к нам; не ввергайте меня на всю оставшуюся жизнь в самое жестокое отчаяние и в самое угрюмое разочарование; подумайте о том, что я обожаю вас с тех пор, как первый луч сознания забрезжил у меня в голове; что вы заранее были явлены мне в откровении, и когда я был совсем еще мал, вы, увенчанная короной из капелек росы, в грезах прилетали ко мне на радужных крыльях и с голубым цветком в руке; что вы — цель, порука и смысл моей жизни; что без вас я только пустая видимость, и если вы задуете огонь, который сами же затеплили, во мне останется только щепотка пепла, мелкого, неосязаемого пепла, каким припудрены крылья смерти. Розалинда, вы, знающая столько рецептов для исцеления любовной хвори, — излечите меня, ибо я очень болен; доиграйте вашу роль до конца, сбросьте одежды прекрасного Ганимеда и протяните вашу белую руку младшему сыну храброго рыцаря Роланда де Буа.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я сидела у окна и занималась тем, что смотрела на звезды, весело расцветавшие на небесных клумбах, и вдыхала аромат флоксов, который доносил до меня замирающий ветерок. Окно было открыто, и сквозняк задул мою лампу, последнюю, которая еще светила в замке. Мои раздумья перетекали в смутные грезы, понемногу мною овладела какая-то сонливость, однако я все продолжала сидеть, облокотясь на каменную балюстраду, замороженная не то очарованием ночи, не то беспечностью, не то забвением. Розетта, видя, что лампа у меня погасла, и не имея возможности меня разглядеть, поскольку прямо на мое окно падала тень от стены, решила, несомненно, что я уже в постели — она только того и дожидалась, чтобы отважиться на последнюю отчаянную попытку. Она так тихо отворила дверь, что я не слыхала, как она вошла, и прежде, чем я ее заметила, очутилась в двух шагах от меня. Ее очень удивило, что я еще не в постели, но, быстро оправившись от изумления, она подошла ко мне, взяла за руку и дважды назвала по имени:

— Теодор, Теодор!

— Как! Это вы, Розетта, здесь, в такое время, совсем одна, впотьмах, совершенно в дезабиле?

Надо тебе сказать, что на красавице была только ночная накидка из тончайшего батиста и неотразимая сорочка, отделанная кружевами, та самая, которую я не пожелала увидеть в день достославной сцены в лесном павильоне. Руки, гладкие и холодные, как мрамор, были совершенно обнажены, а полотно, прикрывавшее тело, было такое тонкое и прозрачное, что сквозь него просвечивали бутоны груди, точь-в-точь как у мраморных купальщиц, если бы их завернули в мокрые покрывала.

— Уж не упрекаете ли вы меня в этом, Теодор? Или это дань риторике? Да, это я, Розетта, прекрасная дама, здесь, в вашей спальне, а не в своей, где мне следовало бы находиться, в одиннадцать часов вечера, а возможно, и в полночь, без дуэньи, без компаньонки, без горничной, почти обнажена, в простом ночном пеньюаре, — весьма удивительно, не правда ли? Я поражена этим не меньше вашего и не очень понимаю, как объяснить вам свое появление.

С этими словами она одной рукой обняла меня и упала в изножие кровати, увлекая меня за собой.

— Розетта, — сказала я, пытаюсь вырваться, — пойду попробую зажечь лампу; нет ничего более унылого, чем темнота в комнате; и потом, когда вы здесь, ничего толком не видеть и лишать себя зрелища вашей красоты значит совершать сущее злодеяние! С вашего позволения я воспользуюсь куском трута и спичкой, чтобы сотворить маленькое переносное солнце, которое явит моим глазам все, что прячет от них в своем сумраке ревнивая ночь.

— Не нужно; я не хочу, чтобы вы видели, как я краснею; я чувствую, что щеки у меня так и горят, потому что мне до смерти стыдно. — Она порывисто уткнулась лицом мне в грудь и на несколько минут замерла, словно задохнувшись от смущения.

Я тем временем машинально перебирала пальцами длинные локоны ее распущенных волос; в мыслях я напряженно искала какую-нибудь пристойную лазейку, чтобы выбраться из этого мучительного положения, но ничего не могла придумать, потому что меня загнали в угол, и Розетта, казалось, твердо решила не уходить из комнаты ни с чем.

Одета она была с отважной беззастенчивостью, что не сулило ничего хорошего. Я и сама была только в распахнутом халате, не слишком надежно защищавшем мое инкогнито, и потому исход баталии изрядно меня беспокоил.

— Выслушайте меня, Теодор, — сказала Розетта, приподнявшись и убирая волосы с лица, смутно видневшегося в слабом свете звезд и тоненького серпа восходившей луны, который проникал в комнату сквозь открытое окно. — Мой поступок может показаться странным, его осудит кто угодно. Но вы скоро уедете, а я вас люблю! Я не могу отпустить вас просто так, не объяснившись. Может быть, вы никогда не вернетесь; может быть, мы свиделись с вами в первый и последний раз. Кто знает, куда вы держите путь? Но куда бы вы ни уехали, вы увезете с собой мою душу и мою жизнь. Если бы вы остались, я не дошла бы до такой крайности. Мне бы довольно было блаженства видеть вас, слышать вас, жить рядом с вами, и о большем бы я не мечтала. Я замкнула бы любовь в своем сердце; вы бы верили, что я для вас не более чем добрый искренний друг, — но это невозможно. Вы говорите, что вам непременно надо уехать. Вам неприятно, Теодор, что я привязана к вам, как влюбленная тень, которая может лишь ходить за вами и хотела бы слиться с вами воедино; вам, должно быть, не нравится, что за вами все время следят умоляющие глаза и тянутся руки, жаждущие вцепиться в край вашего плаща. Я это знаю, но ничего не могу с собой поделать. И потом, вы не вправе жаловаться: все это из-за вас. Я жила спокойно, безмятежно, почти счастливо, пока не узнала вас. И вот вы приезжаете — красивый, юный, приветливый, похожий на обольстительного бога Феба. Вы дарите мне самые усердные заботы, самое утонченное внимание; никогда не бывало на свете более обаятельного и галантного кавалера. С ваших уст всякую минуту слетали розы и рубины; все оказывалось для вас поводом для мадригала; вы умеете произнести совсем незначущую фразу с таким видом, что она превращается в чарующий комплимент. Женщина, которая с самого начала смертельно вас возненавидела, — и та в конце концов полюбила бы вас, а я вас полюбила в тот самый миг, как увидела. Почему же вы, столь достойный любви, удивляетесь, что вас так любят? Ведь это совершенно естественно! Я не сумасбродка, не ветреница, не романтическая барыня, готовая влюбиться в первую встречную шпагу. Я умею держать себя в обществе, знаю жизнь. Всякая женщина на моем месте, даже самая добродетельная или самая неприступная, поступила бы так же, как я. Какой умысел, какие намерения вы питали? Понравиться мне, полагаю, ибо не нахожу другого ответа. Почему же вы как будто недовольны тем, что это вам так блестяще удалось? Может быть, я невольно сделала что-нибудь, что очень вам не понравилось? В таком случае прошу у вас прощения. Может быть, вы уже не находите меня красивой или обнаружили во мне какой-нибудь отталкивающий изъян? Вы вправе быть разборчивым по части красоты, но одно из двух: или вы лгали, непонятно зачем, или я тоже недурна собой! Я так же молода, как вы, и я вас люблю; почему же вы пренебрегли мною? Вы так за мной увивались, с такой неотступной заботой поддерживали за локоть, так нежно пожимали мне руку, когда я не отнимала ее от вашей, так томно поднимали веки, взглядывая на меня; если вы меня не любили, к чему тогда были все эти уловки? Или вы, чего доброго, так жестоки, что заронили в мое сердце любовь, чтобы потом потешаться надо мной? Ах, это было бы чудовищным надругательством, кощунством, святотатством! Такие развлечения годятся лишь для порочной души, и я не могу поверить, что вы таковы, хоть ваше поведение и необъяснимо. В чем же причины столь внезапного крутого поворота? Я просто теряюсь в догадках. Какую тайну скрывает ваша холодность? Я не верю, что вы питаете ко мне отвращение; все ваши поступки доказывают, что это не так, потому что невозможно столь настойчиво ухаживать за женщиной, в которой все вам противно. Что вы затаили против меня, Теодор? Что я вам сделала? Пускай любовь, которую вы, казалось, питали ко мне, развеялась, — моя-то, увы, осталась при мне, и я не в силах вырвать ее из сердца. Сжальтесь надо мной, Теодор, я очень несчастна. Притворитесь хотя бы, что вы меня немного любите, и скажите мне какие-нибудь

ласковые слова; вам это недорого обойдется, если только я не вызываю у вас непобедимого омерзения...

В этом патетическом месте голос ее совершенно пресекался от рыданий; она вцепилась обеими руками в мое плечо и прижалась к нему лбом в позе беспредельного отчаяния. Все, что она говорила, было донельзя справедливо, и у меня не было в запасе никакого убедительного ответа. Я не могла принять легкий, насмешливый тон. Это было бы неуместно. Розетта была не из тех, с кем можно обращаться так небрежно, да и я была слишком растрогана для этого. Я чувствовала себя виноватой в том, что играла сердцем прелестной женщины, и испытывала мучительное, искреннее раскаяние.

Не дождавшись ответа, она тяжело вздохнула и попыталась было подняться, но вновь упала на постель, обессиленная волнением; потом она обняла меня обеими руками, прохлада которых проникла сквозь мою одежду, прижалась лицом к моему лицу и беззвучно заплакала.

До чего же странно мне было чувствовать, как по моей щеке струится неисчерпаемый поток слез, вытекающих из чужих глаз! Вскоре к ним добавились мои слезы, и воистину, этот соленый ливень, продлившись он сорок дней, непременно привел бы к новому потоку.

В этот миг свет луны упал прямехонько в мое окно; ее бледный луч проник в комнату и залил голубоватым светом два безмолвных изваяния — меня и Розетту.

В белом пеньюаре, с обнаженными руками и неприкрытой грудью, почти такой же белой, как ее белье, с разметающимися волосами и горестным выражением лица, Розетта была похожа на алебастровую статую Меланхолии, восседающей на надгробии. Что до меня, не знаю уж, на что я была похожа: сама себя я видеть не могла, а зеркала, чтобы отразить мое лицо, там не было, но сдается мне, что я вполне могла бы позировать для статуи, олицетворяющей Нерешительность.

В волнении я погладила Розетту по голове нежнее обычного; с волос моя рука опустилась к бархатистой шее, а оттуда на округлое и гладкое плечо, слегка поглаживая его и следуя вдоль его трепещущих очертаний. Малютка вибрировала под моими прикосновениями, как клавесин под пальцами музыканта; плоть ее трепетала и бурно вздрагивала, и по всему ее телу пробежал любовный озноб.

Я сама чувствовала смутное и неясное желание, цель которого не в силах была определить, и, прикасаясь к этим чистым и нежным формам, чувствовала, как меня охватывает сладострастная истома. Я отпустила ее плечо и, скользнув по впадине, внезапно стиснула в руке ее маленькую испуганную грудь, которая билась в смятении, словно голубка, застигнутая в гнезде. От самого края ее щеки, коснувшись его чуть ощутимым поцелуем, мои губы добрались до ее полураспахнутого рта; на некоторое время мы замерли. Не знаю, право, сколько это длилось — две минуты, четверть часа, час; я полностью утратила представление о времени, я не знала, на небе я или на земле, здесь или в другом месте, жива или мертва. Хмельное вино сладострастия так ударило мне в голову с первого же глотка, что я пила, пока все остатки рассудительности меня не покинули. Розетта все крепче обвивала меня руками, все теснее припадала ко мне всем телом; она судорожно льнула ко мне и прижимала меня к своей обнаженной задыхающейся груди; казалось, с каждым поцелуем к тому месту, которого коснулись мои губы, приливалась вся ее жизнь, отхлынув от остального тела. Станные мысли теснились у меня в голове; если бы я не боялась нарушить свое инкогнито, я уступила бы страстным порывам Розетты и, может быть, отважилась бы на какую-нибудь тщетную и безрассудную попытку, чтобы придать видимости правдоподобия этому призраку наслаждения, который так пылко лелеяла моя прекрасная обожательница; у меня еще не

было возлюбленного, и эти настойчивые атаки, нетерпеливые ласки, прикосновение прекрасного тела, нежные прозвища попеременно с поцелуями повергали меня в неопишное смятение, хоть исходили они от женщины; и потом, ночное посещение, романтическая страсть, лунный свет — все это обладало для меня свежестью и очарованием, заставившими меня забыть о том, что, в конце концов, я все-таки не мужчина.

Между тем, совершив чудовищное усилие, я сказала Розетте, что она непоправимо губит свое доброе имя, явившись ко мне в комнату в такое время и оставаясь у меня так долго; что служанки могут ее хватиться и обнаружить, что она провела ночь не у себя.

Но все это прозвучало у меня так вяло, что вместо ответа она сбросила батистовую накидку и домашние туфельки и юркнула ко мне в постель, словно уж — в крынку с молоком; она вообразила, что лишь одежда мешает мне перейти к более решительным действиям и что в этом и заключается единственное препятствие. Она надеялась, бедняжка, что заря любви, к которой она с такими трудами готовилась, наконец-то займется и для нее; но до зари было далеко: пробило только два часа ночи. Положение мое было донельзя критическое, но тут дверь повернулась на петлях и пропустила шевалье Алкивиада собственной персоной; в одной руке он держал свечу, в другой шпагу.

Он прошел напрямик к постели, откинул одеяло и, поднеся свечу к самому носу смущенной Розетты, насмешливо произнес: «Добрый день, сестра!» Несчастная Розетта в ответ не в силах была вымолвить ни слова.

— Сдается мне, дражайшая и добродетельнейшая сестрица, вы в мудрости вашей рассудили, что постель у сеньора Теодора помягче вашей, и решили в нее перебраться? Или в спальне у вас водятся привидения и вам показалось, что в этой комнате, под защитой вышеозначенного сеньора, вы будете в большей безопасности? Недурно придумано! А вы, господин шевалье де Серанн, вы строили глазки госпоже нашей сестрице и воображали, что вам это сойдет с рук. Полагаю, что недурно было бы нам с вами для разнообразия потыкаться друг в друга шпагой, и ежели вы окажете мне таковую любезность, я буду вам бесконечно признателен. Теодор, вы злоупотребили дружбой, которую я к вам питал, и вынуждаете меня раскаться в том, что я составил поначалу столь доброе мнение о благородстве вашей натуры; нехорошо, нехорошо.

У меня не было никаких серьезных оправданий; очевидность свидетельствовала против меня. Кто бы мне поверил, скажи я, как то было в действительности, что Розетта явилась ко мне в комнату вопреки моей воле и что я, отнюдь не стремясь ей понравиться, делала все от меня зависящее, чтобы ее оттолкнуть? Я могла сказать только одно — и я это сказала:

— Сеньор Алкивиад, мы потыкаем друг в друга шпагой, коль скоро вы того желаете.

Во время этих словопрений Розетта, свято блюдя правила патетики, не преминула лишиться чувств; я взяла хрустальный кубок, до краев полный воды, в которую был погружен стебель крупной, наполовину облетевшей белой розы, и брызнула красавице в лицо несколько капель, чем мгновенно привела ее в чувство.

Не понимая толком, какую линию поведения избрать, она забилась в альков и зарыла свою хорошенькую головку в одеяло, подобно птичке, готовящей себя ко сну. Она нагромодила вокруг себя такой ворох подушек и простыней, что трудно было разобрать, кто прячется под этой горой; только робкие мелодичные вздохи, время от времени долетавшие из укрытия, позволяли догадаться, что там затаилась юная грешница,

раскаявшаяся или, вернее, крайне рассерженная тем, что согрешила лишь в намерениях, а не на самом деле, поскольку именно эта беда и приключилась с незадачливой Розеттой.

Господин брат, не обращая более на сестру ни малейшего внимания, возобновил беседу и сказал мне уже мягче:

— Нам нет никакой необходимости закалывать друг друга немедленно: это крайнее средство, и к нему мы всегда успеем прибегнуть. Послушайте, силы наши неравны. Вы совсем молоды и куда более слабее меня; если мы будем драться, я наверняка убью вас или изувечу, а я не хотел бы ни лишать вас жизни, ни наносить урон вашей внешности — это было бы жаль; Розетта, которая затаилась под одеялом и помалкивает, никогда бы мне этого не простила; ведь если уж эта милая и кроткая голубка разгневается, она бывает свирепа и злопамятна, как тигрица. Вы этого не знаете: вы для нее принц Галаор, и вам достаются только очаровательные нежности, но в гневе она и впрямь опасна. Розетта свободна, вы тоже; судя во всему, между вами нет непримиримой вражды; вдовый траур ее вот-вот закончится, и все устраивается как нельзя лучше. Женитесь на ней; ей не придется уходить спать к себе в комнату, а я буду избавлен от необходимости превратить вас в ножны для моей шпаги, что не доставило бы удовольствия ни вам, ни мне; как вы на это смотрите?

Должно быть, я состроила чудовищную гримасу: ведь то, что он мне предлагал, было совершенно не в моих силах; мне легче было бы прогуляться по потолку на четвереньках, подобно мухам, или достать солнце с неба без помощи стремянки, чем сделать то, о чем он меня просил; при всем при том второе предложение было, бесспорно, привлекательнее первого.

Казалось, он был поражен тем, что я не спешу изъявить согласие, — и повторил свое предложение, словно желая дать мне время собраться с мыслями для ответа.

— Союз с вашей семьей был бы для меня величайшей честью, на которую я никогда не осмелюсь притязать: я знаю, что это неслыханная удача для юноши, у которого нет еще за душой ни титулов, ни положения в свете; а между тем самые выдающиеся люди были бы счастливы оказаться на моем месте; однако я могу лишь упорствовать в своем отказе, и коль скоро я волен выбирать между дуэлью и женитьбой, предпочитаю дуэль. Возможно, у меня странный вкус, и немногие бы со мной согласились, но о вкусах не спорят.

Тут Розетта разразилась самыми безутешными рыданиями, выставила голову из-под подушки, но, видя, что я храню непреклонность и невозмутимость, тотчас втянула ее обратно, как улитка, которую щелкнули по рожкам.

— Я не то чтобы не любил госпожу Розетту: я люблю ее безгранично, но по некоторым причинам не могу жениться, и если бы я мог назвать вам эти причины, вы сами признали бы их бесспорность. Впрочем, дело зашло вовсе не так далеко, как можно подумать, исходя из очевидности; если не считать нескольких поцелуев, которые вполне объяснимы и извинимы дружбой, возможно, несколько пылкой, между нами не произошло ничего такого, в чем нельзя было бы признаться, и добродетель вашей сестры осталась в безупречной целостности и сохранности. — Засвидетельствовать это я считала своим долгом. — А теперь, господин Алкивиад, в каком часу вам угодно драться и в каком месте?

— Здесь и немедленно, — вне себя от гнева взревел Алкивиад.

— Да что вы! При Розетте?

— Обнажи шпагу, негодяй, а не то я убью тебя на месте! — отвечал он, потрясая шпагой над головой.

— Давайте хотя бы уйдем из комнаты.

— В позицию, если не хочешь, чтобы я пригвоздил тебя к стене, как летучую мышь, мой прекрасный Селадон, и тогда уж, сколько ни хлопай крыльями, так и знай: тебе не упорхнуть. — И он ринулся на меня с занесенной шпагой.

Я выхватила свою рапиру, поскольку ничего другого мне не оставалось, и поначалу довольствовалась тем, что парировала его выпады.

Розетта, сделав нечеловеческое усилие, попыталась броситься между нами, поскольку оба соперника были ей одинаково дороги, но силы ей изменили, и она без сознания рухнула на постель.

Два-три раза Алкивиад чуть не задел меня, и, не будь я превосходной фехтовальщицей, моя жизнь подверглась бы крайней опасности, потому что он был наделен удивительной ловкостью и сказочной силой. Он испробовал все хитрости и финты, известные в искусстве клинка, пытаясь меня поразить. Придя в ярость от того, что ему это не удавалось, он несколько раз раскрылся; я не желала этим злоупотреблять, но он все нападал и нападал на меня с таким свирепым и жестоким озлоблением, что мне пришлось воспользоваться лазейкой, которую он мне ненароком оставил; и потом, лязганье стали и завывающиеся вихрем блики на клинках опьяняли и ослепляли меня. О смерти я не думала, мне ничуть не было страшно; тонкое смертоносное острие, ежесекундно возникавшее у меня перед глазами, производило на меня не большее впечатление, чем если бы мы фехтовали на рапирах с шишечками на концах; я лишь негодовала на жестокость Алкивиада, и негодование мое подогревалось тем, что я не чувствовала за собой никакой вины. Я хотела просто кольнуть его в руку или в плечо, чтобы он выпустил шпагу, потому что выбить ее мне не удавалось. Запястье у него было железное, и сам черт не заставил бы его разжать пальцы.

Наконец он сделал столь мощный и глубокий выпад, что мне лишь наполовину удалось его парировать; шпага проткнула мне рукав, и я ощутила рукой холодок стали; правда, ранена я не была. Тут меня охватил гнев, и вместо того, чтобы защищаться, я перешла в наступление; я уже не думала о том, что передо мной брат Розетты, и набросилась на него, как на заклятого врага. Воспользовавшись неправильным положением его шпаги, я ловким ударом проткнула ему бок; он хрипло вскрикнул и повалился навзничь.

Я решила, что он убит, но на самом деле он был только ранен, а упал просто потому, что споткнулся, когда пытался отступить, чтобы парировать. Я не в силах, Грациоза, выразить тебе свои тогдашние ощущения; само собой, нетрудно было догадаться, что, если поразить человеческую плоть тонким и острым клинком, то сделаешь в ней дыру, из которой брызнет кровь. Однако я окаменела, видя, как по камзолу Алкивиада текут алые струйки. Я, конечно, не думала, что из него посыплется труха, как из распоротого живота куклы, но верно и то, что ни разу в жизни я не испытывала такого великого изумления, и мне почудилось, что со мной произошло нечто неслыханное.

Неслыханно было, насколько мне показалось, не то, что из раны течет кровь, а то, что эту рану нанесла я и что девушка моего возраста (я настолько вжилась в роль, что чуть не написала — юноша...) уложила на месте такого могучего вояку, искушенного в фехтовании, как сеньор Алкивиад: и всей-то моей вины было обольщение да вдобавок еще отказ жениться на богатой и очаровательной женщине!

Воистину, я угодила в жестокую передрагу; сестра в обмороке, брат мертв {так я считала), а сама я вот-вот лишусь чувств или отдам Богу душу, как первая или второй. Я вцепилась в шнурок звонка и подняла такой трезвон, который разбудил бы и мертвого; затем, предоставив бесчувственной Розетте и бездыханному Алкивиаду объяснять все происшедшее слугам и старой тетке, я отправилась прямым ходом в конюшню. Воздух привел меня в сознание; я вывела своего коня, сама оседлала и взнуздала его, проверила, хорошо ли натянуты пахви, в порядке ли узда; отпустила стремяна на одинаковую длину, на одну дырочку туже подтянула подпругу — короче, снарядила животное с таким тщанием, какого трудно было ожидать в такую минуту, и со спокойствием, воистину непостижимым после недавнего поединка.

Я вскочила в седло и по известной мне тропинке выехала из парка. Ветви деревьев, усыпанные росой, хлестали меня по лицу, и оно вскоре стало мокрым; казалось, старые деревья простирают руки, чтобы удержать меня и вернуть к влюбленной владелице замка. Будь я в другом расположении духа или склонна к суевериям, мне ничего не стоило бы вообразить, что это привидения, которые хотят меня схватить и грозят мне кулаками.

Но на самом деле на уме у меня не было ни одной мысли — ни этой, ни какой-либо другой; мозг мой был охвачен свинцовым оцепенением, таким тяжким, что я едва сознавала происходящее; он давил на меня, как слишком тесная шапка, мне только помнилось, что здесь я убила кого-то и потому уезжаю. Вдобавок мне чудовищно хотелось спать, быть может, потому, что час уже был поздний, быть может, напряжение чувств, которое я перенесла вечером, повлекло за собой телесный упадок и утомило меня физически.

Я добралась до маленькой калитки, выходившей в поля и запиравшейся на потайной замок, который показала мне Розетта во время наших прогулок. Я спешила, нажала ручку и толкнула дверцу; затем вывела коня, вновь вскочила в седло и помчалась галопом, пока не достигла большой дороги, которая вела в С***; в это время уже начинало светать.

Вот наиправдивейшая и наиподробнеешая история моего первого любовного приключения и моей первой дуэли.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Когда я въехала в город, было пять часов утра. Дома уже начинали глазеть на улицы; достойные туземцы выставляли в окошки свои добродушные физиономии, увенчанные пирамидальными ночными колпаками. На цокот копыт моего коня, чьи подковы гулко стучали по неровному булыжнику мостовой, из-за каждой занавески выглядывали круглые, необыкновенно красные лица и по-утреннему бесстыдно обнаженные груди местных Венер, которые изошрялись в замечаниях по поводу столь необычного явления путешественника в городе С*** в такое время и в таком виде, ибо костюм мой был весьма скуден, и выглядела я по меньшей мере подозрительно. Я осведомилась, где постоялый двор, обратясь к маленькому сорванцу, у которого волосы падали на самые глаза, так что ему приходилось задирать свою рожицу, похожую на мордочку спаниеля, чтобы удобнее было меня рассмотреть; за муки я дала ему несколько су и добрый удар хлыста, от которого он бросился прочь, вереща, как ошипанная живьем сойка. Я упала на постель и заснула глубоким сном. Когда я проснулась, было три часа пополудни, и всего этого времени мне насилу хватило, чтобы как следует отдохнуть. И впрямь, не так уж это было

много после бессонной ночи, любовного приключения, дуэли и весьма поспешного, хоть и вполне удавшегося бегства.

Рана Алкивиада очень меня тревожила, но спустя несколько дней я совершенно успокоилась, узнав, что она не имела тяжких последствий и Алкивиад благополучно поправляется. Это сняло с моей души неизъяснимое бремя, ибо меня, на удивление, сильно терзала мысль, что я убила человека, хотя и поневоле, законным образом защищая себя. Тогда я еще не достигла того возвышенного равнодушия к человеческой жизни, которое пришло ко мне позже.

В С*** я вновь повстречала нескольких молодых людей из тех, с кем мы вместе путешествовали; это меня обрадовало, я сошлась с ними поближе, и они открыли мне доступ в несколько приятных домов. Я превосходно освоилась с мужским платьем, а более суровая и деятельная жизнь, которую я теперь вела, равно как упражнения в силе и ловкости, коим предавалась, сделали меня вдвое крепче. Я повсюду следовала за этими юными вертопрахами; скакала верхом, охотилась, учиняла вместе с ними кутежи, благо мало-помалу приучилась пить; не достигнув поистине германских талантов в этом деле, коими отличались некоторые из них, я все же выпивала две-три бутылки и не слишком пьянела — недурное достижение. С языка у меня не сходила самая замысловатая божба, и я весьма развязно целовала трактирных служанок. Словом, из меня получился образцовый молодой кавалер, как нельзя лучше отвечавший последним велениям моды. Я избавилась от кой-каких провинциальных представлений о добродетели, присущих мне прежде, и прочих подобных нелепиц, зато приобрела столь изощренное чувство чести, что почти ежедневно дралась на дуэли: это даже сделалось для меня необходимостью, своего рода незаменимым упражнением, без которого мне весь день было не по себе. А если, бывало, никто не смеряет меня взглядом, не наступит мне на ногу, и у меня нет никаких поводов драться, я вместо того, чтобы бездельничать и сидеть сложа руки, вызывалась в секунданты приятелям или даже людям, которых знала лишь по имени.

Вскоре за мной установилась репутация отчаянного храбреца; только это и могло оградить от шуточек, которые посыпались бы на меня за безбородое лицо и женственный вид. Но стоило мне проделать три-четыре лишних петлички в чужих камзолах и осторожно вырезать несколько ремешков из упрямых шкур, как все сочли, что на вид я мужественней, чем Марс собственной персоной или сам Приап, и кое-кто с легкой душой стал бы вас уверять, что принимал из купели моих незаконнорожденных деток.

Посреди всего этого явного разгула, предаваясь беспечной и бесшабашной жизни, я неустанно следовала своей изначальной идее, то есть продолжала тщательно изучать мужчину и искать решение загадки идеального возлюбленного, загадки, отгадать которую чуть потруднее, чем найти философский камень.

Бывают такие понятия, как, например, горизонт, который существует, конечно, поскольку мы видим его перед собой, в какую сторону ни обернемся, но он все время удаляется и, едем мы шажком или мчимся галопом, постоянно держится от нас на одном и том же расстоянии; дело в том, что он может явить себя лишь при условии, что мы смотрим на него издали, а по мере того как мы к нему приближаемся, он пропадает, чтобы во всем блеске своей летучей и неуловимой лазури соткаться вдали, и напрасно мы будем пытаться удержать его за край реющего плаща.

Чем глубже изучала я это животное, мужчину, тем яснее становилось, насколько неосуществимы мои желания и насколько чужды его природе те свойства, которые нужны мне для счастливой любви. Я убедилась, что молодой человек, который полюбит меня всем сердцем, будь он даже преисполнен наилучших намерений, все равно найдет средство сделать меня несчастнейшей из женщин, а ведь я уже отказалась от многих своих

девичьих притязаний. С высочайших облаков я спустилась не то чтобы прямо на улицу или в сточную канаву, но на средней высоты холмик, несколько крутой, но вполне доступный.

Может быть, подниматься на него было и тяжело, но в гордыне своей я сочла, что ради меня стоит пойти на некоторые усилия и что я окажусь достойным вознаграждением за все труды. Однако я никогда не решилась бы сделать первый шаг, а терпеливо сидела на вершине и ждала.

План мой был таков: одетая по-мужски, знакомлюсь с молодым человеком, чья наружность мне нравится; живу с ним бок о бок; пускаюсь в искусные расспросы, с помощью притворных откровенностей вызываю его на искренние излияния и вскоре визнаю решительно все о его чувствах и мыслях; и если сочту, что он соответствует моим мечтам, объявляю, что мне необходимо уехать, удаляюсь месяца на три-четыре, чтобы он успел слегка забыть мои черты; затем возвращаюсь в женском платье, снимаю и обставляю в отдаленном предместье домик, располагающий к неге, тонущий в деревьях и цветах; потом подстраиваю все для того, чтобы он со мною встретился и стал за мной ухаживать; и если он полюбит меня любовью истинной и верной, предаюсь ему безоговорочно и отбросив осторожность: коль скоро звание его возлюбленной покажется мне честью, я не стану просить ни о каком другом.

Но план этот наверняка не будет приведен в исполнение — ведь на то и планы, чтобы их не исполнять: в этом более всего проявляются хрупкость нашей воли и полное ничтожество человека. Пословица «Чего хочет женщина, того хочет Бог» не более верна, чем любая другая пословица, а это значит — не верна вовсе.

Пока я смотрела на мужчин только издали, взглядом, полным желания, они казались мне прекрасными, и это был оптический обман. Теперь они представляются мне безнадежно отталкивающими, и я не постигаю, как женщина может допустить такое к себе в постель. Меня бы стошнило, и я ни за что бы на это не решилась.

Какие у них грубые, отвратительные лица — ни тонкости, ни изысканности! Какие резкие и неуклюжие линии! Какая заскорузлая, темная, нечистая кожа! Одни покрыты загаром, как будто полгода проболтались на виселице, чахлые, костлявые, волосатые, жилы на руках, что твои скрипичные струны, ступни огромные, ни дать ни взять подъемные мосты, сальные усы вечно полны объедков, закручены и вздернуты выше ушей, волосы жесткие, как щетина у метлы, подбородок точь-в-точь как у кабаньей головы, губы потрескались и запеклись от выпивки, глаза обведены четырьмя-пятью темными кругами, шея покрыта извилистыми жилами, выпирающими мускулами и хрящами. Другие лопаются от налитого кровью мяса, ходят, опережаемые собственным брюхом, на котором еле-еле сходится пояс; моргая, они таращат свои маленькие глазки, воспламененные похотью, и похожи скорее на гиппопотамов в штанах, чем на представителей рода человеческого. И вечно от них разит вином, или водкой, или табаком, или их естественным запахом, который хуже всех прочих. А те, кто обладает чуть менее отталкивающей наружностью, похожи на неудавшихся женщин. Вот и все.

Я не замечала всего этого прежде. Я плыла по жизни, как на облаке, и ноги мои едва касались земли. Аромат весенних роз и лилий ударял мне в голову, как чересчур крепкие духи. Я мечтала только о безупречных героях, о верных и почтительных любовниках, о пламени, достойном алтаря, об изумительной преданности, о самопожертвовании и воображала найти все это в первом же попавшемся дураке, который со мною поздоровается. Однако это первое опьянение продлилось совсем недолго; меня обуяли странные подозрения, и я чувствовала, что не видать мне покоя, пока они не развеются.

Ужас, который внушали мне мужчины, поначалу доходил до крайности, и я смотрела на них как на омерзительных чудовищ. Их склад ума, манеры и полные небрежного цинизма речи, их жестокость и презрение к женщинам беспредельно потрясали и возмущали меня: слишком уж далеки оказались мои представления от действительности. На самом деле они вовсе не изверги, если хотите знать, но они хуже чем изверги: ей-богу, все они славные молодые люди, полные жизнерадостности, любители поесть и выпить, готовые услужить вам чем угодно, остроумные и храбрые, недурные живописцы, недурные музыканты, пригодные на любое дело, кроме того единственного, для чего явились на свет, и дело это — быть самцами того зверя, который зовется женщиной и к которому они ни физически, ни нравственно не имеют ни малейшего отношения.

Сперва мне было трудно скрывать презрение, которое они мне внушали, но мало-помалу я свыклась с их образом жизни. Насмешки, которые они отпускали на счет женщин, задевали меня не больше, чем если бы я сама была мужчиной. Напротив, я тоже изошрялась в таких шуточках, успех которых странным образом льстил моему самолюбию; наверняка никто из моих приятелей не заходил так далеко в сарказмах и остротах на эту тему. Я располагала огромным преимуществом: эта область была мне прекрасно знакома, и, помимо язвительности, эпиграммы мои блистали еще и меткостью, которой частенько недоставало эпиграммам моих друзей. Ведь, хотя все дурное, что говорится о женщинах, всегда на чем-нибудь да основано, мужчинам все же трудно сохранять хладнокровие, необходимое для того, чтобы получше их высмеять, и в их инвективах сплошь да рядом кроется немало любви.

Я заметила: хуже всего к женщинам относятся как раз самые нежные, те, кому более всех дано инстинктивное понимание женщины; они возвращаются к этой теме с необыкновенным ожесточением, словно затаили на женщин смертельную обиду: зачем-де они не таковы, как им хочется, зачем обманывают надежды, которые на них возлагались.

Прежде всего я искала не телесной красоты, а красоты души; я искала любви, но любовь в моем понимании, быть может, вообще не в человеческих возможностях. А все-таки мне кажется, что я могла бы так любить и отдавала бы больше, чем требую.

Какое великолепное безумие! Какое высокое мотовство!

Отдать себя целиком, без остатка, отказаться от прав на себя, от свободы воли, во всем передовериться другому человеку, не смотреть ни на что собственными глазами, не слушать собственными ушами, стать одним существом о двух телах, смешать, слить воедино две души, так чтобы не сознавать более, где ты, а где другой; постоянно впитывать и излучать, быть то солнцем, то луной, всю жизнь и все мироздание обрести в одном-единственном человеке, к которому сместить средоточие жизни, всякий миг быть готовой к величайшим жертвам и к полнейшему самоотречению, терзаться болью в любимой груди; о чудо! — отдавая все, делаться вдвое богаче: вот как я понимаю любовь.

Верность плюща, привязчивость юной лозы, воркование голубки — это само собой разумеется, это первейшие и наиболее простые условия.

Если бы я осталась дома, в платье, свойственном моему полу, если бы меланхолично склонялась над прялкой или пальцами в оконной нише, быть может, то, чего я ищу по свету, пришло бы ко мне само. Любовь, как удача, не любит, чтобы за нею гонялись. Она охотнее посещает тех, кто дремлет у родника, и часто поцелуи цариц и богов нисходят на сомкнутые веки. Заманчива, но обманчива мысль о том, что все приключения и счастливые случайности происходят там, где вас нет, и когда вы велите седлать коня и

мчитесь на почтовых искать свой идеал, то поступаете весьма нерасчетливо. Многие люди совершают эту ошибку, и многие еще ее совершат. Горизонт всегда сияет чарующей лазурью, но стоит приблизиться, и очерчивавшие его холмы оказываются обычно рыхлой, расползающейся глиной или размытой дождями охрой.

Я воображала, что мир полон обаятельных молодых людей, что на дорогах попадаются толпы Эспландианов, Амадисов и Ланселотов Озерных, рыщущих в поисках своей Дульсины, и я весьма удивилась, обнаружив, что люди очень мало интересуются этими возвышенными исканиями, зато норовят переспать с первой попавшейся шлюхой. Я тяжко наказана за любопытство и доверчивость. Я пришла к самой чудовищной пресыщенности, ничем не насладившись. Знание у меня опередило опыт, а что может быть хуже преждевременной искушенности, которая не проистекает из поступков? В тысячу раз лучше было бы самое полное невежество: оно, по крайней мере, подвигнет вас на тысячу глупостей, которые вас чему-нибудь научат и наведут порядок у вас в голове ибо под отвращением, о котором я сейчас толковала, таится живая и мятежная стихия, производящая странную путаницу: убежден рассудок, но не тело — а тело не желает подчиниться этому возвышенному чувству презрения. Молодая и крепкая плоть бьется и брыкается под тяжестью разума, как могучий племенной жеребец под дряхлым немощным седоком, которого он все-таки не может сбросить, потому что уздечка стискивает ему голову, а удила разрывают рот.

С тех пор как я живу среди мужчин, я столько раз видела, как самым недостойным образом изменяют женщине, как небрежно предадут огласке тайные отношения, а самую чистую любовь беспечно марают грязью, как молодые люди, вырвавшись из объятий очаровательнейших возлюбленных, бегут к отвратительным куртизанкам, а самые надежные любовные связи без малейшей уважительной причины внезапно обрываются, — теперь я уже не в силах решиться на любовное приключение. Это было бы все равно что среди бела дня с открытыми глазами броситься в бездонную пропасть. Между тем тайное желание моего сердца по-прежнему влечет меня на поиски возлюбленного. Голос разума заглушен голосом природы. Чувствую, что никогда не испытаю счастья, если не полюблю и не буду любима; но беда, что в возлюбленные можно избрать лишь одного, а мужчины хоть, может быть, и не вовсе дьяволы, однако же далеко не ангелы. И пускай они утыкают себе спины перьями, а на голову напялят нимбы из золоченой бумаги — я слишком хорошо их знаю, чтобы дать в обман. Какие бы прекрасные речи они предомноу ни произносили, это им не поможет. Я заранее знаю, что они скажут, и сама способна договорить за них.

Я видела, как они зубрят свои роли, как репетируют перец выходом на сцену, мне известны их ударные, рассчитанные на эффект тирады и те места в них, на которые они больше всего надеются. Ни бледность лица, ни искаженные страданием черты меня не убедят. Я знаю, что это ничего не доказывает. Одной разгульной ночи, нескольких бутылок вина да двух-трех девок достаточно, чтобы придать себе требуемый облик. Я видела, как к этому прекрасному приему прибег один юный маркиз, от природы весьма свежий и румяный; испытанное средство отозвалось на нем как нельзя лучше, и он добился взаимности только благодаря трогательной бледности, столь кстати приобретенной. Кроме того, мне известно, как самые томные Селадоны, встретив в своих Астрях суровость, утешаются и находят способы укрепить свое терпение в чаянии любовного свидания. Насмотрелась я на за-марашек, служивших заместительницами стыдливейшим Ариаднам.

В сущности, после всего этого я не слишком льщусь на мужчин; они ведь не наделены такою же красотой, как женщины, красотой, которая, подобно роскошному одеянию, искусно скрывает несовершенства души и, словно божественное покрывало, наброшенное

Всевышним на наготу мира, служит оправданием, позволяющим любить самую подлую подзаборную потаскушку, если только она обладает этим великолепным царственным даром.

За неимением духовных добродетелей мне хотелось бы, по меньшей мере, обрести в ком-нибудь безупречное телесное совершенство, атласность плоти, округлость очертаний, нежность линий, прозрачность кожи — все то, что составляет очарование женщины. Раз уж любовь для меня недостижима, я хотела бы, чтобы сладострастие, хорошо ли, худо ли, заменило мне свою сестру. Но все мужчины, которых я видела, кажутся мне чудовищно безобразными. Мой конь в сто раз красивее, и я с куда меньшим отвращением поцеловала бы его, чем кое-кого из щеголей, мнящих себя неотразимыми. Да уж, насколько я знаю этих юных хлыщей, едва ли вариации на подобную тему принесут мне большое наслаждение.

Ничуть не больше подошел бы мне солдафон; у всех военных в походке есть что-то механическое, а в лице — что-то зверское, и потому я почти не признаю их за людей; судейские прельщают меня не больше военных: они сальные, промасленные, взъерошенные, потертые, глаза водянистые, губы в ниточку; от них нестерпимо несет чем-то прогорклым и затхлым, и мне совершенно не хотелось бы прижаться лицом к рысьей или барсучьей морде кого-нибудь из них. Ну, а для поэтов на свете существуют только концы слов, и ближе последнего слога они не заглядывают, так что не ошибусь, если скажу, что приспособить их к делу достойным образом не так-то просто; они скучнее остальных, но столь же уродливы, и внешность и наряд их лишены малейшей изысканности и какого бы то ни было изящества, что воистину достойно удивления; люди, которые с утра до ночи заботятся о форме и красоте, не замечают, что сапоги у них дрянные, а шляпы смехотворные! Они похожи на провинциальных аптекарей или на безработных музыкантов из тех, что подыгрывают ученым собачкам, и способны внушить вам отвращение к стихам и поэзии на несколько вечностей вперед.

Художники — те тоже неописуемо глупы; кроме семи цветов спектра, они ничего не видят. С одним из них я провела несколько дней в р***, и когда его спросили, что он обо мне думает, он находчиво ответил: «Тона у него довольно теплые, а для тени вместо белил надо пустить чистую неаполитанскую желтую с капелькой кассельской земли и подбавить красно-коричневой». Таково было его суждение, и вдобавок нос у него оказался кривой, а глаза косые, что отнюдь не спасало положения. Кого же мне выбрать? Вояку с грудью колесом, сутулого крючкотвора, поэта или художника с блуждающим взглядом, ничтожного франта, тощего и ветерком подбитого? Какую клетку предпочесть в этом зверинце? Понятия не имею и не чувствую ни малейшей склонности ни в ту, ни в иную сторону, ибо для меня все эти люди совершенно равны в своей глупости и уродливости.

В конце концов мне оставался еще один выход: выбрать того, кто мне приглянется, будь то хоть носильщик или барышник; но мне не нравятся даже носильщики. До чего же я плачевная героиня! Голубка без голубка, обреченная на бесконечное элегическое воркование!

О, сколько раз я мечтала быть мужчиной на самом деле, а не только с виду! Сколько на свете женщин, с которыми я поладила бы и чьи сердца поняли бы мое сердце! Сколько неомраченного счастья принесли бы мне их любовные нежности, благородные порывы чистой страсти, за которые я платила бы взаимностью! Какое очарование, какой восторг! Как привольно распустились бы все мимозы моей души, если бы им не приходилось то и дело съезживаться и закрываться под грубыми прикосновениями! Какой дивный цветник, полный невидимых цветов, которым никогда не суждено раскрыться, — их таинственное благоухание было бы подслащено ароматом родственной души! Мне чудится, что это была бы сказочная жизнь, непреходящий восторг, вечное парение: наши сплетенные руки

никогда бы не выпускали одна другую, и вдвоем мы бродили бы вдоль аллей, усыпанных золотым песком, через боскеты с розами, улыбающимися неувядаемой улыбкой, по паркам, где полным-полно прудов, по которым скользят лебеди, мимо алебастровых ваз, белеющих в листве.

Если бы я была юношей, как бы я любила Розетту! Какое бы это было обожание! Воистину, наши души созданы друг для друга: это две жемчужины, которым предуказано слиться одна с другой, превратиться в единое целое! Как полно воплотила бы я ее представление о любви! Ее характер подходит мне как нельзя лучше, и тип ее красоты мне по вкусу. Жаль, что наша любовь неумолимо обречена на неизбежный платонизм!

Недавно у меня было приключение.

Я посещала один дом, где была прелестная девчушка лет от силы пятнадцати; в жизни не видывала я столь пленительного миниатюрного создания. Она была белокура, но цвет ее волос так нежен и прозрачен, что обычные блондинки рядом с ней выглядели бы совершенно чернявыми и темными, как кроты; казалось, волосы у нее золотые и припудрены серебром; брови ее были такого нежного цвета, постепенно переходившего от более темных тонов к светлым, что были почти незаметны; взгляд светло-голубых глаз был мягкий и бархатистый, а веки невообразимо нежные и тонкие; ротик, такой крохотный, что в него не поместился бы и кончик пальца, сообщал ее миловидному личику еще более ребячливое и славное выражение, а в плавной округлости ее щек, украшенных ямочками, таилось невыразимо простодушное очарование. Вся ее ладная маленькая фигурка неописуемо восхитила меня; я влюбилась в ее белые хрупкие ручки, прозрачные на свету, в ее птичьи ножки, едва касавшиеся земли, в ее стан, который подломился бы от малейшего дуновения, и в ее перламутровые плечи, еще неразвитые и, к счастью моему, видневшиеся из-под криво повязанной косынки. Ее лепет, в котором сквозило природное остроумие, еще более забавное благодаря наивности, занимал меня целыми часами, и я испытывала непонятное удовольствие, заставляя ее разговаривать; из нее так и сыпались прелестные и уморительные истории, иногда поражавшие тем, как затейливо она их придумывает, а иногда, напротив, казалось, что их скрытый смысл ускользает от нее самой, и это делало их в тысячу раз привлекательней. Я угощала ее конфетами, которые нарочно припасла в желтой черепаховой коробочке, и это приводило ее в восторг: она была ужасная лакомка, как и положено такой кошечке. Едва я входила, она бежала ко мне и ощупывала мои карманы, чтобы выяснить, на месте ли возжеленная бонбоньерка, а я перебрасывала коробочку из руки в руку, и начиналась легкая потасовка, в которой малышка неизбежно оказывалась победительницей и отнимала у меня все гостинцы.

И вот однажды она ограничилась тем, что с отменно важным видом кивнула мне и не подбежала, как всегда, чтобы проверить, не иссякли у меня в кармане источник сластей, а гордо осталась сидеть на стуле, выпрямившись и отведя локти назад.

— Что случилось, Нинон, — обратилась я к ней. — Вы полюбили соль, или, может быть, боитесь, как бы у вас не выпали зубы от сладкого? — И с этими словами я постучала по коробочке, спрятанной в камзоле, и она в ответ издала самый медовый и сахарный звук на свете.

Нинон облизала краешек губ язычком, словно упиваясь воображаемой сладостью отсутствующей конфеты, но не тронулась с места.

Тогда я извлекла коробочку из кармана, открыла и стала добросовестно поглощать шоколадные конфеты, которые она любила больше всего; на мгновение над ее

решимостью возобладала тяга к сладкому, она протянула руку за конфетой и тут же отдернула.

— Я уже слишком взрослая для конфет! — вздохнула она.

— Я не заметил, чтобы вы очень уж повзрослели за последнюю неделю. Разве вы похожи на грибы, которые вырастают за одну ночь? Подойдите, я вас измерю.

— Смейтесь, сколько вам будет угодно, — возразила она с очаровательной гримаской, — но я уже не девочка и хочу быть совсем взрослой.

— Превосходное решение, достойное того, чтобы в нем упорствовать; а нельзя ли узнать, милая барышня, по какому случаю пришла вам в голову эта неотразимая мысль? Еще неделю назад вы, сдается, были вполне довольны тем, что вы маленькая девочка, и уплетали шоколадные конфеты, нимало не заботясь о том, как бы не уронить своего достоинства.

Малышка бросила на меня загадочный взгляд, оглянулась по сторонам, убедилась, что никто нас не слышит, наклонилась ко мне с таинственным видом и сказала:

— У меня есть поклонник.

— Черт побери, тогда я не удивляюсь, что вы больше не хотите конфет, и все же напрасно вы их не взяли: покормили бы с вашим поклонником кукол или выменяли их у него на волан.

Девчушка презрительно передернула плечами и ясно дала понять, что ей меня очень жаль. Поскольку она по-прежнему держалась как оскорбленная королева, я продолжала:

— Как зовут этого славного героя? Наверное, Артюр или Анри. — То были два маленьких мальчика, с которыми она обычно играла, называя их своими мужьями.

— Нет, не Артюр и не Анри, — сказала она, устремив на меня светлые прозрачные глаза, — а взрослый господин. — И, чтобы дать мне представление о его росте, она приподняла руку над головой.

— Такой высокий? Ну, это уже серьезно. Кто же этот столь взрослый господин?

— Господин Теодор, я с удовольствием вам отвечу, но вы никому не говорите, ни маме, ни Полли (ее гувернантке), ни вашим друзьям, которые считают меня маленькой: они будут надо мной смеяться.

Я обещала ей хранить нерушимую тайну, потому что мне было весьма любопытно знать, кто же этот галантный кавалер, а малышка, видя, что я свожу разговор на шутку, все не решалась на полную откровенность.

Я честным словом заверила ее, что буду ревностно хранить секрет, и тогда она, успокоившись, соскочила со стула, подбежала, склонилась над спинкой моего кресла и еле слышно прошептала мне на ухо имя ее обожаемого принца.

Я смутилась: это оказался шевалье де Ж***, грязный и неисправимый скот, с душонкой школьного учителя и внешностью тамбурмажора, человек, до мозга костей подлый и развратный, сущий сатир, разве что без козлиных рожек и острых ушей. У меня возникли серьезные опасения за бедную Нинон, и я твердо решила во всем разобраться. Тут вошли люди, и наш разговор прервался.

Я уселась в уголке и стала ломать себе голову, как не позволить делу зайти чересчур далеко, ибо отдать такое очаровательное создание в руки отъявленному негодяю было бы сущим убийством.

Мать девочки была дама полусвета; дома у нее собиралось общество игроков и умных людей. Здесь читали тусклые стихи и проигрывали блестящие эсю, что служило компенсацией. Хозяйка дома не слишком любила дочку: та была для нее ходячей выпиской из церковно-приходской книги, мешавшей ей убавлять себе годы. К тому же девочка подрастала, и ее все более заметное очарование побуждало к сравнению явно не в пользу родительницы, которую заметно потрепала череда годов и мужчин. Поэтому ребенок рос в небрежении, и некому было защитить его от похоти мерзавцев, входящих в дом. Если бы мать и занялась ею, то, по-видимому, лишь для того, чтобы извлечь побольше выгоды из ее юности и подороже продать ее красоту и невинность.

Так или иначе, судьба, ей уготованная, не вызывала сомнений. Я думала об этом с болью, потому что Нинон была прелестная девочка и наверняка заслуживала лучшего; она была как жемчужина чистейшей воды, угодившая в смрадную трясику; мысль о ней не давала мне покоя, и я решила во что бы то ни стало вызволить ее из этого ужасного дома.

Прежде всего следовало помешать шевалье в исполнении его замысла. Мне казалось, что лучше и проще всего будет затеять с ним ссору и вынудить на поединок, однако это оказалось невероятно трудно, потому что он трус, каких поискать, и больше всего на свете боится, что его побьют.

Наконец я наговорила ему таких дерзостей, что ему пришлось, хоть и скрепя сердце, решиться на дуэль. Я даже пригрозила, что велю лакею избить его палкой, если он не станет вести себя приличнее. Между тем он недурно владел шпагой, но его настолько одолевал страх, что не успели мы скрестить клинки, как мне удалось нанести ему преотличнейший удар, который на две недели уложил его в постель. Мне этого было довольно; я не собиралась его убивать, мне приятнее было сберечь его жизнь для виселицы, на которую он рано или поздно угодит; трогательная забота — право, я заслужила с его стороны большей благодарности! Теперь, когда негодяй, надлежащим образом перевязанный, был простерт на постели, оставалось только уговорить малышку бежать из дому, 1 что оказалось не так уж трудно.

Я сплела ей сказку об исчезновении ее поклонника, за которого она необыкновенно тревожилась. Я сказала, что он уехал с актрисой труппы, гастролировавшей в то время в С***; как ты понимаешь, это ее возмутило. В утешение я наговорила ей о шевалье много дурного: он-де урод, пьяница и уже староват, а под конец спросила, не хочет ли она видеть меня своим обожателем. Она ответила, что будет очень рада, потому что я красивее и платье на мне с иголочки. Над этим простодушным ответом, произнесенным с величайшей серьезностью, я хохотала до слез. Я настолько вскружила девчужке голову, что убедила ее бежать. Несколько букетов, примерно столько же поцелуев да жемчужное ожерелье, которое я ей подарила, очаровали ее так, что и описать нельзя, и она самым уморительным образом стала важничать перед подружками.

На глазок прикинув размер, я заказала ей очень изящный и очень богатый костюм пажа: ведь не могла же я увезти ее одетую девочкой; для этого мне самой пришлось бы вернуться к женскому платью, чего мне не хотелось. Я купила маленькую лошадку, кроткую и послушную узде, но при этом достаточно проворную, чтобы угнаться за моим берберийским скакуном, если мне вздумается лететь во весь опор. Потом я сказала красотке, чтобы она попробовала в сумерках выйти к дверям, а я ее оттуда заберу; она исполнила все в точности. Я нашла ее на посту, за приоткрытой створкой дверей. Я подъехала совсем близко к дому, она вышла, я протянула ей руку, она поставила ножку на

носок моего сапога и проворно вскочила на круп коня, благо ловкости ей было не занимать. Я пришпорила коня и через семь-восемь глухих и безлюдных переулков исхитрилась привезти ее к себе домой так, что никто нас не видел. Я велела ей раздеться и нарядиться в новое платье, для чего предложила ей свои услуги вместо горничной; сперва она поупиралась и хотела одеться сама, но я объяснила ей, что это займет слишком много времени и к тому же, коль скоро она теперь моя любовница, в моей помощи нет ничего неподобающего, потому что между влюбленными это принято. Мои доводы убедили ее как нельзя лучше, и она покорилась обстоятельствам.

Ее нежное тельце было настоящим чудом. Руки, немножко чересчур худые, как у всех девочек, были восхитительно изящны, а едва обозначившаяся грудь была так хороша и сулила так много в будущем, что сравнения с ней не выдержали бы и куда более пышные формы. Детская прелесть уживалась в Нинон с женским очарованием; в ней совершался пленительный переход от девочки к девушке — быстрый, неуловимый переход, прелестная пора, когда красота исполнена надежды и всякий день не только ничего не отнимает у вашей возлюбленной, но приносит ей все новые совершенства.

Костюм пажа оказался ей необыкновенно к лицу. Он придавал ей этакий задорный вид, очень забавный и уморительный: она сама прыснула со смеху, когда я поднесла ей зеркало, чтобы она оценила результаты переодевания. Затем я велела ей поесть бисквитов, макая их в испанское вино: ей надо было набраться мужества и сил, чтобы лучше перенести тяготы путешествия.

Лошади, уже оседланные, ждали нас во дворе; она весьма непринужденно вскочила на своего скакуна, а я — на своего, и мы пустились в путь. Уже совершенно стемнело, и по редким огням, которые гасли один за другим, можно было понять, что город С*** предается мирным вечерним занятиям, каковые и положены провинциальному городку на исходе девятого часа.

Мы не могли ехать очень быстро, ибо Нинон была не Бог весть какой наездницей, и когда ее конек переходил на рысь, со всех сил вцеплялась ему в гриву. Однако же к утру мы отъехали достаточно далеко, чтобы не опасаться погони, разве что преследователи очень уж поспешат, но за нами никто не гнался, а может быть, погоня пустилась в другую сторону.

Я на удивление привязалась к маленькой красотке. Ты была далеко, милая Грациоза, а я испытывала неодолимую потребность любить кого-нибудь или что-нибудь; мне нужен был хоть пес, хоть ребенок, которого я могла бы приласкать запросто. Таким существом стала для меня Нинон; она спала в моей постели и, засыпая, обнимала меня своими ручонками; девочка всерьез воображала, будто она — моя любовница, и не подозревала, что я не мужчина; крайняя ее молодость и величайшая неискушенность укрепляли малышку в этом заблуждении, которое я и не думала рассеять. Иллюзию довершали поцелуи, на которые я для нее не скупилась, а дальше этого ее представления не простирались; чувства в ней еще дремали, так что о большем она и не догадывалась. В сущности, не так уж она и заблуждалась.

И в самом деле, разница между нею и мною была не меньше, чем между мною и мужчинами. Она была такая прозрачная, тоненькая, легкая, такого хрупкого, изящного телосложения, что поражала своей женственностью даже в сравнении со мной, хотя я и сама женщина: рядом с ней я казалась Геркулесом. Я высокая, черноволосая, а она маленькая и белокурая; черты лица у нее такие нежные, что мои рядом с ними выглядят почти резкими и суровыми, а голос ее звучит столь мелодичным щебетом, что мой по сравнению с ним кажется грубым. Если бы ею овладел мужчина, она бы разбилась вдребезги, и мне все боязно, как бы ее не унес утренний ветерок. Мне хотелось бы

упрятать ее в ладанку, выстланную ватой, и носить на шее. Ты себе не представляешь, милая подруга, какая она обаятельная, остроумная, восхитительно ласковая, сколько у ней в запасе ребяческого кокетства, ужимок и дружелюбия. Это и впрямь самое прелестное существо на свете, и, право, было бы жаль, если бы она осталась при своей недостойной матери. Я испытывала насмешливую радость при мысли о том, что похитила эту жемчужину у людской алчности. Я чувствовала себя драконом, никого не подпускающим к своему сокровищу, и пускай я не наслаждалась им сама, зато и никто другой к нему не прикасался: мысль бесконечно утешительная, что бы там ни говорили глупые хулители эгоизма.

Я намеревалась как можно дольше щадить ее неведение и держать ее при себе, пока она не захочет со мной расстаться или пока не найду способ ее пристроить.

Одетую мальчиком, я брала ее с собой во все путешествия, то туда, то сюда; такой образ жизни необыкновенно ей нравился, и удовольствие, которое она получала, помогало ей сносить все тяготы. Везде я слышала похвалы необычайной красоте моего пажа и не сомневаюсь, что у многих зародились явно превратные представления о нас с ним. Некоторые даже попытались добиться ясности, но я не разрешала малышке ни с кем разговаривать, и любопытных постигло разочарование.

Что ни день я открывала в милой девочке все новые достоинства, заставляющие меня еще больше дорожить ею и радоваться своему решению. Мужчины, бесспорно, не заслуживали, чтобы она им досталась, и обидно было бы, если бы такие душевные и телесные совершенства оказались во власти их скотской алчности и циничного распутства.

Только женщина могла любить ее так нежно и бережно. В моем характере есть черта, которой до сих пор не удавалось развиться, а теперь она получила полную волю: это потребность и желание покровительствовать; обычно такое свойство встречается у мужчин. Если бы у меня был любовник, меня бы крайне покорило, приди ему в голову подчеркнуть меня оберегать: дело в том, что я сама люблю заботиться о людях, которые мне приятны, и в гордыне своей куда больше наслаждаюсь ролью защитницы, чем подопечной, хотя вторая роль на поверхностный взгляд приятней. И мне было радостно оказывать моей дорогой малышке все те заботы, которые мне полагалось бы охотнее принимать самой: помогать ей на крутой дороге, держать повод и стремя, прислуживать за столом, раздевать ее и укладывать в постель, заступаться, если кто-нибудь ее обижал, делать для нее все, что самый страстный и внимательный любовник делает для обожаемой возлюбленной.

Незаметно у меня исчезает представление о том, какого я пола; я насилу вспоминаю время от времени о том, что я женщина; поначалу у меня еще частенько срывались с языка необдуманные речи, мало подходившие к платью, которое я ношу. Теперь такого со мной не бывает, и даже когда я пишу тебе, поверенной моих тайн, у меня в окончаниях слов подчас проскальзывает ненужная мужественность. Если когда-нибудь мне и взбредет в голову прихоть вернуться и достать мои юбки из шкафа, в который я их упрятала, — в чем я весьма сомневаюсь, разве что влюблюсь в какого-нибудь юного красавца, — мне нелегко будет отделаться от этой привычки, и я из женщины, переодетой мужчиной, превращусь в мужчину, переодетого женщиной. На самом деле я не принадлежу ни к тому, ни к этому полу; нет во мне ни дурацкой покорности, ни боязливости, ни мелочности, свойственной женщине, как нет и мужских пороков, омерзительного мужского распутства и скотских наклонностей; я отношу себя к иному, третьему полу, у которого пока нет названия, высшему или низшему, более ущербному или более совершенному: телом и душой я женщина, умом и силой — мужчина, и во мне слишком много и от того, и от другого, чтобы с кем-то из них соединиться.

Грациоза моя! Никогда я не смогу никого полюбить безраздельно, ни мужчину, ни женщину; во мне вечно рокошет некая ненасытная стихия, и любовник или подруга могут удовлетворить лишь одну грань моей натуры. Появись у меня возлюбленный, женское начало, быть может, на какое-то время возобладало бы во мне над мужским, но это продлилось бы недолго, и я чувствую, что удовольствовалась бы этим лишь наполовину; когда у меня заводится подруга, мысль о телесной неге мешает мне полностью насладиться чистыми негами души; и вот я не знаю, на чем остановиться, и беспрестанно мечусь туда и сюда.

Я питаю несбыточную мечту быть двуполой, чтобы насытить свою двойственную натуру: сегодня мужчина, завтра женщина, я бы приберегла для любовников томную нежность, знаки покорности и преданности, самые кроткие ласки, меланхолическую череду тихих вздохов, все то кошачье, женское, что присуще моему характеру; потом, с любовницами, я становилась бы дерзкой, предприимчивой, страстной, неотразимой — шляпа набекрень, повадки задиры и авантюриста. Тогда проявилась бы вся моя натура, и я стала бы совершенно счастлива, ибо полное счастье состоит в том, чтобы свободно развиваться во всех отношениях и быть всем, чем можешь быть.

Но это невозможно, об этом и мечтать нечего.

Я похитила малышку в надежде придать иное направление своим склонностям и излить на кого-нибудь тот поток нежности, что бушует у меня в душе и переполняет ее до краев; я хотела обрести в Нинон нечто вроде выхода для моей жажды любить; но, несмотря на всю привязанность, которую я к ней питаю, вскоре я почувствовала, какая необъятная пустота, какая бездонная пропасть осталась у меня в сердце, как мало насыщают меня самые нежные ее ласки!.. Я решила попытать счастья с любовником, но прошло много времени, а я все не встречала никого, кто бы мне приглянулся. Забыла тебе сказать: Розетта разузнала, где я, и написала мне умоляющее письмо, прося, чтобы я ее навестила; не в силах ей отказать, я приехала к ней в деревенское уединение. С тех пор я много раз туда навещалась, вот и теперь я там. В отчаянии от того, что я так и не стала ее любовником, Розетта ринулась в светский водоворот и в рассеянный образ жизни, как все нежные души, лишённые набожности и оскорбленные в своей первой любви; в недолгое время у ней было множество приключений, и список ее побед достиг изрядной длины, ибо ни у кого не было таких причин, как у меня, чтобы устоять перед ней.

При ней теперь очередной любовник, молодой человек по имени д'Альбер. Похоже, что я произвела на него поразительное впечатление, и он сразу воспылал ко мне горячей дружбой. С Розеттой он обходится весьма предупредительно и в обращении с нею отменно ласков, но в глубине души он ее не любит, — не от пресыщенности и не потому, что она ему противна; дело скорее в том, что она не соответствует неким ложным или истинным представлениям о любви и красоте, которые он себе усвоил. Между ним и Розеттой облаком стоит идеал, мешающий ему быть счастливым. Мечта его явно не сбылась, и он вздыхает по чему-то другому. Однако доньше он ничего другого не искал и оставался верен узам, которые были ему в тягость; ибо в душе у него несколько больше порядочности и чести, чем у большинства мужчин, и сердце его далеко не так сильно развращено, как ум. Не зная, что Розетта любила одну меня и среди всех своих романов и сумасбродств сберегла эту любовь, он боялся, что она огорчится, если поймет, что он ее не любит. Эта забота его удерживала, и он самым великодушным образом приносил себя в жертву.

Черты моего лица ему необыкновенно понравились, а он придает огромное значение внешней форме, вот он и влюбился в меня, несмотря на мой мужской наряд и на то, что на боку у меня болтается грозная шпага. Признаться, я была ему благодарна за тонкость интуиции и прониклась к нему известным уважением за то, что он сумел распознать меня

вопреки обманчивой внешности. Поначалу он вообразил, что вкус у него куда более извращенный, чем то было на самом деле, и я посмеивалась про себя, глядя на его терзания. Подчас он взглядывал на меня с таким испуганным видом, что я веселилась от души, и вполне естественная склонность, которая влекла его ко мне, казалась ему дьявольским наваждением, коему он не очень-то мог противиться.

Тогда он яростно набрасывался на Розетту и пытался вернуться к более общепринятому любовному обиходу; затем возвращался ко мне, как и следовало ожидать, еще более распаленный. Наконец его осенила блистательная мысль, что я могу оказаться женщиной. Ища подтверждения, он пустился изучать и наблюдать меня с самым пристальным вниманием; должно быть, он знает по отдельности каждый мой волосок и помнит, сколько ресниц у меня на веках; мои ноги, руки, шею, щеки, пушок над уголками губ — все он осмотрел, все сравнил, все разобрал и после этого исследования, в котором художник помогал влюбленному, ему стало ясно как день (если день ясный), что я самая настоящая женщина, да к тому же еще его идеал, его тип красоты, его мечта наяву — изумительное открытие!

Оставалось смягчить меня и добиться, чтобы я пожаловала ему дар любовного милосердия, — тогда уж мой пол станет ему достоверно известен. Мы вместе играли в одной комедии, где я исполняла женскую роль, и это окончательно подвигло его на решение. Несколько раз я бросала ему двусмысленные взгляды и воспользовалась некоторыми местами в своей роли, напоминавшими наше с ним положение, чтобы поощрить его и подтолкнуть к объяснению. Потому что хоть я и не питала к нему страстной любви, но все же он мне нравился настолько, что я не желала ему иссохнуть на корню от любви; и раз уж он первый с тех пор, как я преобразилась, заподозрил во мне женщину, справедливости ради мне следует просветить его в этом важном вопросе, и я решила не оставить ему ни тени сомнения.

Много раз он приходил ко мне в комнату с признанием на устах, но не осмеливался начать — и впрямь, трудно толковать о любви особе, одетой в мужское платье и примеряющей сапоги для верховой езды. Наконец, так и не заговорив, он написал мне длинное письмо, совершенно в духе Пиндара, где весьма пространно объяснял мне то, что я знала лучше его.

Ума не приложу, как мне теперь быть. Принять его ходатайство или отвергнуть — но второе было бы непомерно добродетельно, и к тому же отказ чересчур его опечалит: если мы станем делать несчастными тех, кто нас любит, как прикажете поступать с теми, кто нас ненавидит? Быть может, немного благопристойнее было бы некоторое время оставаться жестокой и выждать хотя бы месяц, прежде чем расстегнуть шкуру тигрицы и сменить ее на обычную человеческую сорочку. Но раз уж я решила сдаться, то не все ли равно, теперь или позже: не вижу особого смысла в том математически рассчитанном сопротивлении, которое велит нынче уступить руку, завтра другую, потом ступню, потом ногу до колена, но не выше подвязки, и в той неприступной добродетели, что норовит ухватиться за колокольчик, едва будет пересечена граница территории, которую на сей раз она намеревалась отдать захватчику; мне смешно смотреть на медлительных Лукреций, которые пятятся, напуская на себя самый что ни на есть целомудренный испуг, и время от времени боязливо оглядываются через плечо, чтобы удостовериться, что кушетка, на которую они собираются упасть, находится как раз у них за спиной. Подобная предусмотрительность мне чужда.

Я не люблю д'Альбера, по крайней мере не люблю в том смысле, который вкладываю в это слово, но я, несомненно, равнодушна к нему, он в моем вкусе; мне нравится его остроумие, и весь его облик мне не противен; не о многих людях могла бы я сказать то же самое. Кое-чего ему недостает, но что-то в нем есть; мне нравится, что он не стремится

насытить свою алчность, как скот, подобно другим мужчинам; в нем есть неиссякаемая тяга и постоянный порыв к красоте — правда, лишь к телесной красоте, но все-таки это благородное влечение, оно позволяет ему сохранять неиспорченность. Поведение с Розеттой изобличает в нем душевную порядочность, еще более редкую, если это возможно, чем прочие виды порядочности.

И потом, если уже об этом зашел разговор, я обуреваема жесточайшим желанием; я томлюсь и умираю от сладострастия, потому что платье, в которое я одета, вовлекает меня во всевозможные приключения с женщинами, но слишком надежно оберегает от любых посягательств со стороны мужчин; в голове моей смутно витает, но никогда не воплощается мысль о наслаждении, и эта плоская, бесцветная мечта ввергает меня в тоску и уныние. Сколько женщин в самом благопристойном обществе ведут жизнь потаскушек! А я, являя им самую нелепую противоположность, остаюсь целомудренной и благопристойной, словно холодная Диана, в вихре самого безудержного разгула, в среде величайших вертопрахов столетия. Такая невинность тела, не сопровождаемая невинностью разума, — жалчайшая участь. Чтобы плоть моя не чванилась перед душой, я хочу осквернить и ее тоже, хотя сдается мне, что скверны тут не больше, чем в еде или питье. Короче говоря, я хочу узнать, что такое мужчина и какие радости он дарит. Раз уж д'Альбер распознал меня, невзирая на мой маскарад, по справедливости следует вознаградить его за проницательность; он первый угадал во мне женщину, и я докажу ему, не щадя сил, что подозрения его справедливы. Немилосердно было бы оставить его в убеждении, что у него просто-напросто противоестественный вкус.

Итак, д'Альберу предстоит разрешить мои сомнения и преподать мне первый урок в любви: теперь остается только обставить затею как можно более поэтично. Мне хочется не отвечать на его письмо и несколько дней обходиться с ним попрохладнее. Когда увижу, что он вконец приуныл и отчаялся, клянет богов, грозит кулаком мирозданию и заглядывает в колодцы с мыслью, достаточно ли они мелки, чтобы в них утопиться, тогда я, подобно Ослиной шкуре, убегу в темный уголок и надену платье цвета времени, то есть костюм Розалинды, ибо мой женский гардероб весьма скуден. Потом я пойду к нему, сияя, как павлин, распутивший хвост, хвастливо выставя напоказ, что обычно с превеликим тщанием прячу, и прикрываясь лишь узенькой полоской кружев, повязанной очень низко и очень свободно, и скажу ему самым патетическим тоном, какой только сумею изобразить:

«О романтичнейший и проницательнейший юноша! Я в самом деле целомудренная красавица, которая вдобавок ко всему вас обожает и мечтает лишь о том, как бы угодить вам, да и себе самой заодно. Подумайте, насколько это вас устраивает, и если вас все еще одолевают сомнения, потрогайте вот это, а затем ступайте с миром и грешите как можно больше».

Я произнесу эту прекрасную речь, а потом, наполовину изнемогающая, паду в его объятия и, испуская меланхолические вздохи, ловко расстегну пряжку на платье, чтобы оказаться в подобающем случаю одеянии, то есть полуголой. Остальное довершит д'Альбер, и надеюсь на другое утро иметь полное представление обо всех утехах, которые так давно смущают мой разум. Утолю свое любопытство, а заодно буду рада случаю осчастливить ближнего.

Кроме того, я намерена в том же платье нанести визит Розетте и убедить ее, что не холодность и не отвращение мешали мне ответить на ее любовь. Не хочу, чтобы она сохранила обо мне столь дурное мнение; и потом, она не меньше д'Альбера заслужила, чтобы я нарушила ради нее инкогнито. Как-то отзовется она на мою откровенность? Гордость ее будет утешена, но любовь возопит.

Прощай, прекрасная и добрая подруга; моли Бога, чтобы наслаждение не показалось мне столь же ничтожным, как те, кто им наделяет. Все мое письмо наполнено шуточками, а между тем опыт, который мне предстоит, весьма серьезен и может сказаться на всей оставшейся мне жизни.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Прошло уже более двух недель с тех пор, как д'Альбер положил свое любовное послание на стол Теодору, — однако тот, казалось, ничуть не переменял своего поведения. Д'Альбер не знал, чему приписать его молчание; можно было подумать, что Теодор не заглянул в письмо; впавший в уныние д'Альбер думал, что оно было похищено или потерялось; но это было бы едва ли объяснимо, ибо Теодор сразу же вошел к себе в комнату, и чрезвычайно странно было, если бы он не заметил большого листа бумаги, одиноко лежащего на самой середине стола и бросавшегося в глаза даже самому рассеянному человеку.

Не то Теодор на самом деле мужчина, а вовсе не женщина, как вообразил д'Альбер, не то, если это все-таки женщина, она питает к нему такое явное отвращение, такое презрение, что не снисходит даже до того, чтобы взять на себя труд ему ответить? Бедный молодой человек, в отличие от нас лишенный привилегии рыться в бумагах Грациозы, наперсницы прекрасной де Мопен, не в состоянии был ответить положительно или отрицательно на какой бы то ни было из этих вопросов и безутешно утопал в самой плачевной нерешительности.

Однажды вечером он сидел у себя в комнате, уныло прижавшись лбом к оконному стеклу, и невидящим взором смотрел на каштаны в парке, листва которых уже окрасилась в красный цвет и почти облетела. Даль утопала в густом тумане, с небес спускалась темнота, скорее серая, чем черная, и своими бархатными ногами осторожно ступала по верхушкам деревьев; большой лебедь то и дело окунал шею и грудь в воду реки, от которой подымался пар, и белел в сумраке, похожий на огромную снежинку. Он был единственным живым существом, немного оживлявшим мрачный ландшафт.

Д'Альбер задумался, да так печально, как может задуматься туманным вечером, часов в пять, разочарованный человек, внимая такой музыке, как пронзительный свист ветра, и любуясь таким видом из окна, как остов лысеющего леса.

Он думал, не броситься ли в реку — но вода казалась ему очень уж черной и холодной, а пример лебедя вдохновлял его лишь отчасти; не пустить ли себе пулю в лоб — но у него не было под рукой ни пистолета, ни пороха, а если бы и были, он бы несколько не обрадовался; не приискать ли новую любовницу или даже двух — убийственное решение! — но на примете у него не было никого подходящего.

В отчаянии своем он дошел до того, что хотел возобновить отношения с женщинами, которых совершенно не выносил и сам в свое время приказал лакею выгнать их из дому ударами хлыста. В конце концов он остановился на куда более чудовищной мысли... написать второе письмо.

Беспредельная глупость.

Вот до чего он додумался, как вдруг почувствовал, что на плечо ему легла... ладонь... подобная голубке, опустившейся на пальму... Сравнение слегка хромает, ибо плечо д'Альбера весьма отдаленно напоминало пальму, но все равно сохраним его из чистой любви к восточному колориту.

Ладонь являла собой часть руки, соединенной с плечом, которое принадлежало телу, оказавшемуся не кем иным, как Теодором-Розалиндой, иначе говоря, то была мадемуазель д'Обиньи, или, если называть ее настоящим именем, Мадлена де Мопен.

Кого это удивило? Не вас и не меня, благо мы с вами уже давно были подготовлены к этому посещению; это удивило д'Альбера, который ожидал его меньше всего на свете. Он тихонько вскрикнул от изумления, издав нечто среднее между «О!» и «А!». Впрочем, у меня есть все основания предполагать, что то было ближе все-таки к «А!», чем к «О!».

Перед ним стояла Розалинда, такая ослепительно прекрасная, что вся комната озарилась; нити жемчуга в волосах, радужное платье, пышные кружевные воланы, туфельки с красными каблукками, прекрасный веер из павлиньих перьев — все точь-в-точь как в день представления. Правда, с одним существенным и решающим различием: на ней не было ни шейной косынки, ни шемизетки, ни брыжжей — словом, ничего, что скрывало бы от постороннего взгляда тех двух очаровательных сестер-соперниц, которые — увы! — слишком часто все-таки приходят к согласию.

Совершенно обнаженная грудь, белая, прозрачная, как античный мрамор, самой чистой, самой безупречной формы, отважно выбивающаяся из очень открытого корсажа и словно бросающая вызов поцелуям. Это было весьма обнадеживающее зрелище, и д'Альбер мгновенно проникся надеждой и, отринув сомнения, дал волю самым неистовым чувствам.

— Ну, Орlando, узнаете свою Розалинду? — с чарующей улыбкой произнесла красавица. — Или вы оставили вашу любовь висеть вместе с одним из сонетов на каком-нибудь кустике в Арденнском лесу? Уж не исцелились ли вы и впрямь от хвори, против которой так настойчиво просили у меня лекарства? Я очень этого боюсь.

— О нет, Розалинда! Я болен пуще прежнего. Я в агонии, я умер или стою на краю могилы!

— Для мертвеца вы совсем недурно выглядите, и многие живые могли бы вам позавидовать.

— Какую неделю я провел! Вы не можете себе представить, Розалинда. Надеюсь, что на том свете она зачтется мне за тысячу лет чистилища. Но смею ли спросить, почему вы не отозвались раньше?

— Почему? Сама не знаю, по-видимому, просто так. Но если эта причина не кажется вам достойной внимания, вот вам три другие, куда менее истинные; выберите сами: прежде всего потому, что в пылу страсти вы забывали писать разборчиво, и более недели ушло у меня на то, чтобы разгадать, о чем говорится в вашем письме; затем потому, что целомудрие мое не могло за меньший срок освоиться с несуразной идеей взять в любовники поэта, брызжущего дифирамбами; а еще потому, что я не прочь была посмотреть, не пустите ли вы себе пулю в лоб, не отравитесь ли опиумом и не повеситесь ли на собственной подвязке. Вот и все.

— Злая насмешница! Уверяю вас, хорошо, что вы пришли сегодня: завтра, может быть, вы бы меня уже не нашли.

— В самом деле? Бедный вы, бедный! Не напускайте на себя столь жалобный вид, а не то я тоже растрогаюсь до слез, и тогда не миновать великого потопа. Уж если я дам волю своей чувствительности, вы захлебнетесь в ее водовороте, уверяю вас. Только что я привела вам три ложные причины, а теперь предлагаю вам три искренних поцелуя. Вы

согласны забыть о причинах ценой поцелуев? Я задолжала вам эти поцелуй и не Только их.

С этими словами прекрасная инфанта приблизилась к печальному влюбленному и обвила его шею своими прекрасными руками. Д'Альбер порывисто поцеловал ее в обе щеки и в губы. Последний поцелуй длился дольше других, и его можно было зачесть за четыре. Розалинда поняла, что до сих пор все было сущим ребячеством. Расплатившись с долгом, она, еще во власти волнения, уселась на колени к д'Альберу и, запустив пальцы ему в волосы, сказала:

— Вся моя жестокость исчерпана, милый друг; я выжидала эти две недели, чтобы утолить свою врожденную свирепость; признаюсь вам, они показались мне долгими. Не давайте воли тщеславию, услышав от меня столь откровенное признание, но я говорю правду. Отдаюсь вам в руки, можете мстить мне за мою былую суровость. Если бы вы были глупцом, я не сказала бы вам этого, потому что не люблю глупцов. Мне было бы совсем не трудно уверить вас, что я была чрезвычайно потрясена вашей дерзостью и что всеми вашими платоническими вздохами, всею вашей утонченной галиматьей вам не удастся заслужить прощение за то, что было мне весьма приятно; я могла бы не хуже других женщин долго торговаться с вами и понемногу уступать вам то, что предлагаю по доброй воле и сразу; но не думаю, что тогда вы полюбили бы меня хоть на волос больше. Не прошу у вас ни клятвы в вечной любви, ни преувеличенных уверений. Любите меня, пока Господу Богу будет угодно. Я и сама так поступлю. Когда вы меня разлюбите, не стану называть вас ни негодяем, ни изменником. Вы также будьте добры избавить меня от соответствующих титулов, если случится так, что я вас покину. Я останусь просто женщиной, которая перестала вас любить, и не более того. На том основании, что люди провели вместе всю ночь, им нет никакой необходимости ненавидеть друг друга всю жизнь. Что бы ни произошло и куда бы меня ни бросила судьба, клянусь вам — и эта клятва из тех, которые можно сдержать, — навсегда сохранить о вас чарующие воспоминания и, коль скоро перестану быть вашей возлюбленной, остаться для вас другом, как раньше была вам добрым приятелем. Для вас я на эту ночь отказалась от мужского платья; завтра утром я вернусь к нему для всех. Помните, что я только ночью Розалинда, а днем я всегда Теодор де Серанн и никем иным быть не могу...

Продолжение ее тирады захлестнул поцелуй, за которым последовало множество других, но никто их уже не считал, не станем и мы вносить их в точный реестр, поскольку дело это чересчур долгое и, возможно, весьма безнравственное с точки зрения некоторых людей, хотя мы-то с вами понимаем, что нет в мире ничего более нравственного и более священного, чем ласки мужчины и женщины, когда оба молоды и хороши собой.

Настояния д'Альбера делались все нежнее и неотступнее, но прекрасное лицо Теодора, вместо того чтобы расцвести и засиять, омрачилось выражением гордой меланхолии, что несколько беспокоило влюбленного молодого человека.

— Моя дорогая госпожа, почему вы напускаете на себя целомудренную строгость античной Дианы, меж тем как сейчас уместнее были бы улыбающиеся уста Венеры, выходящей из моря?

— Видите ли, д'Альбер, дело в том, что на Диану-охотницу я похожа больше, чем на кого другого. По причинам, о которых долго, да и незачем рассказывать, я совсем юной надела мужское платье. Вы один угадали мой пол — до сих пор я хоть и покоряла сердца, но сердца только женские; то были напрасные победы, не раз ввергавшие меня в затруднения. Одним словом, это может показаться забавно и невероятно, однако я

девственна — девственна, как гималайские снега, как луна, прежде чем разделила ложе с Эндимионом, как Мария до знакомства с божественным голубем, и потому я серьезна — как любой, кто намерен совершить поступок, который невозможно будет повторить. Мне предстоит совершить метаморфозу, преобразование. Сменить девичье звание на женское, завтра лишиться возможности отдать то, что было у меня вчера, узнать то, чего не знала прежде, перевернуть важную страницу в книге жизни. Вот почему я кажусь печальной, мой друг, и вы в этом нисколько не виноваты. — С этими словами она отняла обе своих прекрасных руки от длинных волос молодого человека и чуть округленными губами приложила к его бледному лбу.

Д'Альбер, странно взволнованный такой торжественностью тона, которым она произнесла эту тираду, взял ее руки в свои и перецеловал на них все пальцы, один за другим; затем очень осторожно оборвал шнурок, стягивающий вырез ее платья, так что распахнулся корсаж и во всем великолепии явились два белоснежных сокровища; на этой мерцающей и светлой, как серебро, груди расцветали две прекрасные райские розы. Он легонько сжал губами их алые вершины, а потом его губы обежали обе округлости. Розалинда позволила ему это с неисчерпаемым великодушием, стараясь как могла справедливее возвращать ему его ласки.

— Вы, наверно, сочтете меня страшно неловкой и холодной, мой бедный д'Альбер, но я совсем не знаю, что нужно делать; вам нужно будет изрядно потрудиться, чтобы меня просветить, и, право, я взваливаю на вас нелегкий груз.

Д'Альбер ответил очень просто, он вообще не ответил — и, с новой страстью стиснув ее в объятиях, покрыл поцелуями ее обнаженные плечи и грудь. Волосы близкой к умопомрачению инфанты распустились, и платье, словно по волшебству, упало к ее ногам. Она стояла, словно белое привидение, в простой своей сорочке из прозрачайшего полотна. Блаженный возлюбленный опустился на колени и вскоре отшвырнул в противоположный конец комнаты две хорошенькие туфельки с красными каблукками; за ними последовали чулки с вышитыми стрелками.

Сорочка, весьма кстати одаренная страстью к подражанию, не пожелала отставать от платья; сначала она соскользнула с плеч, и никто не позаботился о том, чтобы ее удержать; потом, уловив миг, когда руки оказались под прямым углом к телу, она покинула их с отменной ловкостью и скатилась до самых бедер, чья волнистая округлость немного ее задержала. Тут Розалинда заметила, как коварно ведет себя ее последняя одежда, и подняла ногу, согнув ее в колене, чтобы воспрепятствовать бегству. В этой позе она была удивительно похожа на мраморные статуи богинь, чьи рассудительные драпировки, досадуя, что им приходится скрывать такие красоты, нехотя окутывают очаровательные бедра и с весьма удачным вероломством останавливаются ровнехонько чуть выше того самого места, которое им полагается скрывать. Но поскольку сорочка была не из мрамора и складки, в которые она собралась, ее не удерживали, она продолжила свой победоносный спуск, окончательно осела поверх платья и улеглась калачиком вокруг ног хозяйки, как белая борзая.

Существовало, разумеется, весьма простое средство остановить весь этот беспорядок — удержать беглянку рукой, однако столь естественная мысль не пришла на ум нашей героине.

Итак, упавшая одежда казалась подобием цоколя, а сама Розалинда предстала без всяких покровов, во всем прозрачном блеске своей прекрасной наготы, в мягком свете алебастровой лампы, которую зажег д'Альбер.

Ослепленный д'Альбер восхищенно засмотрелся на нее.

— Мне холодно, — сказала она, обвив ему плечи обеими руками.

— О, ради всего святого! Еще одну минуту!

Розалинда отпустила его, кончиком пальца оперлась на спинку кресла и застыла в неподвижности; она слегка выставила одно бедро, словно хотела лучше обозначить роскошь его волнистых очертаний; казалось, она ни капельки не смущена, и чуть заметные розы у нее на щеках не стали тоном ярче, лишь от слегка учатившегося биения сердца трепетал контур ее левой груди.

Юный энтузиаст прекрасного не мог насытить взор подобным зрелищем; мы должны поставить в огромную заслугу Розалинде, что на сей раз действительность превзошла его мечту, и он не испытал ни малейшего разочарования.

В представшем ему прекрасном теле соединилось все: изящество и сила, форма и цвет, линии греческой статуи эпохи расцвета и тициановские тона. Он видел туманную химеру, которую столько раз пытался остановить в ее полете, но химеру осязаемую и объемную; теперь ему даже не было нужды, как сетовал он в горьких излияниях своему другу Сильвио, ограничивать взгляд отдельными наиболее удачными частями, не выходя за их пределы под страхом увидеть нечто отталкивающее, и его влюбленные глаза перебегали с ее головы до самых ног и совершали обратный путь с ног до головы, все время испытывая блаженную радость от гармоничной правильности форм.

Колени были безупречно восхитительны, лодыжки изящны и утонченны, ноги и ляжки горделиво и роскошно округлены, живот гладок и блестящ, как агат, бедра гибкие и крепкие, грудь побудила бы даже богов спуститься с небес, дабы ее поцеловать, от рук и плеч веяло великолепием; поток прекрасных, темных, слегка вьющихся волос, какие можно увидеть на портретах кисти старых мастеров, мягкими волнами струился по спине цвета слоновой кости, изумительно оттеняя ее белизну.

Когда художник насытился, влюбленный взял над ним верх; ибо, как бы мы ни любили искусство, есть вещи, созерцанием коих нельзя довольствоваться слишком долго.

Он подхватил красавицу на руки и понес ее на постель; не мешкая, разделся сам и бросился на ложе рядом с нею.

Девушка прижалась и прильнула к нему, потому что груди ее были холодны, как снег, которому они были подобны цветом. Эта свежесть кожи обожгла д'Альбера, и возбуждение его достигло предела. Скоро красавица отогрелась. Он обрушил на нее самые пылкие и самые сумасбродные ласки. Грудь, плечи, шея, губы, руки, ноги — ему хотелось бы покрыть одним поцелуем все это прекрасное тело, переплетенное с его телом в тесном объятии. При виде такого изобилия сказочных сокровищ он не знал, на какое ринуться.

Они уже не прерывали поцелуев, и благоуханные губы Розалинды слились воедино с губами д'Альбера; груди их вздымались, глаза были полуприкрыты, руки, изнемогающие от неги, сами собой разжались. Приближался божественный миг, и вот позади осталось последнее препятствие, головокружительный спазм сотряс напряженные тела обоих любовников — и любопытная Розалинда узнала все, что возможно, относительно того неясного обстоятельства, которое так ее беспокоило.

Однако при всей понятливости ученицы одного урока явно было недостаточно, и д'Альбер дал ей второй урок, затем третий... Щадя читателя, коего не хотим ни унижать, ни повергать в отчаяние, прервем на этом нашу реляцию...

Наша прекрасная читательница наверняка начнет дуться на своего возлюбленного, если мы откроем ей великолепное число, до которого поднялась любовь д'Альбера с помощью любопытства Розалинды. Пускай припомнит она самую успешную и обольстительную из своих ночей, ту, когда... словом, о которой впору вспоминать потом сто тысяч дней кряду, если бы век человеческий не прерывался куда ранее; пускай она отложит книгу и сосчитает по своим белым пальчикам, сколько раз любил ее тот, кто любил ее больше всего, и таким образом заполнит пробел, оставленный нами в этой славной истории.

Розалинда обладала славными задатками и за одну эту ночь достигла огромных успехов. Наивность тела, которое удивлялось всему, и плутовство ума, ничему не удивлявшегося, составляли самый дразнящий и чарующий контраст на свете. Д'Альбер был восхищен, растерян, покорен и мечтал только, чтобы эта ночь длилась сорок восемь часов, как та ночь, когда был зачат Геркулес. Однако ближе к утру, несмотря на бесчисленное множество поцелуев и любовных уловок, словно нарочно придуманных для того, чтобы отгонять дрему, он после сверхчеловеческих усилий почувствовал необходимость немного передохнуть. Сладостный, исполненный неги сон краем крыла дотронулся до его глаз, он уронил голову между грудей своей прекрасной возлюбленной и уснул. Некоторое время она смотрела на него в глубоком и меланхолическом раздумье; затем, поскольку заря уже струила свои бледные лучи сквозь занавеси, она тихонько приподняла его голову, переложила на постель, встала и осторожно перебралась через тело спящего.

Она бросилась к своему платью, спешно оделась, потом подошла к постели, склонилась над д'Альбером, который по-прежнему спал, и поцеловала его в оба глаза с шелковистыми и длинными ресницами.

Затем, не отрывая от него взгляда, попятилась к двери.

Вместо того чтобы вернуться к себе в комнату, она вошла к Розетте. Что она ей сказала, что она там делала — об этом мне так никогда и не удалось узнать, несмотря на самые добросовестные разыскания. Ни в бумагах Грациозы, ни у д'Альбера, ни у Сильвио не обнаружилось ничего, что имело бы отношение к этому визиту. Лишь одна из горничных Розетты поведала мне странное обстоятельство: хотя той ночью ее госпожа не принимала у себя любовника, постель ее оказалась разворошена, измята, и в ней остались отпечатки двух тел. Вдобавок она показала мне две жемчужины, изумительно напоминающие те, которыми Теодор украшал волосы, играя роль Розалинды. Горничная нашла их в постели, когда стелила. Оставляю эту деталь на усмотрение проницательного читателя и даю ему полный простор для любых умозаключений; что до меня, то я сделал на сей счет множество предположений, более или менее безрассудных и настолько нелепых, что, право же, не смею изложить их даже в самом добропорядочном описательном стиле.

Теодор покинул спальню Розетты не раньше полудня. Ни к обеду, ни к ужину он не вышел. Д'Альбера и Розетту это, казалось, нимало не удивило. Лег он очень рано, а на другое утро, едва рассвело, никого не предупредив, оседлал своего скакуна и коня своего пажа и покинул замок, передав лакею, чтобы к обеду его не ждали и что он, возможно, будет в отсутствии несколько дней.

Д'Альбер и Розетта были донельзя удивлены и не знали, чем объяснить столь странное исчезновение, — в особенности д'Альбер, который полагал, что доблестными подвигами первой ночи заслужил и вторую. В конце недели несчастный разочарованный любовник получил от Теодора письмо, которое мы здесь приводим. Я весьма опасаясь, что он не удовлетворит ни моих читателей, ни читательниц; но письмо и впрямь было именно таково, ничего тут не поделать, и никакого другого заключения сей славный роман иметь не будет.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Вы, несомненно, весьма удивлены, мой милый д'Альбер, тем, как я поступаю после того, что было. Не препятствую вам в этом: вы в своем праве. Держу пари, вы наградили меня уже по меньшей мере двумя десятками эпитетов, которые мы договаривались вычеркнуть из вашего словаря: вероломная, непостоянная, коварная — не так ли? По крайней мере, вы не назовете меня жестокой и добродетельной, и на том спасибо. Вы клянете меня, и вы не правы. Вы желали меня, вы любили меня, я была вашим идеалом — превосходно. Я без промедления отдала вам то, о чем вы просили; вы могли получить искомое и раньше, это зависело от вас самого. Я самым что ни на есть снисходительным образом воплотилась в вашу мечту. Я отдала вам то, чего уже наверняка не отдам более никому, вы не рассчитывали на такой сюрприз и тем более должны быть мне за него благодарны. Теперь, когда вы удовлетворены, мне вздумалось уехать. Что в этом такого чудовищного?

Вы владели мною безраздельно и безусловно целую ночь — чего вам более? Вторую ночь, а затем третью, а там бы вы в случае надобности заняли и дни. И продолжали бы далее, в том же духе, покуда я вам не прискучу. Слышу, как вы весьма галантно восклицаете, что я не из тех, кто может прискучить. Ах, Боже мой, чем я лучше других?

Это продлилось бы полгода, может быть, два года, пускай даже десять, но так или иначе всему приходит конец. Вы бы удерживали меня при себе из чувства приличия или потому, что не посмели бы дать мне отставку. Зачем этого дожидаться?

А потом, быть может, я сама разлюбила бы вас. Вы показались мне очаровательным; возможно, при более тесном знакомстве я прониклась бы к вам отвращением. Простите мне это предположение. Живя с вами в тесной близости, мне наверняка пришлось бы видеть вас в ночном колпаке или в разных домашних обстоятельствах, нелепых и несуразных. Вы бы непременно утратили тот ореол романтики и тайны, который привлекает меня пуще всего, и характер ваш, успею я получше в нем разобраться, не показался бы мне столь необыкновенным. Будь вы у меня под боком, я уделяла бы вам меньше внимания, точь-в-точь как книгам, которые никогда не раскрываешь, потому что они стоят у тебя на полке. Вблизи ваш нос уже не представлялся бы мне столь красиво очерченным, а ваш ум — столь изысканно изощренным; я обнаружила бы, что вы одеты не к лицу, а чулки у вас плохо натянуты; меня настигли бы тысячи разочарований в этом роде, я бы жестоко страдала от них и в конце концов пришла бы к выводу, что вы решительно лишены сердца и ума, а мне выпала доля остаться непонятой в любви.

Вы меня обожаете, я плачу вам тем же. Вы не можете сделать мне ни единого упрека, а у меня нет ни малейшего повода на вас жаловаться. Я хранила вам безупречную верность все время, пока длилась наша любовь. Я ни в чем вас не обманула. Вы не обнаружили у меня ни фальшивой груди, ни фальшивой добродетели; вы в бесконечной доброте своей признались, что я оказалась еще красивее, чем вы воображали. За красоту, которую я вам предложила, вы одарили меня огромным наслаждением; мы квиты: я пойду своей дорогой, а вы ступайте своей, и быть может, мы встретимся у антиподов. Оставляю вам эту надежду.

Вы, чего доброго, решите, что я не люблю вас, коль скоро я вас покидаю. Позже вы поймете, как справедливо то, что я сейчас вам скажу. Если бы мне было меньше дела до вас, я осталась бы и заставила вас до капли испить чашу пресного питья. Вскоре ваша любовь зачахла бы от скуки; немного времени спустя вы бы меня совершенно забыли и, перечитывая мое имя в списке ваших побед, спрашивали бы: «А эта, черт побери, кто такая?» Теперь я могу, по крайней мере, утешаться мыслью, что вы вспомните обо мне

скорее, чем о другой женщине. Ваше неутоленное желание еще расправит крылья, стремясь ко мне; я навсегда останусь для вас желанной, ваше воображение охотно будет ко мне возвращаться, и надеюсь, что, лежа в постели с будущими вашими любовницами, вы порой вспомните ту единственную ночь, что провели со мной. .

Никогда вы не будете так милы, как в тот блаженный вечер, а если даже и будете, то это все равно уже не то: в любви, как в поэзии, оставаться на прежнем уровне значит отступать. Довольствуйтесь этим моим впечатлением, так-то оно будет лучше.

Вы весьма усложнили задачу моим грядущим любовникам (если у меня будут другие любовники), и память о вас не вытеснит из моей души никто; все они останутся наследниками Александра.

Если вы чересчур горюете о том, что лишились меня, сожгите это письмо — единственное подтверждение тому, что вы мною обладали, и тогда вы поверите, что вам приснился прекрасный сон. Кто вам мешает? Видение исчезло с лучами дня, в час, когда сны улетают прочь сквозь роговую или костяную дверцу. Сколько людей, которым посчастливилось меньше вашего, умерли, так ни разу не поцеловав свою мечту!

Я не капризница, не сумасбродка, не ханжа. Мой поступок — плод глубокого убеждения. Я уехала из С*** отнюдь не для того, чтобы распалить вас сильнее, не из расчетливого кокетства; не пытайтесь гнаться за мной или искать меня: вам это не удастся. Я приняла все меры предосторожности, чтобы сбить вас со следа; для меня вы навеки останетесь человеком, открывшим передо мной мир новых ощущений. Женщине нелегко забыть такое. Вдали я часто буду о вас думать, чаще, чем если бы мы были вместе.

Утешьте бедную Розетту, которая, должно быть, не меньше вашего раздосадована моим отъездом. Любите друг друга в память обо мне, которая любила вас обоих, и поминайте иногда мое имя во время поцелуя».